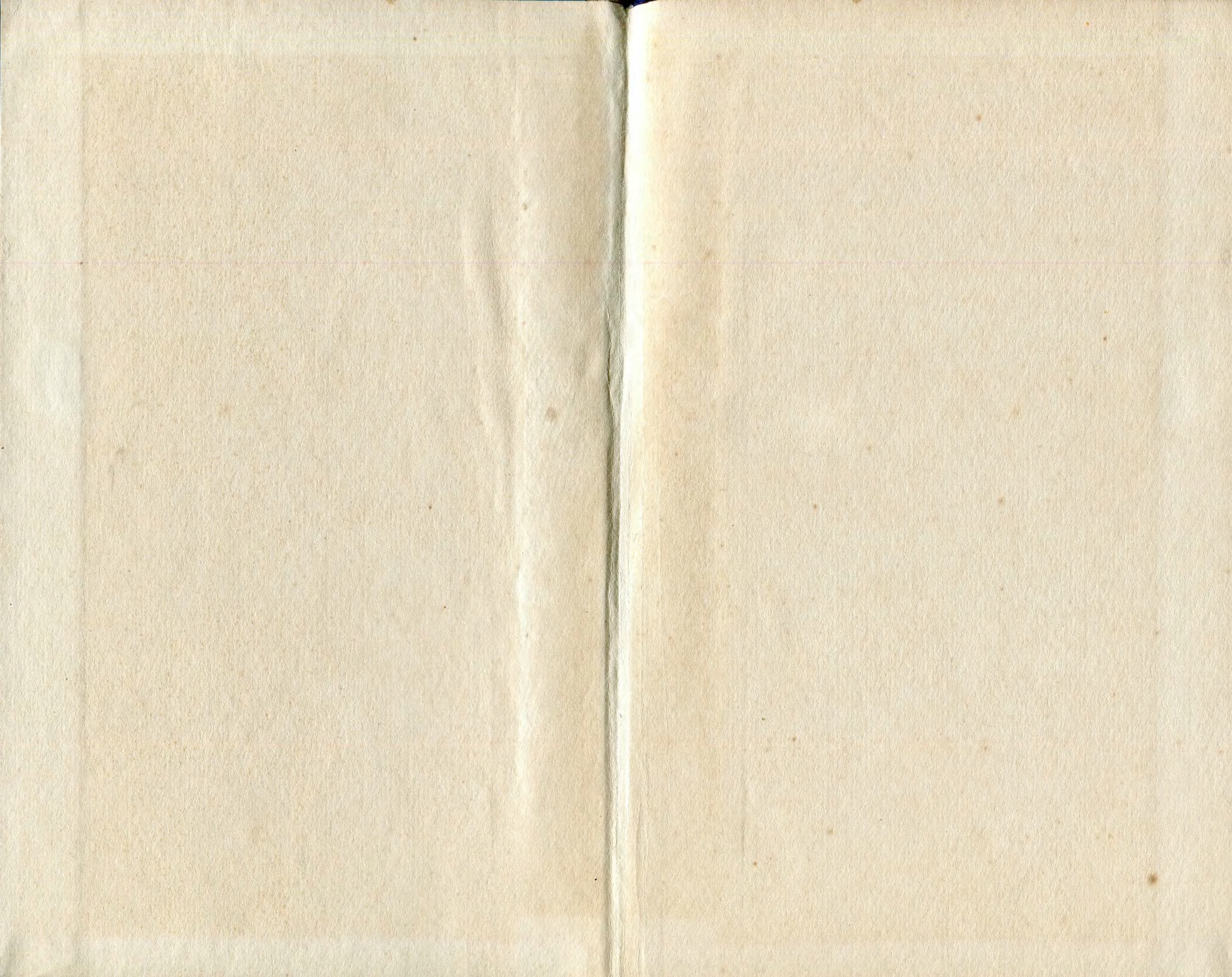


И. ЕФРЕМОВ

БУХТА
РАДУЖНЫХ
СТРУЙ





И. ЕФРЕМОВ

БУХТА РАДУЖНЫХ СТРУЙ



Научно-фантастические рассказы

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА 1959



ТЕНЬ МИНУВШЕГО

— Наконец-то! Вечно вы опаздываете! — весело воскликнул профессор, когда в его кабинет вошел Сергей Павлович Никитин, молодой, но уже широко известный своими открытиями палеонтолог. — А у меня сегодня были гости. Прямо с сельскохозяйственной выставки. Два знатных чабана из восточных степей. Вот и подарок из уважения к ученым. Смотрите: дыня, большущая... и как пахнет! Давайте ее вместе того... за здоровье знатных пастухов.

— Вы меня за этим и звали, Василий Петрович?

— Уж очень вы нетерпеливы, молодой человек! Повернитесь-ка налево, вот к этому столику...

Никитин быстро подошел к маленькому столику в углу кабинета.

На сером картоне были аккуратно разложены гладкие темно-коричневые обломки крупных ископаемых костей. Палеонтолог схватил лежавшую слева кость, постучал по ней ногтем, повернул другой стороной. Поочередно пересмотрел все восемь кусков, тяжелых и плотных, пропитанных кремнем и железом.

Многолетняя практика в анатомии скелета давала возможность сразу же мысленно дополнять, восстанавливать недостающие части костей и за их характерной формой угадывать полный скелет вымершего животного.

— Ну, теперь я все понимаю, Василий Петрович. На костях темная полированная корка — пустынный загар¹. Значит, чабаны их собрали прямо с поверхности, в пустыне... Василий Петрович, ведь это динозавры! Такой сохранности! Это первая находка в Союзе. Нужно что-то сделать, чтобы отблагодарить этих чабанов.

— Вы думаете — премию? Да они, мой дорогой, богаче всех нас! Спрашивали, не нужно ли нам чего от их колхоза... Нет, тут чистый интерес к науке. Они завтра придут опять — хотят с вами встретиться и еще принесут какое-то сыляу². Ну-ка, давайте дыньку разрежем да рассудим на досуге.

С ломтем ароматной дыни в руке Никитин присел на корточки перед огромной картой на стене кабинета, вглядываясь в левый нижний угол, испещренный мелкими точками — знаком грозных песков. Старый ученый перегнулся с кресла, следя за пальцем Никитина.

— Это огромное поле костей динозавров примерно здесь, — говорил палеонтолог. — Триста пятьдесят километров от родников Талды-сай. Поблизости — колодцы Биссекты. Ехать придется песками до бугров Лайили. Дальше — каменистая пустыня и местами степь...

¹ Пустынный загар — блестящая черная корка, которой покрываются долго находящиеся на поверхности в пустыне камни, даже кирпичи, в развалинах старых городов.

² Сыляу — дружеский дар в Средней Азии.

Ослепительный солнечный свет, отражаясь от белых стен низких построек, с непривычки резал глаза. Никитин, болезненно щурясь, шел через просторный двор товарной станции по мягкому ковру желтой пыли.

Три новенькие автомашины уже выехали из ворот и стояли гуськом у края дороги, поджидая начальника. Высоко горбились их белые брезентовые верха, на светло-сером, еще блестящем лаке уже лежала красноватая пудра пыли. Вдоль дороги, в ту же сторону, куда были повернуты машины, по крупным камням широкого арыка, журча, стремилась чистая вода, словно смеясь над зноем и пылью. И в тон ей тихо гудели на малых оборотах заведенные моторы машин.

Никитин сел в кабину передней машины. Хлопнула дверца; косым столбом взвилась и зазолотилась пыль. Машины пошли в город белых домов и зеленых аллей, раскинувшийся у северного склона опаленных солнцем холмов.

...Никитин, возвращаясь с позднего заседания, медленно шел вдоль тихо шепчущего арыка. У домов, под густой листвой деревьев, стало темно.

Прямо перед ним выскользнула из тени аллеи, легко перескочила арык и пошла по дороге девушка в белом платье. Голые загорелые ноги почти сливались с почвой, и от этого казалось, что девушка плывет по воздуху, не касаясь земли. Толстые черные косы, резко выделяясь на белой материи, спускались своими распушившимися концами почти до колен.

Глядя на быстро удалявшуюся фигурку, Никитин остановился, поддавшись минутной задумчивости, потом зашагал быстрее и скоро очутился у больших дощатых ворот приютившего экспедицию дома.

На обширном дворе, освещенном электричеством, Никитин увидел всех участников своей экспедиции, собравшихся у машин. Люди весело смеялись над чем-то, даже угрюмый старший шофер добродушно ухмылялся.

К Никитину подошла черноглазая Маруся — пре-паратор экспедиции, на днях выбранная парторгом,

— Где вы пропадаете, Сергей Павлович? Мы собрание решили провести, а вас все нет. Ждали, ждали, да как-то само собой и началось.

— Веселое собрание! — улыбнулся Никитин.

— Все из-за названий машин, — отозвалась Маруся.

— Каких названий?

— Вы знаете, мы решили начать соревнование между экипажами машин. А тут Мартын Мартынович и предложил: для удобства дать имя каждой машине.

— И на чем же порешили?

В разговор вмешался Мартын Мартынович, пожилой латыш в круглых очках, специалист по раскопкам.

— Вашу назвали «Молния», а две другие — «Истребитель» и «Динозавр».

Мощный гудок в три тона раздался на улице; в воротах вспыхнули и снова погасли фары черного «ЗИЛа».

Никитин пошел навстречу секретарю обкома, с которым уже встречался по делам экспедиции.

— Недурно устроились, — огляделся тот. — Когда же в дорогу?

— Послезавтра.

— Отлично, товарищ Никитин! А у меня к тебе просьба... — Секретарь сделал паузу. — Я прямо с заседания... Там, как раз у Биссекты, оказывается, есть месторождение асфальта. Необходимо исследовать. Мои геологи настаивают... Короче, нужно захватить сотрудника из Геологического управления...

Никитин озабоченно нахмурился. Секретарь взял его под руку, и оба пошли в глубину двора.

— Как будто все?

— Все, Сергей Павлович. Можно приступать к погрузке.

— Действуйте вместе с Мартыном Мартыновичем. На нашу «Молнию» — передовую — горючее и инструменты, на «Динозавра» — горючее, доски и инстру-

дование лагеря, на «Истребителя» — воду, продукты и резину.

В низкую открытую дверь врывалось знойное дыхание дня. Никитин собирал в сумку разбросанные по столу бумаги, торопясь на телеграф.

— Можно? — раздался со двора мягкий женский голос.

В слепящем, ярком четырехугольнике двери возник стройный силуэт, обведенный горящим ореолом по освещенному краю белого платья. Пришедшая слегка наклонилась, вглядываясь в полумрак комнаты, и перед Никитиным мелькнули вчерашние черные косы.

Смутное предчувствие чего-то хорошего заставило забиться сердце Никитина. Он поднялся навстречу гостье, державшей в руке небольшой чемоданчик, и знакомство состоялось.

— Мириам!.. а дальше как? — спросил палеонтолог.

— Нургалиева. Но достаточно Мириам, — улыбнулась девушка.

— Так вас не пугает, Мириам, что экспедиция наша трудная и далекая?

Черные глаза насмешливо блеснули.

— Нет, не пугает. Ваша экспедиция так снаряжена... Вчера диспетчер заявил мне, что эта поездка может заменить путевку на курорт.

— Ну хорошо. — Никитин протянул ей руку. — Выбирайте себе машину, какая понравится.

— Мне, если можно, на «Истребитель», к Марусе, — попросила девушка.

— Как это женщины успели сговориться? — рассмехался палеонтолог, выходя во двор вместе с Мириам. — Да, — спохватился он, — ведь я, собственно, с вами познакомился еще вчера вечером, на улице Энгельса...

Он поклонился и пошел к воротам, а девушка недоуменно посмотрела ему вслед.

Машины шли гуськом, раскачиваясь и ныряя по бездорожью. Сероватая плоская степь, поросшая полынью, сгорала под высоким солнцем. Однообраз-

ным, бескрасочным было блеклое грозное небо без единой тучки, тяжело нависшее над равниной.

Четыре дня ровно шумели моторы. Несмотря на медленный ход машин, экспедиция удалилась на четыреста километров от белого города и железной дороги.

На протяжении четырехсот километров, развертываясь, высокие барханы песков сменялись каменистыми холмами, ровной полынной степью, желто-белыми солончаками.

Надрывно скрежетали шестерни передач. Гудели моторы, черные круги рулей скользили в потных, усталых руках шоферов. И летели, летели сизым дымком в необъятную степь сотни литров драгоценного бензина.

Только один раз на этом пути, поздним вечером, из-за высоких холмов встало приветливое зарево электрического света — серный завод. А дальше лишь изредка попадались круглые войлочные юрты — временное жилье человека здесь, где вечна лишь неизменная и безликая пустыня...

Миновав завод, ехали долго, пользуясь яркой луной и последним участком сносной дороги. Гладкие такыры¹ блестели в лунном свете, как бесчисленные маленькие озера; машины ускоряли ход на их твердой поверхности.

Ночью степь казалась таинственной и приветливой.

Никитин дал распоряжение остановиться на ночлег только тогда, когда машины снова начали нырять, вздымая густую пыль на кочковатой поверхности пухлых глин.

Ярко осветили бивак электрические лампочки, прикрепленные к задкам автомобилей. Но место ночлега оказалось неприветливым. Ноги проваливались, как в плотный снег, в кочковатую пыльную почву, из которой кое-где торчали хрупкие стебли какой-то высохшей травы.

¹ Такыры — участок степи, покрытый засохшей гладкой и твердой глиной, без растительности.

Впереди, еле различимые за завесой лунного света, виднелись бугры Лайили — начало наиболее безводной каменистой пустыни, скрывающей в своей глубине кладбище ископаемых чудовищ.

За бесконечными рядами бугров, усыпанных серым щебнем, особенно сильно чувствовалась оторванность от мира. В неисчислимых поворотах, объездах, спусках и подъемах экспедиция потерялась, словно ушла в небытие. Три серые машины миновали холмы и вышли на мертвую неоглядную равнину, занесенную тонким слоем мелкого песка. Над пустыней колыхалась дымка разогретого воздуха, дрожащие струи которого скрывали и затушевывали неприглядный пейзаж.

Перед участниками экспедиции возникали манящие голубые озера, чудесные рощи, мерцающие вдали зубцы снежных гор. Иногда перед тупыми носами машин совсем близко плескалось море, легкие туманные волны взметывали белую пену... Через несколько минут на месте моря появлялись ряды белых домов, затененных густыми деревьями, похожие на оставшийся далеко на юге, за песками, город. Да и очертания самих машин, такие строгие и отчетливые, расплывались, то удлиняясь до невероятных размеров, то, наоборот, росли в высоту и вздымались подобно исполинским слонам.

Темнело. В последний раз в багровых лучах заката показались высокие голубые и зеленые башни нового призрачного замка и исчезли.

«Молния», вздымая столбы пыли и далеко освещая равнину своими сильными фарами, продолжала путь во главе колонны — здесь можно было ехать и ночью. «Динозавр» и «Истребитель» отстали, чтобы не тонуть в скрывающей дорогу пыли, как это всегда делалось при езде по пыльной местности.

Равномерно шумел мотор, навевая сон. Никитин заснул, сидя в кабине, но был скоро разбужен резкими гудками шедшего позади «Динозавра». «Молния» остановилась; подошли две другие машины.

— Что случилось? — спросил Никитин у водителя «Динозавра».

— Не могу ехать, товарищ начальник, — смущенно ответил шофер. — Мерещится разная чепуха...

— Что такое?

— Да ведь верно, Сергей Павлович, — поддержал шофера Мартын Мартынович. — Днем миражи видятся вдали, а сейчас — прямо под носом, ужас берет.

— Но я-то еду! — бросил старший шофер, водитель «Молнии».

— Ты едешь впереди, Владимир, — сказал подошедший шофер «Истребителя», — а мы за твоей пылью. Фары на пыль светят, и черт-те что видится. Нельзя ехать.

— Чушь городите! — обозлился старший шофер. — Я знаю, иной раз на пыли мерещится, но чтобы ехать нельзя было...

— Попробуй сам. Давай я вперед поеду! — обиженно крикнул водитель «Динозавра».

— Ладно, давай, — угрюмо согласился старший.

Люди разошлись по кабинам, зажужжали стартеры. «Динозавр», покачивая высоким верхом, медленно миновал «Молнию» и исчез в туче пыли, набирая ход. Водитель «Молнии» подождал, пока пыль, осев, не начала золотиться редкими пылинками в лучах фар, и двинулся следом.

Заинтересованный Никитин следил за дорогой, протерев ветровое стекло. Несколько километров они пролетели, ничего не встретив, и шофер начал насмешливо фыркать, что-то бурча себе под нос. Машина шла ровно, внимание стало ослабевать. Вдруг Никитин почувствовал, что водитель резко повернул руль и машина вильнула в сторону. Впереди отчетливо виднелась огромная круглая яма, обложенная белыми изразцами. Никитин изумленно протер глаза — по обе стороны коридора, проложенного светом фар, в кружащихся пылинках выстроились ряды высоких домов. Видение было так правдоподобно, что палеонтолог вздрогнул и тут же услышал злобное «тьфу» шофера.

Дома исчезли, степь разбежалась узором черных

и желтых полос, а на дороге зияла черная трещина. Стиснув зубы, шофер вцепился в руль, стараясь преодолеть обман зрения. Несколько минут — и впереди выгнулся невероятно крутой сводчатый мост, совершенно ясно видимый, настолько реально, что Никитин тревожно повернулся к шоферу, но тот уже тормозил машину. Сзади раздавались настойчивые сигналы «Истребителя». Остановив машину, шофер покурил, промыл глаза, поднял стекло и упрямо двинулся дальше. И снова перед машиной вставали все новые пыльные призраки, пугающие, близкие и реальные. Нервное напряжение росло. «Молния» тормозила и вертелась в попытках избежать несуществующие препятствия, и, наконец, шофер застонал, плюнул и, остановив машину, стал сигналить «Динозавру» о сдаче. Когда улеглась пыль, подошел и давно уже остановившийся «Истребитель».

На стоянках безумный, призрачный мир исчезал. Ночь раздвигала горизонт в темную бесконечность. Огромные звезды спокойно светили, и привычные очертания созвездий радовали своей неизменностью. А днем в рокоте моторов и покачивании машин вновь мерцали и переливались фантастические видения. И все начинало казаться несуществующим.

Никитин очень обрадовался, когда из-за переличатой стены очередного миража внезапно поднялись угрюмые черные контуры гор Аркарлы. Сперва их вершины долго держались на уровне пробки радиатора «Молнии», потом они стали быстро вырастать, закрывая собой весь горизонт на северо-западе. Проводник показал на испещренную трещинами гору, чей крутой передний склон имел очертания правильной трапеции. «Молния» немедленно направилась прямо к ней. Почва опять становилась неровной, вздымаясь каменными валами все выше и выше.

Но вот наконец, кренясь на склоне, «Молния» сделала поворот, заскрипели тормоза, и машина медленно спустилась на обширную равнину — дно огромной древней межгорной впадины.

С запада угрюмо торчали темные утесы, обрывистые склоны восточных холмов были сложены ярко-красными песчаниками. В высоте над равниной медленно кружили два орла.

По указанию проводника экспедиция двинулась вдоль красных утесов к северу. Там, в месте стыка темных и красных пород, должен был находиться родник Биссекты с выкопанным в незапамятные времена колодцем.

Ровная поверхность долины была кое-где изборождена неглубокими промоинами и обильно усеяна гладкой галькой, покрытой пустынным загаром. Эти гальки придавали почве неестественно темный цвет, на фоне которого мириадами огоньков сияли на солнце бесчисленные кристаллы прозрачного гипса, рассыпанные между гальками.

— Стой, стой! — вдруг закричал Никитин и быстро выскочил из машины. Следом за ним ринулись его верные помощники, тоже увидевшие ископаемых.

Слева от пути машин лежали под углом друг к другу два больших ствола окаменевших деревьев. В ярком солнце отчетливо выступали их прямослойная древесина и следы сучьев. Вокруг стволов и дальше к западу были разбросаны огромные кости с темной блестящей поверхностью.

Восхищенные исследователи рассыпались по равнине. С волнением они отыскивали все новые и новые сокровища.

Превосходно сохранившиеся кости гигантских ящеров покрывали большую часть долины. Палеонтологи с радостными восклицаниями бросались то в одну, то в другую сторону. Шоферы и рабочие заразились их энтузиазмом и приняли участие в осмотре, весело удивляясь необыкновенному зрелищу.

Только часть костей свободно лежала на поверхности, другие еще находились в темном песчанике и гальке. Кости торчали повсюду в промоинах, переполняли обнаженную на бугорках породу, громоздились целыми скоплениями.

Знатные пастухи были совершенно правы — они открыли невиданное по размерам кладбище гигант-

ских вымерших ящеров, где скопились остатки тысяч разнообразных животных.

Странное впечатление производила эта раскаленная черная, безжизненная долина, заваленная исполтинскими костями. Невольно на ум приходили древние легенды о битвах драконов, о могилах великанов, о скопищах погубленных потопом гигантов. И сразу становилось понятным возникновение этих легенд, несомненно имевших своей основой подобные открытые скопления огромных костей.

— Не прибавилось?

— Нет, Сергей Павлович.

— Нужно копать еще глубже.

— Глубже некуда, там пошла скала.

— Скала!

Никитин бросил записи, вскочил и устремился к роднику. Убедившись в правоте латыша, палеонтолог почувствовал, как внутри у него что-то оборвалось. Скрывая страх, Никитин медленно пошел от лагеря к горам, чтобы поразмыслить наедине.

Страшное открытие пришло уже на вторые сутки их пребывания в долине: количества воды, даваемой родником Биссекты, не хватало для экспедиции. Если воды было достаточно для двух-трех путников с их верблюдами, ее было мало для большой экспедиции с рабочими и машинами. Может быть, родник был хорош сто лет тому назад, а теперь иссяк. Пришлось начать аварийный запас. А вода на обратный путь? Нужно, бросив все, как можно скорее пробиваться на восток — в двухстах километрах отсюда есть хорошие колодцы. Если привезти воду оттуда? Но тогда не хватит горючего на возвращение.

Ошеломленный внезапным ударом судьбы, ученый остро почувствовал свою беспомощность перед окружающей беспощадной природой. Что может сделать он, вся его великолепно снаряженная экспедиция без воды? Откуда взять ее здесь, в опаленных камнях, оживляемых только крохотной струйкой древнего колодца?

Попытки расчистить источник ни к чему не привели. Неужели эта неожиданная беда сорвет так тщательно организованную экспедицию, лишит успеха, заставит рисковать людьми?

Погруженный в безотрадные думы, Никитин машинально углубился в горы. Он тихо шел вверх по небольшому ущелью, глубоко врезавшемуся в черный бок седловидной горы. Накаленные черные обрывы обдали ученого душным жаром. Никитин остановился и увидел Мириам.

Девушка сидела на камне, подобрав ноги и изогнув тонкий стан. Она держала на коленях раскрытую записную книжку и так глубоко задумалась, что не слыхала приближения Никитина. Тяжелые косы, казалось, обременяли ее склоненную голову, лицо было обращено к туманящейся жаркой дали. Весь облик девушки и ее поза вдруг поразили палеонтолога соответствием с окружающей природой. Никитин впервые почувствовал, что Мириам — дитя своей страны: от нее веяло спокойной твердостью, скрытой под маской внешнего покоя. Никитин застыл на месте, боясь потревожить Мириам.

Страна палящего мертвого простора, где ничего не дается сразу... Только упорный труд многих поколений приносит победу над жестокой природой. Идти напролом в страстном порыве нельзя — этот путь не приведет здесь к цели. Нужно медленно, терпеливо и верно продвигаться вперед, быть всегда наготове для борьбы с новыми и новыми трудностями, подавляя волей свойственную каждому человеку жажду чудесного, внезапного счастья...

Девушка, почувствовав взгляд Никитина, оглянулась, вскочила и пошла к нему навстречу. Мириам пытливо заглянула в глаза молодого ученого.

— Что с вами, Сергей Павлович? — как всегда медленно, произнесла она.

Ученый уловил неподдельную заботу в ее тоне. В безотчетной потребности быть откровенным с ней он рассказал Мириам о крахе, ожидающем экспедицию. Девушка молчала, и только когда они возвращались обратно, у самого лагеря, смущаясь, сказала сама себе:

— Я слыхала, что в прошлом году при работах на Дюрт-Кыре удалось увеличить дебит¹ источников...— Мириам сделала паузу:— С помощью динамита. Вот если бы у нас был...

— Черт возьми, ведь аммонал у нас есть!— вскричал Никитин.— Подорвать место выхода родника — это не всегда помогает, но иногда получается! Совсем упустил из виду... Попробуем сейчас же! — повеселел палеонтолог, убыстряя шаги.— Рискнем на самый большой заряд.

Громоподобный удар взрыва потряс мертвые горы. Высокий столб пыли взвился над родником, и несколькими секундами позже что-то со страшным грохотом обрушилось в горах. Все участники экспедиции бросились к роднику и стали молча разбирать завал породы, снова раскапывая выход ключа. Еще тише стало в лагере, когда Никитин и Мириам начали замерять приток воды. Начальник экспедиции вдруг выпрямился.

— Спасибо, Мириам! — Он схватил руку девушки и крепко пожал.

— Качать Мириам! — раздался дружный крик.

Девушка стрелой помчалась искать спасения за спиной старшего шофера. Тот, расправив могучие плечи, грозно заявил:

— Не дам!

— Как ваши дела с асфальтом, Мириам? — весело спросил Никитин.

— Здесь очень интересное месторождение, Сергей Павлович. Это не асфальт, а какая-то особенная, очень твердая смола.

— Покажите мне ее завтра, хорошо? А сейчас советую познакомиться и с нашими успехами.

На равнине повсюду виднелись горки нарытой земли. Поднимался легкий дымок костра, на котором

¹ Дебит — количество воды, даваемой источником в определенный промежуток времени.

варился жидкий столярный клей. Мартын Мартынович, в одних трусах, загорелый до черноты, усердно пропитывал клеем рыхлые кости. Ближе к центру равнины работало несколько человек. Большая площадка расчищенной сверху породы была обрыта глубокими канавками. Двое рабочих осторожно ковыряли рыхлый песчаник большими ножами, разделяя окопанную глыбу на три части. Маруся доканчивала расчистку черепа, поливая шеллаком¹ поврежденные участки.

Никитин подвел Мириам к глыбе, и удивленная девушка увидела на ее поверхности распластавшийся скелет огромного ящера. Он лежал на боку, подвернув длинный хвост и скрестив тяжелые задние лапы. На позвонках, ребрах, даже на тупых копытцах — всюду виднелись четко написанные цифры. Череп чудовища, около двух метров длины, на затылке переходил в огромный костяной воротник, усаженный тупыми шипами. Над глазами торчали два длинных, косо направленных вперед рога, третий рог сидел на носу, а морда оканчивалась огромным клювом.

— Это трицератопс — трехрогий травоядный динозавр, хорошо вооруженный против хищников, — пояснил Никитин. — Скелет сохранился полностью, и мы его разделим на три части, заделаем в крепкие рамы, — палеонтолог указал на приготовленные брусья, — зальем гипсом и увезем в виде тяжелых монолитов, чтобы окончательно освободить от породы уже на месте, в лаборатории.

— Каковы же были хищники, если против них такое страшное вооружение? — спросила Мириам.

— Хищники! — воскликнул палеонтолог. — Ну вот, например, — и он выбрал из ящика плоский зуб с загнутой верхушкой и пильчатой нарезкой по обоим краям, около пятнадцати сантиметров в длину. — Это тиранозавр², владыка ящеров, ходивший на задних лапах исполин... Скоро переедем с раскопками к са-

¹ Шеллак — индийская смола; после растворения в спирте дает прочный лак.

² Тиранозавр (в переводе с греческого — «владыка ящеров») — самый крупный из всех хищных динозавров.

мым горам,— продолжал ученый,— там Мартын Мартынович нашел сразу три скелета панцирных динозавров с костяной броней, усаженной шипами. Настоящие танки, только без пушек, в отличие от современных танков, которые являются оружием нападения. Ведь травоядное животное может только пассивно защищаться: оно прячется за броней или выставляет рога, не нападая само.

Не доходя до восточного ущелья, Мириам свернула налево и повела Никитина вдоль подножия горы, меж разбросанных каменных глыб.

Перед палеонтологом и его спутницей неожиданно встала плотная стена красновато-черных пород. Ее просекал узкий проход, похожий на след от удара исполинского меча. По обе стороны этой каменной щели возвышались две скалистые башни с нависающими над проходом выступами.

Узкий проход был прям, как ружейный ствол, с гладкими, словно отполированными, стенами. Пройдя по нему несколько десятков шагов, Мириам и Никитин попали в просторную долинку, замкнутую со всех сторон крутыми утесами. Противоположная проходу сторона изгибалась правильным полукругом, в самой середине которого выступал огромный куб очень твердого бурого песчаника. Подножие куба утопало в груде плоских, по-видимому, недавно обрушившихся глыб, а на скошенной поверхности блестело громадное черное зеркало. Палеонтолог в недоумении осматривался вокруг.

— Месторождение асфальта,— тихо заговорила Мириам,— вернее затвердевшей смолы, здесь. Смола залегает ровными слоями в твердых железистых песчаниках, по всей вероятности отложенных ветром,— нечто вроде древних дюн. Когда мы взорвали источник, обвалились скалы и открыли свежий пласт ископаемой смолы. Его гладкая поверхность еще не повреждена выветриванием и блестит, как зеркало.

— Когда, по вашему мнению, отлагались смола и песчаник? — быстро спросил палеонтолог.

— Примерно одновременно с костями динозавров,— ответила Мириам.— Все эти отложения накопились тут, в долинах древних гор, и остались почти неприкосновенными.

Никитин одобрительно кивнул головой и уселся на крупный хрустящий песок. Девушка устроилась напротив в своей любимой позе, поджав под себя ноги.

В закрытой со всех сторон долине почему-то было не очень жарко. Удивительная тишина стояла вокруг. Едва слышно, точно далекие хрустальные колокольчики, звенели сухие травы, росшие на дне этого естественного горного зала. Никитин впервые в жизни услышал их шелестящий печальный зов и удивленно посмотрел на Мириам. Девушка наклонила голову и приложила палец к губам. Вскоре в этот слабый, точно призрачный, звон вплелись такие же безмерно далекие, редкие аккорды низкого тона — голоса кустарников, окаймлявших подножие кольца скал.

Под эту едва различимую музыку молчаливой пустыни Никитин погрузился в глубокую задумчивость.

Травы звенели и звали заглянуть в глубину природы, говорили о том скрытом, что обычно проходит мимо нашего сознания, притупленного укоренившимися привычками и лишь в редкие минуты жизни раскрывающегося с настоящей остротой.

Никитин думал о том, что природа безмерно богаче всех наших представлений о ней, но познание ее никогда не дается даром. В тесном общении, в постоянной борьбе с природой человек подходит вплотную к ее скрытым тайнам. Но и тогда нужно, чтобы душа была ясной и чистой, подобно тонко настроенному музыкальному инструменту, и она отзовется на звучание природы...

Медленно поднял Никитин свой взгляд и увидел устремленные прямо на него глаза Мириам. Палеонтолог неловко поднялся на ноги и голосом, показавшимся ему самому грубым, погасил нежные зовы трав:

— Пора идти, Мириам!

Девушка безмолвно встала.

Уходя, Никитин с удовольствием оглядел полную покоя долинку.

— Что же вы раньше не говорили об этом хорошем месте? — укорил он девушку.

— Вы были поглощены своей работой, — тихо ответила Мириам.

— Я перенесу лагерь к подножию каменных башен завтра же, — решил Никитин. — Кстати, главные раскопки теперь будут совсем рядом.

Уверенным, щегольским ударом Мартын Мартынович вогнал последний гвоздь в длинный ящик.

— Конец, Сергей Павлович! — весело воскликнул латыш и вытер потное лицо.

— Конец, — откликнулся Никитин. — Завтра отдых и сборы, вечером — в путь, домой! Больше задерживаться нам нельзя.

— Сергей Павлович, — просительно вмешалась Маруся, — вы давно уже обещали рассказать про этих... — девушка показала на лежавшие повсюду ящики, — зверей, да все некогда было. Что бы сегодня? Еще три часа только.

— Хорошо. После обеда пойдем в ту долинку, там побеседуем, — согласился начальник экспедиции.

Все четырнадцать человек сотрудников внимательно слушали своего начальника. Он рассказал, как еще в древние эпохи развития наземной жизни медленно, в миллионах поколений, совершенствовался организм животного, как появлялись подчас причудливые, странные формы четвероногих земноводных и пресмыкающихся. Как в борьбе за существование, в преодолении влияния окружающих условий постепенно отмирали все менее совершенные, менее жизнедеятельные виды; жестокая гребенка естественного отбора прочесывала поток поколений во времени, отмечая все слабое и непригодное.

К началу мезозойской эры, около ста пятидесяти миллионов лет назад, на древних материках повсюду расселялись пресмыкающиеся и одновременно от них же возникли наиболее совершенные из всех животных—млекопитающие, развивавшиеся в суровых условиях конца палеозойской эры¹. Но вскоре сравнительно резкий и сухой климат повсюду сменился влажным и жарким, обильная пышная растительность покрыла сушу. Эти условия существования были более легкими, более благоприятными, и вот по всей земле распространились огромные пресмыкающиеся. Они завоевали сушу, море и воздух, достигли небывалой величины и численности.

Гигантские травоядные для защиты от хищников имели чудовищные рога или броню из костяных шипов и щитков. Другие, не защищенные броней, прятались в воде прибрежных морских лагун или озер. Они достигали двадцати пяти метров длины и шестидесяти тонн веса. В воздухе реяли летающие ящеры; из всех летающих животных они имели наибольшее удлинение крыла и, следовательно, были лучшими летунами.

Хищники ходили на задних ногах, опираясь на толстый хвост. Их передние лапы превращались в слабые, почти ненужные придатки. Для нападения служила огромная голова с большими острыми зубами в пасти. Это были чудовищные треножники, до восьми метров высоты, безмозглые боевые машины страшной силы и беспощадной свирепости.

В окружении исполинских ящеров жили древние млекопитающие — маленькие зверьки, похожие на ежа или крысу. Пресмыкающиеся в благоприятных условиях мезозойской эры подавили эту прогрессивную группу животных, и с этой точки зрения мезозой был эпохой мрачной реакции, длившейся около ста миллионов лет, замедлившей прогресс животного мира. Но едва только начали вновь изменяться кли-

¹ Мезозойская эра, палеозойская эра — большие эпохи истории Земли. Эра средней жизни — 60—170 миллионов лет назад, эра древней жизни — 170—600 миллионов лет назад.

матические условия, стала происходить смена растительности — сразу же плохо пришлось громадным ящерам. Травоядные великаны требовали обильной, легко усвояемой пищи. Изменение кормовой базы явилось катастрофой для травоядных и одновременно для гигантских хищников. Естественный баланс животного населения резко нарушился. Произошло великое вымирание пресмыкающихся и бурный расцвет млекопитающих, которые стали хозяевами Земли и в конце концов создали мыслящее существо — человека.

— Представьте себе на миг бесконечную цепь поколений без единой мысли, прошедших за эти сотни миллионов лет, — закончил палеонтолог, — все невообразимое число жертв естественного отбора по слепому пути эволюции...

Ученый умолк. Высоко в уже посиневшем небе раздался клекот орла. Слушатели продолжали тихо сидеть, глядя на палеонтолога.

Никитин задумчиво улыбнулся и снова заговорил:

— Да, величие моей науки — в необъятной перспективе времени. В этом отношении палеонтология сравнима разве только с астрономией. Но у палеонтологии есть одна слабая сторона, очень слабая, мучительная для стремящихся к глубокому познанию: неполнота материала. Только очень малая часть ранее живших животных сохраняется в пластах земной коры, и сохраняется лишь в виде неполных остатков. Возьмем наши раскопки — мы добыли только кости. Правда, по этим костям мы можем восстановить полный внешний облик животных, но только в известных пределах. Хуже всего то, что мы никогда не сможем узнать в подробностях внутреннее строение животного, полностью представить его живым. Тем самым мы никогда не сможем проверить точность наших представлений, установить ошибки. Физические законы незыблемы. Сила человеческого разума и заключается в том, чтобы прямо взглянуть им в лицо, не обольщаясь сказками...

Глубокая тоска зазвучала в голосе Никитина, передаваясь слушателям. Палеонтолог резко встал.

— Ничего. Для вас, неискушенных в науке, остается вольная и могучая фантазия писателей. Не стесненные узостью точных фактов, они ярко и убедительно воскрешают исчезнувший животный мир. Советую вам прочитать «Затерянный мир» Конан-Дойля и «Борьбу за огонь» Рони-Старшего. Это мой любимый писатель, который даже на палеонтолога может действовать силой своего воображения, прекрасным описанием древней жизни, удачно схваченной тенью минувшего...— Палеонтолог, увлекшись, начал цитировать: — «Вместе со сгустившимися сумерками упала смутная тень минувшего, и по степи, весь красный, катился зловеющий поток...»

Легкий вскрик Маруси заставил ученого прервать цитату и обернуться. В следующее мгновение дыхание его остановилось, и он замер, потрясенный.

Над отливающей синью плитой ископаемой смолы встал откуда-то из ее черной глубины гигантский зелено-серый призрак. Громадный динозавр замер неподвижно в воздухе, над верхним краем скалистого обрыва, вздыбившись на десять метров над головами остолбеневших людей.

Чудовище высоко несло свою горбоносую голову; большие глаза тускло и мрачно смотрели куда-то вдаль; безгубая широкая пасть обнажала длинный ряд загнутых назад зубов. Спина животного, слегка согнутая, круто спадала в невероятно мощный хвост, подпиравший динозавра сзади. Огромные задние лапы, согнутые в суставах, не уступали в мощности хвосту, подобные двум колоннам, трехпалые, с широко распластанными пальцами, вооруженными кривыми исполинскими когтями. И почти под самой шеей, на наклонно нависшей над землей передней части туловища, нелепо и беспомощно торчали две тонкие когтистые передние лапки, такие крошечные по сравнению с гигантским туловищем и головой.

Сквозь призрак просвечивали черные утесы гор и в то же время можно было различить малейшую подробность тела животного. Испещренная мелкими костными бляшками спина чудовища, его шероховатая кожа, местами обвисшая тяжелыми складками,

странный вырост на горле, выпуклости исполинских мышц, даже широкие фиолетовые полосы вдоль боков — все это придавало видению изумительную реальность. И неудивительно, что пятнадцать человек стояли онемевшие и зачарованные, пожирая глазами гигантскую тень, реальную и призрачную в одно и то же время.

Прошло несколько минут. В неуловимом повороте солнечных лучей видение неподвижного динозавра растаяло и угасло. Перед людьми не было ничего, кроме черного зеркала, потерявшего синий отлив и отблескивавшего медью.

Громкий вздох вырвался одновременно у всех. Никитин облизнул пересохшие губы.

Долгое время никто не был в состоянии произнести хотя бы слово. Невероятное появление призрака чудовища разрушило все установленные образованием и жизненным опытом представления. Каждый чувствовал, что в его жизнь ворвалось неожиданно нечто совсем необычайное. Более всех потрясен был сам Никитин — ученый, привыкший анализировать и объяснять загадки природы. Но сейчас никакое разумное объяснение происшедшего не приходило ему в голову.

Все терялись в догадках. Лагерь шумел до поздней ночи, пока наконец Никитин не успокоил страсти заявлением, что в этой стране миражей нет ничего удивительного увидеть мираж чудовищного ископаемого. Этот призрак, по определению Никитина, никем иным, как тиранозавром, не мог быть.

Гудели проверяемые перед дальней дорогой моторы. Голубоватый дымок стлался над коричневыми гальками равнины.

Никитин взглянул на часы и поспешно направился к узкой щели в скалах.

Черное зеркало взглянуло на него глубоко и бесстрастно. Прежней тишины не было в этом месте покоя — из-за скалистых стен неся шум моторов. Неясное ощущение чего-то оборвавшегося, утрачен-

ного охватило Никитина. Он ожидал появления вчерашнего призрака, но призрак не появлялся. Должно быть, Никитин неточно заметил время его появления и опоздал.

Сожалеея об упущении и сам удивляясь силе своего огорчения, Никитин долго стоял перед грудой камней, образовавших пьедестал зеркала. Позади него послышался хруст песка — Мириам быстро подошла к нему.

— Мартын Мартынович говорит, можно ехать. Я вызвалась сбегать за вами... захотелось еще раз взглянуть... — отрывисто и быстро проговорила запыхавшаяся девушка.

— Сейчас иду, — нерешительно отозвался палеонтолог, помолчал и добавил: — Подождите, Мириам!

Девушка послушно приблизилась и стала так же, как и он, всматриваться в черное зеркало.

— Что вы будете делать, когда вернетесь, Мириам? — вдруг спросил Никитин.

— Работать, учиться, — коротко ответила девушка. — А вы?

— Тоже работать — над этими динозаврами и думать.... — ученый запнулся и неожиданно резко закончил: — О вас!

Мириам опустила голову, ничего не ответив.

— Если бы я была на вашем месте, я бы все силы отдала на решение загадки с призраком динозавра. Ведь это не просто мираж... — заговорила она через минуту.

— Я и сам знаю, что не мираж! — недовольно воскликнул Никитин. — Но ведь я только палеонтолог. Если бы я был физиком...

Никитин оборвал разговор с неясной досадой на самого себя и подошел ближе к пласту удивительной окаменевшей смолы. Он долго вглядывался в его черную безответную глубину, и почти нестерпимое, дикое желание нарастало в его душе. На секунду раскрылась непроницаемая, недоступная человеку завеса времени. Из всего огромного числа людей только ему и его спутникам было дано заглянуть в прошлое. И из них только он достаточно вооружен

знаниями, опытом научной работы. Мириам права... Никитина охватило властное стремление раскрыть тайну природы.

Внезапно Никитин сообразил, что видит какие-то серебристые тени, всплывающие из черной глубины. Палеонтолог стал вглядываться уже осмысленно, напрягая зрение и внимание. Разрозненные части быстро сложились в неясное, но цельное изображение; оно было подобно плохо проявленному снимку огромных размеров. В центре проступала перевернутая фигура вчерашнего тиранозавра, однако сильно уменьшенная, слева виднелась группа огромных деревьев, а позади и внизу совсем смутно угадывались вершины каких-то скал.

Достав записную книжку, Никитин окликнул Мириам и стал зарисовывать новое призрачное видение. Оба жадно вглядывались в серебристо-серые тени, но изображение не становилось яснее. Скоро перед уставшими от напряжения глазами поплыли световые пятна, и снова глубокая чернота зеркала стала слепой и беспредметной.

С усилием Никитин заставил себя уйти из загадочного места. Он сознавал, что следовало бы остаться еще на несколько дней для наблюдения над зеркалом.

По редкому капризу судьбы, ему довелось встретиться с невероятным, из ряда вон выходящим явлением. Очень скоро, может быть через несколько дней, солнце и ветер разрушат гладкую поверхность слоя смолы, и навсегда исчезнет загадка, так и не понятая им. Долг ученого — да что долг! — весь смысл существования — не упустить случайно открывшееся ему, передать всем людям.

И, вопреки всему, приходится оставить чудесное окно в прошлое у далеких, труднодоступных гор. У него больше нет времени. Оттягивать отъезд опасно. И для полноты раскопок экспедиция работала до последнего дня. Впереди — трудный обратный путь с перегруженными машинами. Рисковать из-за полубредового, необъяснимого явления доверенными ему жизнями? Нет, нельзя.

Никитин быстро, почти бегом, вернулся к машинам.

Подойдя к «Молнии», он еще раз оглянулся на Мириам. Она неподвижно стояла у «Истребителя», повернувшись ко входу в ущелье. Это было последним впечатлением палеонтолога, которое он увозил с собой, покидая загадочное место.

— Поехали! — громко крикнул он и, захлопнув дверцу кабины, стал смотреть, как засверкали, убегая под крылья машины, искры гипса в долине костей.

Холодный, пасмурный свет быстро мерк в свинцовом небе. Сквозь двойные рамы виднелась черная обледенелая крыша с большими пятнами снега. Выходивший из трубы дым срывало резкими порывами ветра.

Никитин отодвинул книгу и выпрямился в кресле, охваченный глухой тоской.

Упрямый разум ученого не хотел сдаваться, но где-то внутри уже зрело горькое сознание бессилия.

С грустью вспоминал Никитин, что только безупречная репутация спасла его от явных насмешек, даже подозрений в ненормальности. Помощь, за которой он обратился к физикам, вылилась в шутливое недоумение — мало ли в конце концов какие бывают обманы зрения, миражи, галлюцинации! И, ставя себя на их место, Никитин не мог осудить ученых.

Еще там, в горах, у кладбища динозавров, Никитин понял, что гладкая поверхность черной смолы хранила в себе что-то вроде фотографического снимка, непонятным образом отразившегося в воздухе. Но как мог получиться снимок без бромосеребряных пластинок¹, без проявления и фиксирования? И, главное, обычный рассеянный свет не создает никакого изображения — нужна камера-обскура, то есть темная камера с узкой щелью или отверстием,

¹ Бромосеребряные пластинки — фотографические пластинки, покрытые слоем бромистого серебра, разлагаемого светом.

проходя через которое световые лучи дают перевернутую картину того, что находится в фокусе¹. И тиранозавр в глубине черного зеркала казался перевернутым! Но...

Чтобы разгадать эту тайну, нужен был необычный порыв, страстное напряжение ума и воли, слившихся в достижении единственной цели. Нужно было вдохновение, но здесь, в размеренном, привычном существовании, оно не приходило. Более того — все дальше отодвигалось случившееся там, за четыре тысячи километров отсюда, за степью и буграми знойных песков. Разве можно рассказать кому-нибудь, разве можно самому верить в призрачное видение страны миражей здесь, в бледном и трезвом свете холодного зимнего вечера? И Мириам... Разве не ушла Мириам из его жизни, не стала таким же исчезнувшим миражем?

Никитин закрыл глаза. Миг — и исчезло потемневшее окно, снег и холод. Перед мысленным взором Никитина возникали одна за другой картины.

Слепящие, яркие белые стены, темная, пронизанная горячим золотом зелень листвы, журчащие арыки, медные клубы пыли...

Снова шли, покачиваясь, машины под мерный гул моторов в дрожащем, жарком воздухе, прорезая голубые цепи причудливых миражей. Сквозь дымку фантастического, ускользающего мира, повисшего над беспредельной сожженной равниной, все ярче выступал такой знакомый облик далекой Мириам. Палеонтолог вскочил, громыхнув креслом.

«Как я не понял этого сразу? Почему не сказал ей тогда? — думал он, шагая по комнате. — Но ведь можно и сейчас: поехать, написать...»

Никитин заволновался — к сердцу подступало что-то властное, требовавшее немедленного решения... Он поедет к ней, скажет все. Теперь же.

Никитин неуклюже взмахнул рукой и задел звонок динозавра, лежавший недалеко от края стола.

¹ Фокус — установка объектива на наиболее отчетливое изображение.

Тяжелая кость с грохотом упала на пол, разбилась на несколько кусков. Ученый опомнился и бросился подбирать рассыпавшиеся осколки. Ему стало стыдно, точно его сокровенные грезы подглядел кто-то чужой. Никитин торопливо оглянулся, и окружавшее его опять неумолимо заполнило душу. Это его мир, спокойный, простой и светлый, хотя временами, может быть, и слишком узкий. Высокий шкаф со стеклянными дверцами хранит на своих полках еще много неизученных сокровищ — остатков древней жизни...

И, кроме всего этого, великая загадка тени минувшего. Разве этого мало для него, неповоротливого тяжелолюда, вечно опаздывающего, как говорил его учитель? Вот и с Мириам — он опоздал, безнадежно опоздал сказать ей там, в горах Аркарлы, в долине звенящих трав... А сейчас, чтобы завоевать Мириам, ему нужно все свои помыслы, все силы отдать этому. Как раз тогда, когда так много времени и энергии требует от него разгадка тени минувшего. Разве он сумеет, разве его хватит на все? Да и почему он так уверен, что Мириам готова полюбить его? А если она любит другого?

Никитин внезапно успокоился и снова сел в кресло.

Человеческий ум не мог опустить свои мощные крылья перед непостижимым. Призрак динозавра должен был иметь какое-то объяснение!

Эта непреклонность перед самыми трудными задачами, протест против слепой веры и есть самая замечательная черта человеческого ума...

И все же думы Никитина невольно возвращались к экспедиции в пустыню. Он припоминал все до мелочей, особенно последние дни перед возвращением в Москву. Цепкая память натуралиста неожиданно оказала ему большую услугу.

Никитин вспомнил, как он в день отъезда из белого города ожидал машину в гостинице... Он растянулся на широком диване. Окно комнаты выходило на улицу, залитую солнцем. Ставни были закрыты, в полумрак комнаты из щели между ставнями вонзался прямой и слабый световой луч.

На стене против окна промелькнули какие-то тени. Невольно проследив их движение, Никитин вдруг увидел ясное перевернутое изображение противоположной стороны улицы. Совершенно четко вырисовывались голые ветви тополей, приземистый дом с новой крышей, решетка железных ворот. Вот быстро прошел человек, вскидывая лапами халата, смешной, маленький, перевернутый вверх ногами...

Подобно свежему ветру, в голове Никитина пронеслось быстрое соображение: маленькая, замкнутая, затененная нависшими скалами впадина в горах Аркарлы... узкая щель — проход на просторную равнину — и точно напротив нее смоляное зеркало... Ведь это огромная естественная камера, фокус, который можно вычислить! Теперь для него ясно, как могло получиться изображение, но... но главное все еще непонятно: как же запечатлелся снимок, как могла сохраниться в тысячах веков мимолетная игра света и теней? Фотография не дала пока никакого ответа.

А! Стой!..

Никитин вскочил и зашагал по комнате.

Изображение было цветным! Нужно тщательно просмотреть теорию цветной фотографии.

Весь следующий день Никитин, забыв обо всем на свете, изучал толстую книгу по цветной фотографии. Он уже успел ознакомиться с теорией цветов и анализом человеческого зрения и теперь, просматривая последний отдел, «Особые способы цветной фотографии», внезапно наткнулся на письмо Ниэпса к Дагерру¹, написанное еще в 30-х годах прошлого столетия.

«...причем оказалось, что лакировка (асфальтовая смола) пластинки изменялась под действием света, что давало в проходящем свете нечто подобное изображению на диапозитиве, и все цветные оттенки можно было видеть очень отчетливо», — писал Ниэпс.

Никитин глухо вскрикнул и, стиснув виски, как

¹ Дагерр Луи — французский изобретатель и ученый; разработал первые методы фотографии. Ниэпс Жозеф — французский физик; ему принадлежит самая идея фотографии и изобретение камеры-обскуры.

будто сдерживая разбегающиеся мысли, стал читать дальше:

«Когда полученное изображение рассматривалось под определенным углом в падающем свете, то можно было видеть очень красивый и интересный эффект. Явление это следовало бы поставить в связь с ньютоновским явлением цветных колец: возможно, что какая-либо часть спектра¹ действует на смолу, создавая тончайшие различия в толщине слоев...»

Драгоценная нить объяснения призрака тиранозавра потянулась через страницы. Вначале тонкая и хрупкая, она постепенно становилась крепче и надежнее.

Никитин узнал, что под воздействием стоячих световых волн изменяется структура гладкой поверхности фотографических пластинок, что эти стоячие волны создают определенные цветовые отпечатки, не зависящие от обычного черного изображения, получаемого в результате химического воздействия света на бромистое серебро фотопластинки. Эти отпечатки сложных отражений световых волн, совершенно невидимые даже при сильных увеличениях, отличаются только одной способностью — избирательно отражать свет только определенного цвета, при освещении изображения под одним, строго определенным углом. Сумма этих отпечатков и дает великолепное изображение в естественных цветах.

Значит, в природе существует непосредственное воздействие света на некоторые материалы, достаточное для получения изображения и без помощи разлагаемых светом соединений серебра. Именно это и было той зацепкой, которой так не хватало ученому.

Никитин ускорил шаги. С подтаявших крыш падали редкие капли. Ученый, волнуясь, спешил в институт. Три месяца работы не прошли даром — он знал, что и где искать, и теперь помощь оптиков, физиков и фотографов далеко продвинула решение

¹ С п е к т р — разноцветная полоса, получающаяся при прохождении светового луча через призму.

задачи. И вот сегодня он впервые решается выступить перед ученым миром.

Тема доклада и имя Никитина собрали значительную аудиторию. Палеонтолог рассказал о невероятном случае с призраком тиранозавра и сейчас же заметил веселое оживление собравшихся. Никитин нахмурился, но продолжал неторопливо и четко:

— Этот свежевскрытый слой ископаемой смолы, оказывается, хранил в себе световые отпечатки — снимок одного момента существования природы мелового периода. Солнечные лучи, отражаясь от этого черного зеркала под определенным углом, отбросили, вроде проекционного фонаря, на какие-то создающие мираж струи воздуха гигантский призрачный облик живого динозавра уже не в перевернутом виде. Получилось своеобразное слияние отраженного изображения с миражем, увеличившее размеры светового отпечатка.

Без сомнения, выдержка, нужная для получения светового отпечатка в смоле, была велика... Но, возможно, сила солнечного освещения в те времена с тропическим климатом была несколько больше, а может быть, и динозавры могли целыми часами стоять неподвижно. Современные крупные пресмыкающиеся — крокодилы, черепахи, змеи, большие ящерицы — по несколько часов остаются неподвижными, не меняя положения. Их нельзя сравнивать с бурлящими энергией млекопитающими. Поэтому при условии большой выдержки вполне возможны снимки живых ящеров, что и доказано виденным мною динозавром.

Я рассчитал место, с которого был запечатлен снимок, — ученый показал на большой план местности, приколотый к доске: — Оно в ста тридцати девяти метрах от подножия каменных башен. Полученный благодаря сильному освещению или особенному расположению облаков, или еще каким-либо другим условиям снимок, очевидно, был немедленно закрыт натеками последующих слоев асфальтовой смолы и таким образом сохранен от уничтожения. Сотрясение от взрыва отделило все верхние слои, вскрыв непосредственно асфальтовый снимок...

Никитин помолчал, стараясь преодолеть охватившее его волнение.

— В конце концов,— продолжал он,— важно не это чудесное происшествие, не то, что несколько человек впервые в мире увидели живой облик ископаемого животного. Величайшее значение только что доложенного вам наблюдения заключается в реальном существовании световых отпечатков древнейших эпох, запечатленных в горных породах и сохраняющихся десятки, может быть сотни миллионов лет. Это реальные тени минувшего из таких глубин времени, которых мы даже не можем охватить своим разумом. Мы не подозревали об их существовании. Никому и в голову не приходило, что природа может фотографировать самое себя, поэтому мы и не искали этих световых отпечатков.

Конечно, снимки минувшего требуют такого количества совпадений различных условий, что могут получаться и сохраняться только в невероятно редких случаях. Но ведь за огромное количество прошедшего времени и число таких случаев должно быть очень большим! К примеру: каждый случай сохранения ископаемых костей тоже требует очень редких совпадений. Тем не менее мы знаем уже очень много вымерших животных, и их число возрастает чрезвычайно быстро по мере развития палеонтологических исследований.

Световые отпечатки, снимки минувшего, могут образоваться и сохраниться не только на асфальтовых смолах. Без сомнения, мы можем искать их в некоторых распространенных веществах горных пород — солях окиси и закиси железа, марганца и других металлов. Давно известно фотографирование методом выцветания, путем разрушения светом какой-нибудь нестойкой к нему краски и получения таким образом дополнительного цвета¹. Где искать их, эти картины? В тех отложениях горных пород, где мы можем пред-

¹ Дополнительные цвета — существуют только три основных цвета: красный, синий и желтый; цвет, дополнительный к основному, получается из смешения двух основных цветов.

полагать очень быстрое наслоение на открытом воздухе или в очень мелкой воде. Вскрывая без повреждения поверхность напластований и улавливая световые отражения какими-нибудь приборами, облегчающими восприятие световых отпечатков, мы должны научиться понимать эти следы световых волн минувших времен.

Наконец мы вправе предположить, что природа фотографировала свое минувшее не только с помощью света. Вспомните еще не объясненные наукой до конца снимки окружающего, которые оставляет изредка молния на деревянных досках, стекле, коже пораженных ею людей. Можно представить себе запечатление изображений с помощью электрических разрядов, невидимых излучений вроде радия.

Отдайте себе только ясный отчет в том, что вы ищете, и вы будете знать, где искать, и найдете!..

Никитин закончил доклад. Последовавшие выступления были полны скептицизма. Особенно горячился один известный геолог, который с присущим ему красноречием охарактеризовал выступление Никитина как увлекательную, но с научной точки зрения гроша медного не стоящую «палеофантазию». Но все нападки не задели ученого. У него давно уже окрепло твердое решение.

Металлические удары глухо разносились по огромному залу. Никитин остановился у входа. В двух стоявших друг против друга витринах приземистые ящеры скалили черные зубы. За витринами пол был завален брусьями, железными трубами, болтами и инструментами. Посередине на скрещенных балках поднимались вверх две высокие вертикальные стойки — главные устои большого скелета динозавра. К задней стойке уже присоединились сложно изогнутые железные полосы. Два препаратора осторожно прикрепляли к ним громадные кости задних лап чудовища. Никитин скользнул взглядом по плавному изгибу трубы, обрамлявшей каркас сверху и щетинившейся медными хомутиками. Здесь будут установлены все во-

семьдесят три позвонка тиранозавра по контуру хищно изогнутой спины.

У передней стойки Мартын Мартынович с большим газовым ключом балансировал на шаткой стремянке. Другой preparator, мрачный и худой, в холщовом халате, карабкался по противоположной стороне лестницы с длинной трубой в руках.

— Так не выйдет! — крикнул палеонтолог. — Осторожнее! Не ленитесь передвинуть леса.

— Да ну, что тут канительется, Сергей Павлович! — весело ответил сверху латыш. — Мы — да не сумеем? Старая школа!

Никитин, улыбнувшись, пожал плечами. Мрачный preparator вставил нарезку трубы в верхний тройник, которым заканчивалась стойка. Мартын Мартынович энергично повернул ее ключом. Труба — опора массивной шеи — повернулась и повлекла за собой мрачного preparatora. Он и латыш столкнулись грудью с грудью на узенькой верхней площадке стремянки и рухнули в разные стороны. Грохот упавшей трубы заглушил звон стекла и испуганный крик. Мартын Мартынович поднялся, смущенно потирая свежую шишку на лысой голове.

— Падать — это тоже старая школа? — спросил палеонтолог.

— А как же ж! — подхватил находчивый латыш. — Другие бы покалечились, а у нас пустяк — одно стекло, и то не зеркальное... Леса-то придется передвинуть, неладно же ж, — как ни в чем не бывало закончил Мартын Мартынович.

Никитин надел халат и присоединился к работающим. Наиболее медленная часть работы — предварительная сборка скелета и изготовление железного каркаса — была уже пройденным этапом. Теперь каркас был готов, оставалось собрать его и прикрепить на уже припаянных и привинченных к нему упорах, хомутиках и болтах тяжелые кости — тоже результат многомесячного труда; preparatory освободили их от породы, склеили все мельчайшие отбитые и рассыпавшиеся части, заменили гипсом и деревом недостающие куски.

Каркас был прилажен удачно, исправления в ходе монтажа скелета оказались незначительными. Ученые и препараторы работали с энтузиазмом, задерживаясь до поздней ночи. Всем хотелось скорее восстановить в живой и грозной позе вымершее чудовище.

Через неделю работа была закончена. Скелет тиранозавра поднялся во весь рост; задние лапы, похожие на ноги гигантской хищной птицы, застыли в полушаге; длинный выпрямленный хвост волочился далеко позади. Громадный ажурный череп был поднят на высоту пяти с половиной метров от пола; полураскрытая пасть напоминала согнутую под острым углом пилу с грубыми редкими зубьями.

Скелет стоял на низкой дубовой платформе, сверкающей черной полированной поверхностью подобно крышке рояля.

Косые лучи вечернего солнца проникали через высокие сводчатые окна, играя красными отблесками на зеркальных стеклах витрин и утопая в черноте полированных постаментов.

Никитин стоял, облокотившись на витрину, и придирчиво оглядывал в последний раз скелет, стараясь найти какую-нибудь не замеченную ранее погрешность против строгих законов анатомии.

Нет, пожалуй, все достаточно верно. Огромный динозавр, извлеченный из кладбища чудовищ в пустыне, теперь стоит доступный тысячам посетителей музея. И уже заготавливаются каркасы для других скелетов рогатых и панцирных динозавров — великолепный результат работы экспедиции...

Блеск солнца на черной крышке постамента живо напомнил палеонтологу смоляное зеркало в горах Аркарлы... Да, конечно, скелет поставлен им в той же позе, в какой неизгладимо врезался в память призрак живого тиранозавра. И эта поза производит впечатление полной естественности, что нельзя сказать про монтажки других музеев.

«Если бы мои уважаемые коллеги знали, чем я руководствовался! — усмехнулся про себя Никитин. — Впрочем, победителей не судят».

И снова мысли ученого, подобно стрелке компаса, повернулись к разгаданной тени минувшего. Призрак перестал быть загадкой, явление было ясно ученому. Исчезла и страстная напряженность мысли, возмущение разума перед непостижимой тайной природы. Ход размышлений стал спокоен, холоден и глубок.

Ученый хорошо понимал, что до тех пор, пока он не докажет миру действительное существование световых отпечатков прошлого, ему придется работать одному. У него, по всей вероятности, не будет ни специальных средств, ни лишнего времени — все ему придется делать параллельно своей основной работе. Огромная, непосильная задача! И сама геология против него.

В процессах, создающих осадочные горные породы, то есть те наслоения, которые могут воспринимать световые отпечатки, чрезвычайно редки случаи быстрого отложения одного слоя за другим. Тем более на поверхности, а не в глубинах озер и морей! Нужно отыскать наслоения, отложенные со скоростью, достаточной для того, чтобы избежать последующего воздействия света. И это должно совпасть с условиями, хотя бы отдаленно подобными камере-обскуре, чтобы на поверхность слоя упал не просто рассеянный свет, а световое изображение. А сколько уже полученных снимков может погибнуть в дальнейшем при уплотнении, перекристаллизации или других химических изменениях осадочных пород!

Какие шансы найти в бесконечно большом числе напластований именно ту поверхность, которая одна из миллионов подобных сохранила снимок минувшего?

Неужели глубины времен навсегда останутся безответными и недостижимыми для нас?

Нет, именно эта бесконечная, бездонная глубина прошлого должна помочь нам. Нужна редчайшая случайность, та, которая может быть раз в тысячу лет, и нет никаких шансов наткнуться именно на нее. Но если этих тысячелетий прошли миллионы, то миллион случайностей — это уже вполне доступное для наблюдений число... И оно во много раз увеличивается еще тем, что поверхность Земли огромна.

Территория нашей родины — это сотни миллионов квадратных километров, сложенных разными горными породами, образовавшимися в самых различных условиях. Имея дело с большими числами, нужно отказаться от узких, рожденных житейским опытом представлений. «В поисках минувшего моя родина за меня,— думал ученый.— Где же еще обнаружить новые снимки прошлого, как не на ее необозримых просторах!»

Уверенность и стремление к новым поискам, новой борьбе снова воскресли в душе Никитина.

Прежде всего необходим аппарат, улавливающий отраженный от слоя породы свет. Может быть, камера с очень светосильным и в то же время широкоугольным объективом¹. Очень важно правильно установить угол отражения... Может быть, сделать вращающуюся призму?

Никитин, не взглянув более на скелет тиранозавра, поспешил в свой кабинет.

— Нет, не сюда, товарищ профессор.— Бородатый колхозник с суровым лицом остановил шедшего в задумчивости Никитина.— Тропинка эта верховая, а нам надо налево, в овраг.

— А далеко еще до красных обрывов? — спросил один из помощников Никитина.

— Как спуститься оврагом до реки — с километр, да берегом километра четыре.— И проводник деловито зашагал вперед.

Огромные, толстые ели стеснили тропинку. В промежутках между серовато-зелеными стволами и косыми замшелыми нижними ветками глубоко внизу поблескивала река. Воздух был насыщен сладковатым запахом еловой смолы, более мягким и приторным, чем запах сосны. Овраг, заросший ольхой, походил на длинный крытый коридор, устланный толстым слоем

¹ Светосильный объектив — фотообъектив, пропускающий много света, для быстрой съемки. Широкоугольный объектив — фотообъектив, захватывающий с близкого расстояния большую площадь.

побуревших старых листьев. Листья становились все чернее и мокрее, под ними захлюпала вода. Овраг кончился. Исследователи оказались на берегу быстрой и холодной реки, узкое русло которой пролегалo в высоких крутых берегах. Каждый поворот реки и тихое плесо обозначались издали ярким блеском солнца. Быстрины были тусклые и от этого казались хмурыми и холодными. Невдалеке виднелись крутые обрывы темно-пурпурных глин, окаймленные сверху зелеными арками заросшей верхней кромки склона.

Вскоре маленький отряд достиг обрывов, и рабочие приступили к делу. В дюжих руках быстро замелькали лопаты и кирки. Глина крупными зернами, шурша, катилась в реку, словно дождь орехов. Осторожно подбивая клинья, обнажили блестящую, гладкую поверхность слоя глины. Пласт лежал с небольшим наклоном, и Никитину пришлось соорудить помост и установить свой аппарат высоко над вскрытым слоем. Кончив свое дело, рабочие ушли, помощники отправились вверх по берегу с удочками, и палеонтолог остался один.

Часы шли, Никитин дежурил у аппарата, изредка позволяя себе на две-три минуты закрыть усталые глаза. Ученый не волновался, почти совершенно уверенный в очередной неудаче. Неоднократно и в разных местах Никитин устанавливал свой прибор, в томительном ожидании вглядываясь в мертвую гладь камня. С каждым разом волнение и ожидание нового открытия слабели, угасала надежда, но ученый упорно продолжал свои наблюдения во всех подходящих, по его мнению, местах. Так и теперь, почти без интереса, связанный лишь взятым на себя тяжелым долгом, Никитин наблюдал в аппарат свежевскрытый слой затвердевшей пурпурной глины. Солнце медленно изменяло углы освещения, могучие ели слабо качали своими верхушками, чуть слышно плескала вода в прибрежной осоке. И вдруг в однообразном ровном освещении появились редкие темные пятна, стали резче, разбросались по всему вскрытому слою. Подбирая наклон отражения с помощью вращающейся призмы, Никитин добился наконец ясной видимости.

Перед ним был очень светлый берег необычайно прозрачного зеленого моря. Почти идеальная плоскость серебряно-белого песка неуловимо переходила в изумрудную воду. Длинные прямые гребешки маленьких волн застыли в своем взлете, прочертив кристально ясную поверхность воды яркими синевато-зелеными полосами. На более далеком плане полосы дробились в треугольники, заостренные верхушки волн заворачивались вниз, показывая вспышки ослепительно белой, тоже серебряной пены. В чистейшей зелени воды даль казалась голубой, чувствовались дивная прозрачность воздуха и поразительная яркость света.

Почти со страхом смотрел Никитин на этот кусочек несказанно светлого и ясного мира, сознавая, что гребешки волн застыли в солнечных лучах, светивших более четырехсот миллионов лет назад. Это был берег силурийского ¹ моря...

Видение исчезло очень скоро, с ничтожным поворотом солнца. Дневной свет, вызывая видение, сам же и гасил его, не давая возможности пустить в ход фотографический аппарат.

Никитин остался ночевать тут же, под помостом. Только завтра в этот же час солнце снова могло вызвать к жизни призрачные тени.

Но напрасно дрожал ученый от ночной сырости, отбивался от надоедливых комаров. Переменчиво северное лето: пасмурное утро закончилось дождем. В промозглом тумане ученый с отчаянием следил, как струилась вода по гладкой поверхности глины, как струйки дождя постепенно краснели и как, наконец, снимок чудесного силурийского моря превратился в липкую бурю грязь.

Второй раз удалось Никитину увидеть тень минувшего, только на миг восхитившись прекрасным видением. Но все же, если поиски удались однажды, нужно пробовать снова и снова!

Теперь Никитин решил попытаться искать снимки прошлого на стенах пещер — этих естественных ка-

¹ Силурийский период — эпоха в истории Земли, около 400 миллионов лет назад.

мер-обскур. Там снимок защищен от капризов погоды, от изменений солнечного освещения. А он, наученный горьким опытом, будет теперь готовить фотоаппарат заранее, перед наблюдением. Тогда минувшее не ускользнет. Нужно искать в неглубоких пещерах, где в известковых натеках окажутся изменяющиеся от света вещества.

Над густой масляной водой медленно полз редкий серый туман. Берега светились от инея, а круто спадавшие горные склоны угрюмо чернели, оттаяв в лучах поднявшегося солнца. Тупой нос неуклюжего карбаза, закрытый просмоленным брезентом, был направлен на далекую отвесную скалистую кручу, вставшую поперек могучей реки.

Широкое плесо дышало пронизывающим холодом, струилось беззвучно и быстро. Издалека неся роко-чуший, тяжелый рев. Никитин стоял на осклизлых досках рулевого помоста рядом с лоцманом, крепко державшимся за деревянные колышки, вбитые в бревно рулевого весла.

Лоцман потер неуклюжей рукавицей покрасневший нос.

— То Боллоктас ревет,— хрипло сказал он, придвигаясь к Никитину,— самый страшный порог!

— За поворотом? — медленно спросил Никитин.

Лоцман хмуро кивнул.

— Там и есть пещера? — продолжал Никитин.— На левом берегу?

— Взаправду причаливаться хотите? — тревожно прохрипел лоцман.

— Да, другого исхода нет — берегом по кручам не пройти,— твердо ответил ученый.

Поверхность воды начала вспучиваться длинными и плоскими волнами. Карбаз — тяжелый плоскодонный ящик с треугольным носом — стал медленно покачиваться и нырять. Под носом захлупала вода. Рев приближался, нарастая и отдаваясь в высоких скалах. Казалось, самые камни грозно ревели, предупреждая пришельцев о неминуемой гибели.

Лоцман подал команду, гребцы заворочали тяжелыми веслами. Карбаз повернулся, ныряя. Река входила в узкое ущелье, сдавившее ее мощный простор. Гигантские утесы, метров четыреста высотой, надменно вздымались, сближаясь все больше и больше. Русло реки напоминало широкий треугольник, вершина которого, вытягиваясь, исчезала в изгибе ущелья. У основания треугольника высокий пенистый вал обозначал одиночный большой камень, а за ним треугольник пересекался рядом острых, похожих на черные клыки камней, окруженных неистово крутящейся водой. Ущелье вдаль было заполнено острыми стоячими волнами, точно целый табун вздыбленных белых коней протискивался в отвесные темные стены. Налево в каменную стену вдавался широкий полукруглый залив, искривляя левую сторону треугольника, и туда яростно била главная струя реки, взметывая столбы сверкающих брызг.

Никитин опустил бинокль и схватился за рулевое весло, помогая лоцману. Навстречу летел, оглушительно шумя, средний камень. Карбазу нужно было пройти не по сливу, а с опасной левой стороны, иначе непреодолимая сила воды отбросит судно к гряде камней и... к пещере можно будет попасть лишь в будущем году. А это значит — никогда, потому что работы экспедиции были закончены, предстояло спешное возвращение.

— Бей пуще! Пуще! — заорал лоцман.

Карбаз взлетел на гребень высокого вала — за камнем вода падала в глубокую темную яму. Карбаз рухнул туда. Раздался тупой стук днища о камень, рывок руля едва не сбросил Никитина и лоцмана с мостков, но оба крепко уперлись в бревно и пересилили. Судно слегка повернуло и несло теперь под тупым углом к берегу, отклоняясь к грозным каменным клыкам. Карбаз, заливаемый водой и пеной, отчаянно дергался, прыгая на высоких волнах.

— Гроби! — надсаживался лоцман.

Промокшие и вспотевшие гребцы — рабочие и сотрудники экспедиции Никитина — изо всех сил рвали непослушные весла. Менее опытные со страхом ожи-

дали крушения, взглядывая на упрямого начальника. Его лицо, обросшее темной бородой, казалось грозным.

Никитин стоял, широко расставив ноги, на дрожащих мостках, мысленно измеряя и рассчитывая расстояние до белой пенной линии — границы отраженного обратного течения. Лоцман, закусив губу, смотрел туда же. Карбаз замедлил ход, потом снова рванулся вперед и бросился прямо в кипящую пену. Хотелось зажмурить глаза и сжаться в комочек — секунда, и судно неминуемо разобьется в щепы о скалы. Однако ход карбаза снова стал замедляться. С резким толчком судно остановилось и, подхваченное обратным течением, вошло в глубокую черную воду, тихо плескавшуюся у подножия гнейсовых уступов, круто спадавших в реку.

Никитин не сдержал вздоха облегчения. В конце концов рискованное исследование пещер Боллоктаса вовсе не входило в задание его экспедиции, и если бы в погоне за тенью минувшего случилось несчастье... Но карбаз уже причалил, мягко ткнувшись в скалу. Коллектор лихим прыжком соскочил на выступ скалы и закрепил за камень причальный канат.

— С благополучным прибытием, товарищ начальник! — шутиливо согнулся перед Никитиным лоцман.

— Лихо прошли! — одобрительно отозвался ученый.

— По-русски, верняком! — отрубил лоцман.

Крутые склоны поднимались над карбазом метров на полтора. Выше склон образовал широкий уступ, длинную площадку, полукольцом огибавшую выступ берега. Над площадкой склон горы становился пологим. У его основания располагалось девять черных отверстий — входы в пещеры. Весь склон зарос невысокими кудрявыми соснами, белел сухим оленьим мхом.

Никитину и его помощникам без особого труда удалось поднять наверх все нужное снаряжение. Весь остаток дня провел палеонтолог в пещерах, пока не убедился, что был прав в своих предположениях.

На плоской задней стене пещеры тонкие гладкие натёки наслаивались последовательно. Порода была

окрашена в густой желто-зеленый цвет. Никитин надеялся, что примеси солей железа и хрома, изменившись под действием света, могут сохранить в каком-либо слое световой отпечаток той эпохи, когда здесь били горячие ключи и еще не потухла окончательно вулканическая деятельность,— около шестидесяти тысяч лет назад.

Помощники ученого расчистили вход. Круглое отверстие отбрасывало свет на заднюю стену. Пещера и в самом деле была похожа на внутренность фотографического аппарата.

С бесконечным терпением и тщательностью Никитин приступил к работе. Счищая слой за слоем, он освещал поверхность каждого слоя специально сконструированной им магниевой лампой¹.

Ученый поворачивал то лампу, то призму, меняя углы освещения и отражения, но ни малейшего намека на видение не проступало в стеклах прибора.

Больше десяти тонких слоев уже было осмотрено и сбито со стены. Оставалась очень тонкая корка натека. Никитин незаметно проработал всю ночь, но, озлобленный неудачей, не чувствовал усталости. Только рябило в глазах от яркого света да подходил к концу запас магниевой смеси.

Неужели еще одно потерянное лето — сейчас, когда он достаточно вооружен для поимки тени прошлого!

Одиннадцатый слой показался Никитину еще более гладким, чем все прежние. Ученый снова зажег магниевую лампу. Несколько поворотов шаровой головки — и в приборе проступило круглое смутное изображение. Серая, неясная тень в правом углу походила на согнутую человеческую фигуру с какой-то косой линией за плечом; налево смутные пятна очерчивали нечто округленное и непонятное. Никитин регулировал прибор, но видение не становилось яснее. Он понимал, что перед ним новый снимок минувшего, однако настолько неясный, что было бы затруднительно даже описать его, не только сфотографировать. Никитин

¹ Магниевая лампа — лампа, в которой сжигается металлический магний.

всыпал новую порцию магниевой смеси, увеличив до предела свет лампы. Да, это, без сомнения, человеческая фигура. Значит, все дело в силе освещения. Хотя магниевый свет и дает спектр, подобный солнечному, но сила его недостаточна. Только могучее солнце может дать жизнь им же порожденным теням! И чувствительность его аппарата недостаточна — он слишком прост, этот копирующий фотокамеру прибор.

Перегретая лампа, вспыхнув в последний раз, погасла. В тьме пещеры явственно выделялось круглое отверстие входа... Рассвет! Обычное спокойствие оставило ученого — в ярости он стукнул кулаком по ни в чем не повинному прибору.

Никитин совсем разъярился. В пещере ему не хватало воздуха, он бросился наружу и, сильно стукнувшись головой о свод, упал на колени. Удар несколько образумил ученого, но ярость, клокотавшая в нем, не угасла. Прищуренным глазом он оглядел нависшую над входом глыбу. Так, его лампа не годится! Но он увидит тень минувшего при солнечном свете! Он всегда имел при себе аммонал, чтобы при случае быстро вскрыть нужные слои, взорвав лежащую на них породу.

Палеонтолог деловито осмотрел склон над пещерой, заметил длинные вертикальные трещины, рассекавшие гнейсовые глыбы. Обрушить этот каменный занавес — пустяки!

Ученый начал спускаться к берегу, где расположились на ночлег его спутники, но передумал и вернулся в пещеру. Там он определил угол, под которым падал на поверхность известкового слоя свет его лампы, и взял по компасу направление. Отлично! Солнце будет тут между двумя и тремя часами! Можно успеть выспаться как следует, а то глаза так устали, что и при солнце он ничего не увидит. Хорошо, что утро обещало погожий день!

Как только рассеялась пыль от взрыва, Никитин стал поспешно устанавливать аппарат, балансируя на грудях каменных осколков. Гладкая зеленоватая сте-

на, не поврежденная взрывом, влажно отблескивала в ярком дневном свете.

Нет, теперь он не будет наивен — приготовленная кассета¹ крепко зажата в руке. Едва мелькнет в стекле прибора рожденное солнцем изображение — и он установит фокус, сразу же кассета будет вставлена в аппарат. В результате удачного снимка будет доказано существование, более того — возможность сохранения и передачи теней минувшего. Решительный поворот в трудном пути — дальше он пойдет уже не один! Что значат усилия одиночки в сравнении с дружной работой многих людей, очень хорошо известно каждому, кто пытался проложить новые дороги в науке или технике.

Никитин посмотрел на часы — два часа двадцать три минуты — и прильнул к стеклу, вцепившись в поворотный винт призмы. Снова медленно потянулось время, но сейчас ожидание было напряженным — ученый знал, что увидит минувшее.

Медленно, очень медленно солнце изменяло свое положение на небе. Никитин забыл про все окружающее...

Вот серая согнутая тень направо постепенно вырисовалась четким контуром человеческой фигуры. Косая линия обрисовала копьё.

Вобрав голову в широкие плечи со вздутыми, напряженными мускулами, человек уселся, пригнувшись, выставив вперед длинное копьё. Широкое, изборожденное морщинами лицо было наполовину повернуто к Никитину, но глаза устремлены на синеющие вдали округлые, заросшие лесами горы, открывавшиеся за обрывом площадки. Никитин успел заметить густые всклокоченные волосы, обрамлявшие довольно высокий лоб, выдающиеся скулы, массивные челюсти. Ученому показалось, что на лице человека он прочел тревожное и мучительное раздумье, словно тот в самом деле пытался заглянуть в будущее. Все это Никитин рассмотрел за несколько мгновений. Несмотря на жгучий

¹ Кассета — коробка с выдвижной стенкой (шибером), в которую закладывается фотопластинка или пленка.

интерес к другим деталям картины, палеонтолог не мог разрешить себе дольше всматриваться в аппарат, ему нужен был снимок. Никитин быстро вставил кассету и схватился за шибер, чтобы открыть пластинку, но замер на месте, так и не сделав нужного движения. Блеск гладкой стены внезапно потух, вокруг потемнело, и, оглянувшись, Никитин увидел массивную длинную тучу, медленно наползавшую на солнце. А за ней сомкнутыми рядами, оседая на вершины окрестных сопков, ползли из-за гор тяжкие свинцовые облака того зловещего лилового оттенка, который предвещает сильный снегопад.

С отчаянием в душе ученый осматривал небо. Если пойдет снег, то он больше ничего не увидит — тончайшие отпечатки света неминуемо будут стерты.

Затаив смутную надежду, Никитин покрыл аппарат плащом, оставив его на месте до следующего дня, и апатично поплелся к палаткам. Нелепая случайность, новая неудача отравили сознание, обессилили тело.

Спутники Никитина притихли, глядя на подавленного, молча сидящего начальника; они переговаривались вполголоса, как у постели тяжело больного.

В скалах жалобно завыл ветер, закрутились крупные хлопья снега.

Никитин налил себе спирту, выпил и приказал принести сверху аппарат. Не только погибла всякая надежда увидеть снова образ древнего человека — больше нельзя было допускать ни одного лишнего часа задержки. Приходилось взять себя в руки: запоздание могло привести к тому, что карбаз попадет в ледостав и застрянет в замерзшей реке ниже порогов, среди безлюдной тайги.

Наутро, едва лишь на небе резко выступили вершины сопков, люди засуетились, укладывая вещи.

Причальный канат тихо плеснул, упав в воду; карбаз едва заметно продвигался к пенной границе главной струи. Вдруг словно чудовищная мягкая лапа подхватила судно. Карбаз рванулся вперед и понесся в ущелье, где исчез, прыгая, как щепка, в реве и пене острых волн.

Настольная лампа с глубоким колпаком бросала круг света на заваленный книгами стол. В большом кабинете было полутемно. Никитин в напряженном раздумье неподвижно сидел у стола.

Три года, как он не знает покоя... Прежняя работа кажется ему теперь такой спокойной и ясной, так манит снова отдаться ей целиком! А он не может и разрывается между старым и новым, стараясь добросовестно выполнять свои прежние задачи, в то время как вся душа его — в погоне за тенью минувшего. За эти три года еще дважды минувшее было у него в руках, два раза он видел то, что не дано было никому увидеть. И он так же далек от выполнения задачи, как в тот незабываемый момент в горах Аркарлы. И аппарат... он не годится. Он слишком груб.

Должно быть, он сделал ошибку в прошлом. Человек не должен быть одинок...

Никитин зажег верхний свет и, щурясь, стал собирать разбросанные бумаги. Бросил взгляд на свой прибор, стоявший на отдельном столике, потертый и исцарапанный в путешествиях. На секунду сравнил себя с ним, горько усмехнулся и вышел.

В музее было темно. Кабинет Никитина находился в конце огромного зала, заполненного витринами и скелетами вымерших животных. Выйдя из освещенной комнаты, Никитин как бы ослеп. Он знал проходы между витринами, но знал также, что в нескольких местах в проходе выступают рога и оскаленные пасти скелетов, стоящих на открытых платформах. В темноте легко было ушибиться или, что еще хуже, разбить хрупкие кости.

Ученый остановился и стал ждать, пока глаза привыкнут к темноте. Вот едва заметно заблестели стекла витрин, но темные кости скелетов сливались с темным пространством зала, который казался пустым. Многолетней привычкой Никитин чувствовал незримое присутствие мертвого населения музея. Странное впечатление овладело палеонтологом — словно зал был наполнен призраками, осязаемыми, но невидимыми.

Никитин двинулся вперед, ворча на несовершенство собственных глаз. Он знает все, что здесь находится, знает, что где стоит, и ничего не видит. Не хуже тени минувшего! Скелеты существуют и в то же время исчезли — для глаз слишком мало света...

И вдруг Никитин остановился — сравнение с тенью минувшего поразило его. Как он был наивен! Почему он упустил из виду, что тончайшие отпечатки световых волн могут в огромном большинстве случаев отражать лишь ничтожные количества света, количества, не воспринимаемые аппаратом? Потому и искусственное освещение не могло вызвать вполне отчетливо запечатленные картины минувшего.

А сколько, значит, пропущено более слабых отпечатков!

Никитину стало стыдно. Он, ученый, действовал при создании своего прибора кустарно, по-дилетантски! Он забыл про мощь современной техники, обладающей приборами, чувствующими самые ничтожные количества света!

Медленно переступая, подвигался палеонтолог по темному залу музея, и с каждым шагом крепло представление о новой конструкции его аппарата. Он обратится снова к физикам и техникам. Ему нужно получить восприятие отраженного от снимка света не непосредственно, а через комбинацию чувствительных фотоэлементов, перевести свет в электрический ток, усилить его и снова превратить в свет, уже видимый фотоаппаратом.

Затруднение предвидится в точной передаче цветов, но тут можно комбинировать. Можно дать усиление контуров, а цвет получится из непосредственного отражения.

Никитин задел плечом витрину и шарахнулся в сторону... Да, тут есть над чем подумать, но, кажется, ключ к решению вопроса найден. «Если удастся создать такой аппарат,— продолжал думать ученый,— мне ничего не страшно. На открытом воздухе я делаю навес, даю искусственный свет. А под землей и говорить нечего! Тогда тень минувшего — тут! — Палеонтолог сжал пальцы в кулак.— С несколькими фото-

элементами¹ я могу менять настройку аппарата, повышая или понижая чувствительность к разным лучам спектра».

Веселый молодой машинист придвинулся поближе к инженеру, провожавшему в шахту группу явно наземных людей.

— Как их, Андрей Яковлевич? — шепотом спросил он. — С ветерком или с подпояской? — Машинист выразительно подмигнул на пришедших.

— Что ты, что ты! — ужаснулся инженер. — Это ведь знаменитый ученый! — Он украдкой указал на замешкавшегося Никитина. — И аппарат их повредишь... Посмей только! — угрожающе закончил инженер.

Никитин, отличавшийся тонким слухом, расслышал весь этот короткий и непонятный для непосвященных разговор и поспешил вмешаться.

— Давайте и с ветерком и с подпояской! — громко обратился он к машинисту. — Ни мне, ни аппарату ничего не сделается. Люблю вспомнить старые времена! А моим ребятам полезно — пусть привыкают.

Смутившийся машинист удивленно посмотрел на ученого, потом широко улыбнулся и кивнул головой.

Клеть медленно начала спускаться и внезапно рухнула вниз, точно оборвался канат. Ноги отделились от пола, сердце, казалось, подступило к горлу, дыхание оборвалось. Падение клетки все ускорялось, затем так же внезапно и резко замедлилось. Огромная тяжесть придавила людей к полу.словно невидимые руки перетянули каждого широким, неумолимо стягивающим поясом.

Это ощущение длилось не более секунды, и снова пол ушел из-под ног, тело стало невесомым, а замирающее сердце устремилось вверх.

— Ох! — вскрикнул помощник Никитина.

Но клеть уже плавно замедляла свой спуск и оста-

¹ Фот оэлемент — прибор, в котором под действием света возникает электрический ток.

нови́лась на одном из наиболее глубоких горизонтов шахты.

— Чтоб им пусто было! — выругался помощник, стараясь унять дрожь в коленях.

Никитин задорно расхохотался, к негодованию своих перепуганных сотрудников.

Палеонтолог спускался в шахту с небывалой уверенностью в успехе. Причиной этой уверенности были заново переконструированный аппарат, и то, что здесь горняки обнаружили слой окаменевшей смолы, подобный черному зеркалу, впервые показавшему ему призрак динозавра, и... только что полученное им письмо.

Никитин улыбнулся, перебирая в памяти немногие строки. Писала Мириам, не забывшая ни его, ни тени минувшего.

Она писала, что через год ей удалось снова побывать на асфальтовом месторождении. Черное зеркало оказалось разрушенным, но ничто не могло разрушить впечатления от призрака динозавра, глубоко запавшего ей в душу... Ей удалось заинтересовать тенью минувшего талантливое исследователя Каржаева. И теперь у них ведутся поиски слоев, сохранивших отпечатки световых волн.

Она не писала ему раньше потому, что это не было ему нужно — тут Никитин почувствовал скрытый между строками упрек, — но она все время следила за его работой и верила в то, что он доведет дело до конца. А теперь они нашли интересное наслоение и просят его приехать к ним.

Никитин еще не успел осознать все значение для него письма Мириам. Слишком мало времени было у него для размышлений в последний день подготовки к исследованию. Только вернулась к нему легкость прежних молодых дней, и эта возвращенная молодость удивляла окружающих его людей.

Из длинного старого штрека тянуло пощипывающей горло гарью, тихо шелестел всасываемый мощным вентилятором воздух. Никитин спешил присту-

пить к испытанию сразу после отпалки¹ заложенных по его указанию шпуров². Здесь, в старых выработках, в стороне от оживленного движения электровозов, грохота вагонеток, мелькания фонарей, было пусто и тихо. Беспросветный подземный мрак, плотно обняв идущих, сливался с безыменной чернотой угольных стен.

Где-то едва слышно сочилась вода, далеко в стороне мерно потрескивала крепь, предупреждая горняков о тяжком давлении породы.

— Кто показал это замечательное место? — вполголоса спросил Никитин шедшего рядом помощника.

Тот кивнул на маленького старика, замыкавшего шествие вместе с инженером.

— Он редкостный горный мастер, знает каждый слой во всех забоях. Если бы не он, потребовались бы годы поисков в этих бесконечных выработках...

Палеонтолог посмотрел с немой благодарностью на старого горняка.

Впереди забелела чистая колоннада новых крепёжных столбов. Уже по их числу можно было догадаться, что ход заканчивался обширной камерой. Действительно, черные стены разошлись, открывая большое пустое пространство с высоким потолком.

Помощники Никитина замешкались, протаскивая громоздкий аппарат между столбами. Инженер выступил вперед и высоко поднял сильный фонарь. Истерзанная взрывами толща углистых сланцев окружила исследователей, грозя бесчисленными острыми выступами, отсвечивая сталью на гладких сколах...

В самом начале камеры по обеим сторонам стояли чуть покачнувшиеся толстые рубчатые стволы. Врошенные одной стороной в массу угля, они выделялись лишь ромбическим узором коры. На расчищенной поверхности пола распластались, словно громадные пауки, могучие пни с разветвленными корнями. Корни стлались по древней почве, служившей им опорой в бесконечно давно минувшие времена. Все пни были

¹ Отпалка — взрыв шпура.

² Шпур — скважина глубиной до четырех метров, пробуренная в горной породе для закладки взрывчатого вещества.

срезаны под один уровень — уровень воды в затопленном каменноугольном лесу¹. В уцелевших больших стволах мрачно зияли большие дупла.

Участок мертвого, превращенного в уголь и известь леса подавлял глубиной древностью, как будто над головами людей висела не двухсотметровая толща пород, а почти ощутимая глубина сотен миллионов лет, пронесшихся над этими стволами и пнями.

В конце камеры гряда обвалившихся сланцев обозначала место произведенного взрыва. Над ними блесла косая черно-бурая плита — затвердевший натек битума². Это и был намеченный к испытанию прослой, отлагавшийся в крутом склоне небольшого холма в каменноугольном лесу.

Скоро магниевая лампа уперлась ярким белым лучом в плиту, и Никитин установил фокус отражательной камеры. Ученый, волнуясь, кашлянул и хрипло сказал:

— Будем пробовать...

Что скажет сейчас эта так тщательно выбранная поверхность слоя?

Палеонтолог включил фотоэлементы и усилил ток. Повернув винт призмы, Никитин снова посмотрел в аппарат: порода уже не была черной — на прозрачном сером фоне проступали неясные вертикальные штрихи.

Терпеливо и осторожно ученый регулировал прибор, пока с невиданной ясностью не проявилась четвертая тень минувшего, открытая им, — тень, которую увидят теперь тысячи людей!

Никитин смотрел на прогалину в чаще затопленного леса.

Бледно-серые стволы деревьев с насеченной ромбиками корой обступили масленистую черную воду. Вверху каждое дерево разделялось на две расходящиеся под углом толстые ветки, исчезающие в густой

¹ Каменноугольный период — эпоха в истории Земли, около 350 миллионов лет назад.

² Битум — смолообразное вещество, обычно отход от сухой перегонки угля или нефти.

тени плотно стеснившихся крон. Толстый чешуйчатый ствол лежал поперек воды, упав на небольшой бугорок, выступавший налево. Бугорок зарос странными растениями, похожими на грибы, высокие и узкие фиолетовые бокалы которых усеивали мокрую красную почву. Мясистые отвороты чашечки каждого гриба показывали масленистую желтую внутренность. За бугорком, над изогнутыми стеблями без листьев, виднелся просвет, заполненный вдали мутным, слабо розовеющим туманом. Впереди из тумана торчал какой-то искривленный голый сук, а на нем съежилось, втянув голову, непонятное живое существо.

Всматриваясь в изображение, Никитин вздрогнул — из-под фиолетовых грибов, скрывая тело в их гуще, выступала широкая параболическая голова, покрытая слизистой лиловато-бурой кожей. Огромные выпуклые глаза смотрели прямо на Никитина, бессмысленно, непреклонно и злобно. Огромные зубы выступали из нижней челюсти, обнажаясь во впадинах края морды. Справа лился, освещая всю картину, какой-то тусклый жемчужный свет. Освещенный воздух казался черноватым, словно через закопченное, но прозрачное стекло...

Долго смотрел Никитин в это волшебное окно в прошлое, в жизнь мира каменноугольной эпохи. Триста пятьдесят миллионов лет легли уже между настоящим и тем временем, когда в редкой игре случая световые волны запечатлели свой снимок. Невероятно отчетливо виднелись злобные глаза невиданной твари, фиолетовые грибы, неподвижная вода и странный серый воздух. А в шахте слабо шипел прожектор и слышалось прерывистое дыхание людей...

Никитину показалось, что он сходит с ума. Он отшатнулся от аппарата. Реальные, грубо изломанные угольные стены, древние пни — может быть, остатки тех самых деревьев, которые сейчас, живые и стройные, видны в его аппарат... Сосредоточенные лица окружающих людей... Овладев собой, ученый поспешно приготовил камеру и сделал несколько цветных снимков.

На столе высилась стопка оттисков статьи Никитина, и к каждому была приложена цветная репродукция пойманной тени прошлого. Надписав последний из назначенных к рассылке оттисков, палеонтолог вздохнул.

Давно уже не было ему так легко и радостно.

Теперь по его дороге пойдут многие, более молодые, может быть более талантливые. Раскрыта первая страница тайной книги природы. Кончилось одиночество на долгом и трудном пути! Но одиночество — оно было только в познании... В работе ему помогали многие десятки людей, не говоря уже о его сотрудниках, совсем чужие, казалось бы, люди, далекие от науки...

Вереница знакомых лиц прошла перед мысленным взором ученого. Вот они горняки, рабочие каменоломен, колхозники, охотники. Все они доверчиво и бескорыстно, не спрашивая о конечной цели, уважая в нем известного ученого, помогли ему найти и схватить тень минувшего.

Значит, он работал и пользовался их помощью в долг... Да, и теперь этот долг уплачен — вот откуда громадное облегчение!

Никитин вспомнил, как в этом же кабинете он не раз тосковал и сомневался в правильности своего жизненного пути.

Ученый улыбнулся, быстро набросал текст телеграммы Мириам, извещавшей ее о завтрашнем выезде. Уверенность в дальнейшем пути переполняла его радостью. Нет, он не сделал ошибки, не зря потратил годы на трудную борьбу с загадкой природы!



ОБСЕРВАТОРИЯ НУР-И-ДЕШТ

В тормозах громко зашипел воздух, размеренный стук колес перешел в непрерывный гул. Облако снежной пыли поднялось за окном вагона.

Разговор оборвался, и подполковник заглянул в окно, порозовевшее в лучах низкого закатного солнца. Но поезд набирал скорость и безостановочно мчался, неся пассажиров навстречу новым боевым судьбам нового, 1943 года.

Один из собеседников, военный моряк, вышел в коридор и сел на откидную скамеечку, думая о неизгладимой суровости войны, на все налагавшей свой отпечаток.

Около него остановился сосед по купе — молодой высокий майор-артиллерист. Еще при первой с ним встрече моряка поразила сдержанная энергия, исходящая от всей ловкой и стройной фигуры майора. Глаза, казавшиеся особенно светлыми на сильно загорелом лице, были удивительно спокойными, но в глубине их таилась какая-то сила, которую моряк с самого начала определил как проявление упорной радости жизни, надежно прикрытой привычной выдержкой.

Майор протянул моряку руку.

— Лебедев,— сказал он.— Я слышал ваш разговор с соседями и их нападки на вас. Мне понравилось, что вы утверждаете право человека на радость. Я думаю, ваши противники правы. Но правы, разумеется, и вы. Такова жизненная диалектика. Чувство радости сейчас реже других чувств приходит к людям... Тем более, что человеческая радость иной раз зависит от совершенно необъяснимых на первый взгляд причин.

Поколебавшись, он добавил:

— Я расскажу вам любопытное происшествие, одним из действующих лиц в котором довелось быть мне самому и совсем недавно.

Стемнело. Они вошли в купе и заняли свои места на верхних полках. Наглухо закрытые шторы придавали купе, едва освещенному единственной лампочкой, особенно уютный вид. Моряк лежал на верхней полке против майора и слушал рассказ, до того не подходящий к окружающей обстановке, что временами сознание как бы раздваивалось, улетая в далекую солнечную и просторную страну...

— Я был призван на третьем месяце войны,— рассказывал майор Лебедев.— Прошел тяжелый путь отступления в непрерывных боях. Семь месяцев пули и осколки снарядов врага щадили меня. Не стоит рассказывать о всем пережитом... До войны я был геологом, поклонником непокорной нашей природы, мечтателем. Трудная для тихой души военная страда, разрушения и зверства, чинимые на моей родной земле полчищами захватчиков, едва не сломили меня. Но все же я справился и скоро стал закаленным, подобно

сотням моих боевых товарищей. И моя мечтательность, казалось, навсегда покинула меня. Я сделался жестким, мрачным. В душе осталась какая-то тяжелая пустота — пустота, которая заполнялась только в боевых схватках с врагом, только удачными налетами моих батарей.

В марте я был серьезно ранен и на несколько месяцев вышел из строя. После лечения в госпитале я получил отпуск и был направлен на отдых, на курорт в Среднюю Азию. Я протестовал, доказывал необходимость немедленной отправки меня на фронт, говорил о том, что совершенно одинок, — ничто не помогло.

Словом, в конце июля 1942 года я оказался в поезде, мчавшем меня по просторным казахстанским степям, навстречу жаркому солнцу.

Я часто стоял по ночам у открытого окна. Ветер, пахнувший полынью, сухой и свежий, приветливо обвевал меня. Легкая степная темнота подчеркивала древнее безлюдье равнины. Но я, я был весь там — далеко на западе.

Все же извечная безмятежность природы сделала свое дело, и я как-то внутренне немного смягчился, а главное — стал с большим вниманием смотреть на окружающий мир.

После Арыси дневная духота в раскаленном вагоне сделалась мучительной, и я с удовольствием вышел поздней ночью на небольшой станции. Автобус из санатория должен был прийти только утром. Мягкую прохладу южной ночи не хотелось менять на ночлег в станционном зале. Я уселся на чемодане у фонарного столба и, вдыхая ночную свежесть, оглядывался кругом. Поезд задерживался. Пассажиры прогуливались по хрустящему гравию в свете фонарей. Закурив папиросу, я разглядывал пассажиров.

Девушка, прошедшая несколько раз по перрону, привлекла мое внимание красивым сочетанием зеленого платья, красноватой бронзы загара и пепельных светлых волос.

В ней было что-то выделявшее ее из толпы. Пожалуй, это была радостная свежесть, переполнявшая все ее существо.

Она, несомненно, кого-то искала. Вот она остановилась, встряхнула короткими волосами и, подняв к фонарю круглое лицо, забавно надула губы. Почувствовав мой пристальный взгляд, девушка открыто взглянула на меня, отвернулась и пошла обратно.

Поезд ушел. Красный огонь хвостового вагона затерялся среди темных бугров; фонари, за исключением двух, погасли. Я еще некоторое время посидел на своем чемодане в сумраке затихшей станции. На душе, впервые после долгого времени, было как-то спокойно — то ли от прохладной темноты вокруг, то ли от ощущения простора ночной степи.

Мне стало холодно, и я неохотно направился к станции. Крошечный зал был едва освещен. За низкой деревянной перегородкой, в отделении для раненых, никого не было. В открытое окно свободно врывался ветер. Я прилёг на скамейку, но спать не хотелось. В полутемном зале прозвучали легкие шаги. Я обернулся и узнал встреченную на перроне девушку. Она посмотрела на занятые спящими узбеками скамьи и нерешительно подошла к перегородке моего отделения. Я поднялся ей навстречу и пригласил устроиться на свободной скамье. Девушка поблагодарила и уселась на скамью, откинув назад голову и плотно сжав колени. С ее появлением мне показалось, что эта затерявшаяся в степи станция стала менее пустой. Девушка как будто не собиралась спать. Я решился задать ей несколько обычных дорожных вопросов, на которые она ответила коротко и с неохотой. И все же постепенно мы разговорились. Татьяна Николаевна, или просто Таня, была аспиранткой в Институте восточных языков в Ташкенте и сопровождала в экспедиции знаменитого профессора-археолога. Профессор исследовал развалины древней астрономической обсерватории, построенной около тысячи лет тому назад в предгорьях хребта, в двухстах километрах от станции. В обязанности Тани входило восстанавливать и переводить арабские надписи, попадавшиеся на стенах и камнях развалин.

— Вам не кажется смешным после фронта, после этого,— она легонько притронулась к моей руке, ви-

севшей на перевязи, — что люди занимаются сейчас такими делами?

Она смущенно взглянула на меня.

— Нет, Таня, — возразил я. — Я — бывший геолог и верю в высокое значение науки. А еще: значит, мы с товарищами хорошо защищаем нашу страну, раз вы имеете возможность заниматься своим делом, далеко от войны...

— Вот как вы думаете! — улыбнулась Таня и замолчала, погрузившись в задумчивость.

— Вы говорили, что обсерватория далеко в степи. Как же вы сюда попали? — возобновил я прерванный было разговор.

Таня довольно подробно рассказала мне об экспедиции на древнюю обсерваторию. Состав экспедиции был немногочислен: профессор, Таня и ее пятнадцатилетний брат, работавший в качестве съемщика планов. Рабочих достать, конечно, было очень трудно. Несмотря на желание помочь экспедиции, ближайший колхоз дал только двух стариков. Но после двух недель работы старики вернулись в свой колхоз. Другие отказались идти, и, таким образом, работа по расчистке развалин прервалась. Профессор послал письмо в свой институт с просьбой выслать одного научного работника, оставшегося в Ташкенте для подготовки диссертации, чтобы произвести несколько несложных расчисток и завершить работу. Вот Таня и выехала встречать нового товарища. Прошли уже два поезда, но никто не приехал. Таня послала телеграмму в Ташкент с запросом и ждет утром ответа.

— Вот и все, — сказала девушка, сдерживая вздох огорчения. — Как все это неудачно! Если бы вы знали, какая интересная работа и какое чудесное место Нур-и-Дешт!.. Нур-и-Дешт — это название развалин обсерватории. Означает оно «Свет пустыни».

— А если место чудесное, как вы говорите, так чего же сбежали ваши старики?

— Там бывают подземные толчки, довольно сильные и частые. Кругом все дрожит, где-то глубоко в земле раздается сильный гул, мелкие камешки и земля сыплются со стен развалин. Наши рабочие считали

эти толчки предвестниками большого землетрясения, от которого все погибнут...

Я задумался над ее словами и, когда снова хотел обратиться к ней с каким-то вопросом, увидел, что Таня тихо спит, склонив голову на плечо.

Я осторожно подсунул свернутую шинель под бок Тане, а сам перешел на соседнюю скамью, улегся и заснул...

Когда я проснулся, девушки не было. В зале прибавилось людей, заполнивших маленькое помещение пестрыми халатами и звуками незнакомой речи.

Я умылся и пошел узнавать насчет автобуса. Ничего утешительного я не узнал: автобус запаздывал, и его можно было ждать только после обеда. Я отправился бродить по станции, надеясь встретить где-нибудь Таню. Обошел кругом здания, вышел в степь, но начавшее сильно припекать солнце прогнало меня в тень деревьев станционного садика. Еще издали увидел я зеленое платье Тани у входа на телеграф. Девушка в раздумье сидела на каменном крыльце под акацией.

— Доброе утро. Получили телеграмму? — осведомился я.

— Получила... Семенов ушел в армию, и, значит, никто к нам не приедет. Что же я скажу Матвею Андреевичу? Он так надеялся!

— А кто это Матвей Андреевич?

— Мой начальник, профессор. О нем я вчера вам рассказывала, — с чуть заметной досадой сказала девушка.

Тут меня осенила идея, от которой мне стало сразу весело.

— Слушайте, Таня, возьмите меня в помощники! — сказал я. — Едва ли я буду хуже ваших стариков.

Таня удивленно взглянула на меня.

— Вас?.. Но ведь вы должны лечиться. И потом... — Девушка замялась, остановившись взглядом на моей висевшей на перевязи руке.

Я поймал ее взгляд, вынул из перевязи руку и сделал несколько движений.

— Не беспокойтесь, Таня, рука у меня действует, а на перевязи висит, чтобы не затекала. Ее нельзя долго держать опущенной вниз,— пояснил я.— Я ведь еду не лечиться, а выздоравливать. Так не все ли равно где? Вы же сами хвастались, что место хорошее этот ваш Нур-и-Дешт.

Девушка колебалась. Серые глаза ее повеселели.

— Все будет хорошо,— шутливо продолжал я,— если только он, ваш профессор, не будет меня держать на пище святого Антония...

— Ну, что вы! Еды у нас много! Только как же все-таки с санаторием вашим? Потом дорога к нам трудная...

— Чем это трудная? Ведь вы же в третий раз собираетесь проделать ее.

— А вы не смотрите, что я невысокая: я сильная,— отвечала Таня.— Туда знаете, как ехать? Отсюда до совхоза ходят автомашины — это сто двадцать километров. От совхоза нам дают обычно лошадь до поселка Туз-Куль — маленький такой колхоз, дорога к нему прескверная: песок и камни. А от Туз-Куля приходится доставать верблюда и пробираться километров тридцать через безводные пески. Я терпеть не могу ездить на верблюде: сидишь, словно на огромной бочке, и качаешься взад и вперед, как маятник. А верблюд, вы знаете, идет ровно четыре километра в час, не меньше и не больше.

Долго убеждать Таню мне не пришлось, и еще за долго до захода солнца пустая трехтонка, мячиком подскакивая на выбоинах, понесла нас на юго-восток от голубоватой линии снежных гор, в противоположную от санатория сторону. Мы сидели на полу у кабины, весело переглядываясь; разговаривать было невозможно — откусишь язык. Рыжее облако густейшей пыли взвивалось за кузовом машины, расползалось и скрывало холмы, за которыми осталась станция. Часа через три пути темная полоска тополей, маячившая на горизонте, раздвинулась перед нами, открыв два ряда белых домиков, разделенных широкой, как площадь, прямой улицей. Пирамидальные тополя поднимали вверх правильные ряды зеленых башен, а справа и

слева к поселку сбегали пологие склоны, щетинившиеся светло-желтыми пучками чия¹.

Машина остановилась у журчащего арыка, недалеко от конторы совхоза. Мне и сейчас приятно вспомнить простое, душевное гостеприимство в этом далеком совхозе. Мы решили ехать как можно позже: прохладная ночь — самое хорошее время для пути. Увидев на дороге просторный тарантас, Таня тихонько засмеялась.

— Выгодный вы помощник, Иван Тимофеевич: почет какой — в тарантасе везут.

Агроном, тоже ехавший в колхоз, взял на себя обязанности ямщика; мы с Таней уселись в корзинку и двинулись навстречу слабому ветерку. Темная степь под низкими теплыми звездами окружила нас.

Вскоре я почувствовал, что плечо Тани стало часто прикасаться к моему. А затем кудрявая головка ее мирно устроилась на моем плече. Время шло. Бархатный ветерок выпустил холодные когти. Предрассветный холод не дал нам уснуть как следует.

Туз-Куль не показался мне приятным местом. Голый бугор с редкими, недавно посаженными тополями был усеян низенькими домишками, обмазанными красно-бурой глиной. В шесть часов вечера мы двинулись в пески в сопровождении проводника с верблюдом, нагруженным продовольствием.

Я решил последовать примеру Тани и пошел рядом с ней пешком.

Невысокие песчаные бугры заросли какой-то колючкой голубого цвета. Идти было совсем нелегко, и я дивился выносливости моей спутницы. Ноги погружались в сыпучую массу, душный жар шел от песков, — легко можно было представить, каково идти здесь в жаркие часы дня. После короткого привала при свете высокой вечерней зари мы вошли в заросли саксаула². Светящийся циферблат моих часов показал четверть первого, когда окончились пески и ноги с

¹ Ч и й — высокий, растущий пучками злак среднеазиатских степей.

² С а к с а у л — очень своеобразное безлистое дерево, растущее в пустынных песках.

облегчением ощутили твердую почву каменистой по-
лынной степи.

На высоте, вдалеке, виднелся красный огонек,
окруженный облаком золотистой световой пыли.

— Это костер на площадке у палаток,— пояснила
Таня.— Что-то наши долго не спят — должно быть,
меня ждут.

В темноте раздался звонкий мальчишеский голос:

— Матвей Андреевич, Таня приехала!

Мое знакомство с профессором состоялось при
свете костра. Это был маленький круглый человек с
квадратным лицом. Умные глаза его прикрывали
большие толстые стекла очков. Я несколько задер-
жался, подгоняя ближе к костру упиравшегося верб-
люда. Профессор, поздоровавшись с Таней, крикнул
в мою сторону:

— Показывайтесь, Семенов! Где вы там пряче-
тесь? Рассказывайте, что в Ташкенте.

Я вышел в освещенный костром круг. Профессор
откинулся назад, поправил очки и посмотрел на Таню:

— Кто это?.. А Семенов где?

— Семенов не приехал, Матвей Андреевич,— вино-
вато, тонким голоском ответила Таня.

— Ничего не понимаю! Что за шутки? — начал
сердиться профессор.

Я подошел к нему и, протягивая руку, назвал себя.
Затем объяснил причину моего появления здесь.

— Что вы! Ну как же так? Вы — майор, раненый,
орденоносец. Неудобно, мой друг, неудобно! — ворчал
профессор, сердито поглядывая на Таню.

Та помалкивала.

— И, наконец, ваша рука... Гм!.. гм!.. Разве вы
сможете работать?.. Вот уже не ожидал от вас, Таня,
такого легкомыслия!

Я рассмеялся, схватил здоровой рукой тяжелый
тюк, снятый с верблюда, и легко поднял его над голо-
вой. Таня захлопала в ладоши. Профессор как будто
смягчился.

— Ну, ну... Что мне с вами делать?

— Попробуйте на работе. Не подойду — выго-
ните,— смиренно произнес я.

Таня фыркнула. Очки профессора блеснули, уставившись на нее.

— Ох, уж эти девы! Вечно они... Все ничего, а появится душка военный — и готово. Ну ладно, пейте чай, устраивайтесь, потом увидим.

В конце концов все обошлось. Когда профессор узнал, что я геолог и, следовательно, знаком с археологией, то и совсем забыл о неожиданности моего появления.

Наутро обсерватория Нур-и-Дешт показалась мне действительно на редкость приятным местом. На каменистом высоком холме стояла полукруглая стена с выступающей на ее задней стороне приземистой башенкой. Концы стены перекрывались сверху двумя массивными сводами, подпертыми толстыми кубическими основаниями. Между кубами сохранился красивый, в арабском стиле, портик, на котором еще оставались следы буквенной золотой вязи по бирюзовому фону. Между башенкой и сводами в почве была выкопана глубокая воронка, облицованная туфом. Большую часть воронки заполняла вогнутая вниз правильная мраморная дуга астрономического квадранта¹, спадавшая и снова подымавшаяся двумя полосами с углублением посередине. На боковых стенках дуги были высечены какие-то знаки и деления. Параллельно дуге спускались вниз мелкие, аккуратно высеченные ступеньки.

Профессор не стал задерживаться в обсерватории.

— Здесь мы уже все изучили, — сказал он мне. — Теперь место нашей работы будет вон там, — и он махнул рукой к оконечности правого крыла стены, около которой торчали остатки осыпавшихся сводов и стояла тонкая заостренная башенка. — Здание для астрономических наблюдений, как видите, хорошо сохранилось. Ну, конечно, бронзовые части дуги квадранта и другие приборы давно расхищены, еще во времена монгольского нашествия. А тут, где мы будем продолжать изучение, должно быть, было хранилище инструментов, звездных карт и книг, а может быть,

¹ К в а д р а н т — четвертая часть окружности.

и жилище астрономов. Часть здания высечена в скале. Тут есть какие-то ходы, колодцы и подземелья, в назначении которых нам еще нужно разобраться. Верхняя надстройка рухнула, кучи щебня и песка загромазжают нижние ходы, и до сих пор у меня нет ясного представления об этом здании. Оно больше похоже на маленький форт, чем на обсерваторию... Ну что же, приступим...— И с этими словами профессор нырнул под засыпанный пылью и покрытый засохшей травой свод.

Мы все трое последовали за ним.

В полумраке квадратного помещения под сводом была приятная прохлада. Я вооружился инструментом вроде широкой тяпки — кетменем — и по указаниям профессора принялся отгребать завал из земли и каменных обломков, образовавшийся от проседания следующего свода. Я старался вовсю; пот катился с меня градом, и груды отброшенной мной земли все увеличивались по обе стороны камеры. Профессор, очень довольный, велел мне отдохнуть и взялся сам за кетмень. Потом копала Таня и снова я. Так мы рылись, в поту и пыли, еще долго, пока, наконец, не проникли в низкий просторный подвал, чуть освещенный сквозь щели в камнях под сводами, наверху. Внимание профессора и Тани сразу привлекли какие-то плитки из гладкого камня, кучкой сложенные в углу. Для меня в этом темном пустом подвале не было ничего интересного, и я принялся осматривать соединенные с ним другие помещения. Узкие, как щели, проходы без дверей соединяли еще три подвала с высокими, в противоположность первому, потолками. Все они были совершенно пусты, только в конце второго помещения выступала толстым цилиндром какая-то постройка из плотно сложенных серых камней. По наружной стороне цилиндра висела навверх обрушившаяся узкая лестница, верх которой исчезал в хаосе обломков, засыпавших квадратный люк. В нижней части цилиндра чернели крохотные оконца, проникнуть в которые не могла бы даже крыса. Я заглянул в одно из них и долго всматривался во тьму, пока мне не показалось, что я вижу какой-то слабый от-

свет. Я посмотрел снова и опять увидел едва заметный блеск. Я позвал профессора. Он с неохотой оторвался от разглядывания плиток и последовал за мной. Я обратил его внимание на цилиндрическую постройку, но профессор не выразил никакого интереса.

— Смотрите, Таня,— сказал он шедшей позади девушке,— это цоколь наружной башенки — той, что вроде минарета. Она одна только и уцелела: построена из крепчайшего диабаз.

На мое замечание о чем-то блестящем внутри профессор ответил:

— Ну что там может быть? Какая-нибудь изразцовая плитка завалилась. На башенку поднимались по наружной лестнице, а пустота внутри — только для экономии материала, хода внутрь нет.

Он двинулся было обратно, но вдруг остановился:

— Эге! Вот это на самом деле важно!

И профессор указал на завалившуюся стенку подвала за выступом щелеобразной двери. Из-под осыпи едва виднелась ступенька — очевидно, начало лестницы, шедшей куда-то вниз.

— Видите, Таня, я говорил вам, что должен быть еще третий этаж, самый нижний. Это первый ход вниз, который нам удалось обнаружить. Тут и будем копать... Сколько времени, Иван Тимофеевич? — спохватился профессор.

— Скоро пять.

— Ну-ну! То-то я так есть хочу! Пойдемте скорее.

Наверху нас встретили сухой жар и ослепительный свет. После сумрака под сводами зарябило в глазах. Я пропустил вперед Таню и профессора и остановился, чтобы получше осмотреть местность с высоты бугра обсерватории. На ровной площадке слева от бугра стояли две наши палатки. И бугор и площадка находились на плоской вершине широкого куполовидного холма. Этот холм возвышался посередине группы из восьми подобных же холмов, покрытых редкой и жесткой травой, совсем не похожей на веселую зеленую траву нашего севера. Сквозь ее щетинистый покров просвечивали угловатые выступы черных камней, присыпанных крупным песком. Камни, выступавшие из-

под тонкого почвенного покрова на том холме, где стояла обсерватория, были другого, более светлого цвета. Поэтому бугор обсерватории довольно резко выделялся по окраске среди остальных черных собратьев.

Девять холмиков теснились на краю бесконечной, постепенно понижающейся к югу равнины, а с запада, справа, почти у самого горизонта, виднелась иззубренная полоса далеких снеговых гор. В той же стороне равнину пересекала узенькая, отливающая сталью извилистая лента; сбегавшая с гор речушка огибала холм обсерватории и, отклоняясь на восток, терялась в песках. Вокруг обсерватории, внизу, расстилалась желтая степь, испятнанная кустиками серебристой полыни и голубых колючек. Дальше, к северу, степь очерчивалась по краю песков темной лентой саксаульника.

Покой, простор, чистый горный воздух, синева тяжелого зноя над головой...

Как удачно сложилась судьба, приведшая меня сюда! И что еще нужно сейчас моей душе? Радостное чувство примирения с собой, с природой охватило меня.

— Иван Тимофеевич,— донесся крик Вячика, Таниного брата,— обедать!

— Куда вы девались? — встретила меня Таня вопросом.— А я чудесно искупалась и вам предложить хотела. Сейчас будем обедать, а купанье отложимте до вечера.

После обеда и небольшого отдыха мы опять отправились откапывать обнаруженную профессором лестницу. Она уходила в широкую выемку, высеченную в песчанике и доверху заваленную всяким мусором. По тому, как медленно подвигалась работа, было ясно, что понадобится несколько дней наших соединенных усилий, чтобы откопать лестницу.

Закончив намеченную на сегодня работу, я напомнил Тане о ее обещании. Она повела меня по узенькой тропинке вдоль берега речки к подножию второго холма. Я молча шел следом, прислушиваясь к ровному шуму быстрой воды, дробившей солнечный свет

в быстрых струйках. У поворота речки Таня остановилась:

— Вы здесь посидите, подождите меня. Мы с Вячиком сделали плотину, так что воды по пояс будет.

Таня скрылась за выступом берега, а я улегся на жесткой траве, подставив лицо прохладному слабому дуновению ветра. Журчание речки наводило дремоту.

— Уснули? Идите скорее. Как чудесно!

Свежая, веселая, Таня стояла передо мной — безупречная красота юности, дружной с водой и солнцем. Я вскочил и спустился под высокий берег, где нашел маленькую запруду против крохотного песчаного пляжа. Два искривленных деревца, как часовые, охраняли эту первобытную ванну со стороны низкого правого берега. Я быстро приспособился купаться лежа, борясь с напором холодной воды, замечательно освежившей меня. У палатки нас уже ждали профессор и Вячик с чаем.

— Как понравилось купанье? — спросил профессор. — А ну-ка, испытаем геолога! Ничего в речке не заметили? Нет? Ну, дорогой мой майор, повоевали и все забыли! Древнее название этой речки, сохранившееся в летописях, — Экик, что значит «сердолик»¹. И в гальках русла иногда попадаются красные камешки. При случае посмотрите.

Раскопки нижнего этажа оказались сложнее, чем мы ожидали. Шедшая наклонно вниз выемка постоянно заваливалась осыпавшейся землей и щебнем. Я работал уже четыре дня с утра до позднего вечера. Мускулы наливались новой силой. Словно из неведомых мне самому уголков души поднимались новые, свежие, как весенняя зелень, чувства — такие же бесконечно спокойные и светлые, как окружающая природа. Уверенная радость жизни владела мной: я почти забыл про усталость и недовольство. Тело, как это и должно быть у всякого здорового человека, не существовало для меня, ничем не давая знать о себе, кроме наслаждения избытком жизненной энергии.

¹ Сердолик — стекловидный натечный кварц красного цвета.

Сейчас я разлагаю эти ощущения на отдельные элементы, тогда же это было иначе и выражалось, собственно, в чувстве обостренного восхищения местностью, где были расположены развалины Нур-и-Дешт.

Я ломал голову, стараясь понять секрет очарования пустынных каменистых холмов и печальных развалин в жарком кольце степи и песков. Я поделился своими впечатлениями с Таней и профессором. Они согласились со мной.

— Я, признаться, ничего не понимаю,— сказал Матвей Андреевич.— Знаю только, что никогда не чувствовал себя так хорошо, как здесь.

— Мало сказать — хорошо,— подхватила Таня.— Я, например, переполнена светлой радостью. Мне кажется, что эта древняя обсерватория — храм... ну, не могу этого ясно выразить... земли, неба, солнца и еще чего-то неведомого и прекрасного, неуловимо растворяющегося в свободном просторе. Я видела много гораздо более красивых мест, но ни одно из них не обладает таким могучим очарованием, как эти, казалось бы, равнодушные развалины...

Еще один трудовой день кончился затемно, но спать не хотелось.

Наступила ночь. Мы улеглись у костра. В зените черного купола над нами сияла голубая Вега; с запада, как совиный глаз, горел золотой Арктур. Звездная пыль Млечного Пути светилась раскаленным серебром.

Вот там, низко над горизонтом, светит красный Антарес, а левее едва обозначается тусклый Стрелец. Там лежит центр чудовищного звездного колеса Галактики — центральное «солнце» нашей вселенной. Мы никогда не увидим его — гигантская завеса черного вещества скрывает ось Галактики. В этих бесчисленных мирах, наверно, тоже существует жизнь, чужая, многообразная. И там обитают подобные нам существа, владеющие могуществом мысли, там, в недоступной дали... И я здесь, ничего не подозревая, смотрю на эти миры, тоскуя, взволнованный смутным предчувствием грядущей великой судьбы чело-

веческого рода. Великой, да, когда удастся справиться с темными звериными силами, еще властвующими на земле, тупо, по-скотски разрушающими, уничтожающими драгоценные завоевания человеческой мысли и мечты.

— Вы спите, Иван Тимофеевич? — раздался голос профессора.

— Нет, я смотрю на звезды... Они здесь какие-то особенно ясные и близкие.

— Да, обсерватория выстроена с толком; здесь необыкновенная прозрачность воздуха. Впрочем, почти во всех местах Средней Азии прозрачное и яркое небо. Недаром местные народы — хорошие наблюдатели звезд. Знаете, киргизы называют Полярную звезду Серебряным гвоздем неба. К этому гвоздю привязаны три коня. За конями вечно гонятся по кругу четыре волка и никак не могут догнать. А когда догонят, то будет конец света. Разве это не поэтическое изображение вращения Большой Медведицы?

— Очень хорошо, Матвей Андреевич! Помню, я читал где-то о небе Южного полушария. Высоко, где сияет Южный Крест, в Млечном Пути находится яркое звездное облако, а рядом с ним абсолютно черное пятно — огромное скопление темного вещества в форме груши. Первые мореплаватели называли его Угольным мешком. Так вот, древняя австралийская легенда называет это пятно зияющей ямой — провалом в небе, а другая легенда говорит, что это воплощение зла в виде австралийского страуса эму. Эму лежит у подножия дерева из звезд Южного Креста и подстерегает опоссума, спасающегося на ветвях этого дерева. Когда опоссум будет схвачен эму, тогда наступит конец света.

— Да, похоже, только животные совсем различны, — лениво сказал профессор.

— Объясните мне, пожалуйста, Матвей Андреевич, кто и когда создал Нур-и-Дешт, эту «с толком выстроенную» обсерваторию, и почему она в таком пустынном месте?

— Работали здесь уйгурские астрономы, ученики

арабских мудрецов. Ну, а место-то стало пустынным после монгольского нашествия. Тут кругом развалины — следы поселений. Семьсот лет тому назад здесь, без сомнения, было богатое населенное место. Чтобы построить такую обсерваторию, нужно много знать и много иметь.

Речь профессора прервалась. Что-то случилось. Я сначала не сообразил, что именно. Второй толчок дал почувствовать, как заколебалась земля под нами, — словно по поверхности прошла каменная волна. Почти одновременно мы услышали отдаленный гул, будто исходивший из глубины под нашими ногами. Посуда в ящике дребезжала, головешки в костре развалились. Толчки следовали один за другим.

Все кончилось так же неожиданно, как и началось. В наступившей тишине было слышно, как катятся по склонам потревоженные камни и что-то сыплется в развалинах обсерватории.

Наутро, как только мы явились к месту ежедневной работы, нас встретили неожиданные изменения, вызванные ночным землетрясением. Подрытый снизу в левой стороне земляной завал осел и рухнул, обнажив в правой стенке неглубокую нишу, обведенную заостренной стрельчатой аркой. В глубине ниши, из-под пыли и налипших комьев земли, виднелась каменная плита с вырезанным на ней совершенно неразборчивым для непривычного взора сплетением знаков арабского куфического письма¹. Обрадованные находкой и в то же время огорченные новым завалом лестницы, мы быстро расчистили надпись, столько веков скрывавшуюся под сухой и пыльной землей. На гладкой синеватой плите буквы были углублены и покрыты чем-то вроде глазури очень красивого оранжевого цвета с зеленым отливом. Таня и профессор принялись расшифровывать надпись, а мы с Вячиком опять взялись за расчистку лестницы.

¹ Куфическое письмо — вид арабского шрифта. Отличается расширенными квадратными очертаниями тесно соединенных друг с другом букв.

Матвей Андреевич расправил плечи и шумно вздохнул:

— Жаль, ничего важного! Правда, подтверждение сохранившихся в истории сведений. Надпись гласит, что по указу такого-то, в таком-то году, в месяце Ковус... это Стрелец по-арабски, Таня?

— Да.

— Значит, в ноябре окончена постройка в местности Нур-и-Дешт, у реки Экик на холме... как это, Таня?

— Не совсем понимаю название — что-то вроде Светящейся чаши.

— Какая поэзия! На холме Светящейся чаши, на месте прежних разработок царской краски... Ага, это по вашей части, майор. Где же следы разработок и что могло здесь добываться?

— Не знаю, не заметил никаких выработок.

— Да вы были когда-нибудь геологом? — шутливо возмутился профессор.

— Погодите, Матвей Андреевич. Вот прокопаю вам лестницу, тогда отпустите несколько часов побродить. Может быть, и геолог пригодится. А то ведь мой ежедневный маршрут только один: речка — подвал — речка — палатка.

— Ага! — рассмеялся профессор. — Побывали в шкуре археолога — нос всегда в землю... А ведь вы правы: стоит объявить выходной день. Завтра не будем рыться — походите, поисследуйте. Таня, конечно, стиркой займется... Нет? А что же? Тоже побродить, геологии поучиться? Гм!..

— А что там дальше в надписи, Матвей Андреевич? — перебил я профессора.

— А дальше следует: в память великого дела сделана эта надпись и замурована древняя ваза с описанием постройки.

— Но, профессор, ведь находка вазы имела бы большое значение для изучения обсерватории?

— Конечно. Но где она замурована, не сказано. Ясно, что в фундаменте. Как ее найдешь? Лестницу прокопать — и то не можем.

Утром я попросил у Вячика дробовую бердану в надежде подстрелить какую-нибудь дичину. Сопровождаемые насмешливыми напутствиями профессора, мы с Таней отправились в обход холмов Нур-и-Дешт. Оказалось, что никто из членов маленькой экспедиции не отходил далеко от развалин — работа отнимала все время. День был на редкость зноен и тих, ни малейшее дуновение не сгоняло сухого жара, шедшего от каменистой почвы. Мы долго ходили по холмам, карабкаясь по склонам, пока не изнемогли от жажды. Тогда мы спустились к речке, напились вволю и принялись бродить босиком по руслу. Крупные камешки разъезжались под ногами. В прозрачной воде среди черных и серых галек изредка резко выделялись разноцветные, сглаженные водой кусочки опала¹ и халцедона². Охота за красивыми камнями увлекла нас обоих, и только когда ноги совсем оковенели, мы вышли на берег и стали греться на теплых камнях, занимаясь разборкой добычи.

— Красные кладите сюда, Таня. Это сердолик — очень ценившийся в древности камень, якобы обладавший целебной силой.

— Красных больше всего. А вот смотрите, какая прелесть! — воскликнула девушка. — Это вы нашли? Прозрачный и переливается, как жемчуг.

— Гиалит, самый ценный сорт опала. Можете сделать из него брошку.

— Я не люблю брешек, колец, серег — ничего, кроме браслетов. Но если вы мне подарите его просто так... спасибо... А зачем вы взяли эти три камня — мутные, нехорошие?

— Что вы, Таня! Разве можно так порочить самую лучшую мою находку? Смотрите. — И я погру-

¹ Опал — затвердевший студень кремневой кислоты — кварц с содержанием воды.

² Халцедон — скрытокристаллическая разновидность кварца; похож на опал.

зил невзрачную белую гальку в воду. Камень сделался прозрачным и заиграл голубоватыми переливами.

— Как красиво! — изумилась девушка.

— Ага, некрасивый камень оказался волшебным. Он и считался в древности волшебным. Это гидрофан, иначе называемый «око мира». Он сильно пористый и поэтому в сухом состоянии непрозрачен. Как только поры заполняются водой, он делается прозрачным и очень красивым. Это все разновидности кварца; их еще много сортов различных оттенков, ценности и красоты.

— Что же вам дала наша сегодняшняя экскурсия? — спросила Таня.

— Теперь я имею представление о строении всей этой местности. Правда, оно не оказалось интересным — древние граниты и толща черных кварцитов¹, пронизанных жилами кварца. Холм, на котором стоит обсерватория, несколько отличается от других: он сложен какими-то очень плотными стекловидными кварцитами. Красивые камни в русле речки остались от размыва кварцитов — в жилах, в пустотах и натеках по трещинам, должно быть, довольно много халцедона и опала.

— А где же разработки, о которых говорится в надписи?

— Так и не знаю. Сами же видели — нигде ни малейших следов. Может быть, они скрыты под развалинами обсерватории.

— Плохо! Опять Матвей Андреевич будет смеяться, — заключила Таня. — Пора обратно. Смотрите, солнце садится. И так придем в темноте.

На красном огне заката круглые плечи холмов выступали резкими силуэтами. Полное отсутствие ветра подчеркивало глухое молчание окрестных песков. Когда мы добрались до холма обсерватории, с западной стороны уже погасли последние отблески зари.

¹ Кварциты — плотные породы, состоящие главным образом из зерен кварца.

Развалины, едва различимые при свете звезд, встретили нас молчанием. Только сплюшка¹ где-то вдали издавала свой мелодичный крик. Ночью здесь было неприветливо: неясное ощущение опасности овладело нами, и мы пошли, крадучись и шепчась, словно боясь разбудить что-то дремавшее среди угрюмых стен.

Внезапно я почувствовал, что дневная усталость куда-то отходит, уступая место бодрости. Сухой, неподвижный воздух, несмотря на тепло, исходившее от нагретых стен, казался необычайно свежим. Приятное, едва ощутимое покалывание, изредка пробегало по коже.

— Я совсем не устала,— шепнула мне Таня, придвигаясь так близко, что почти касалась меня плечом.— Здесь что-то в воздухе.

— Да, я бы сказал, воздух — точно вблизи динамомашины. Потрогайте-ка ваши волосы, Таня: они что-то очень распушились.

Таня провела рукой по волосам, стараясь пригладить их, и множество мельчайших голубых искорок замелькало под пальцами.

— Будто перед грозой,— сказала Таня,— только небо ясное и духоты совершенно не чувствуется, наоборот...

— Странно. Вообще в этом месте много необъяснимого...— начал я и вдруг увидел слабое зеленоватое свечение, мелькнувшее где-то в проломе стены.

Мы уже подходили к главному зданию с дугой квадранта. Я присмотрелся и заметил, что чуть видимым отблеском светится несколько букв надписи на внутренней стенке портика.

— Смотрите, Таня!— Я подвел свою спутницу к обрушенной части стены.

В непроглядной тьме сводов явственно выступали извивы букв, очерченные зеленовато-желтым сиянием.

¹ С п л ю ш к а — небольшой сыч; водится в южных районах Советского Союза.

— Что это такое? — взволнованно прошептала девушка. — Тут кругом много надписей, но ведь они не светятся.

— Все те надписи сделаны золотом. Так, кажется?

— Правильно, — подтвердила Таня.

— А это... Одну минуту...

Я осторожно проскользнул в портик и зажег спичку. Загадочное свечение мгновенно исчезло. Обветшавшая стена слепо встала передо мной. Но я все же успел заметить уцелевший кусок изразцовой плитки, покрытый гладкой глазурью, с выведенными на ней оранжево-зелеными буквами.

— Это сделано не золотом, а такой же эмалью, как у лестницы в подвале.

— Пойдемте скорее, посмотрим! — живо предложила девушка.

— Пойдемте, — согласился я и спросил: — Вы бывали когда-нибудь ночью на обсерватории, вы или профессор?

— Нет, ни разу.

— Тогда вот что: пойдем сначала в лагерь — только не говорите пока ничего профессору, — мы поужинаем и, когда все заснут, продолжим исследование, если хотите. А если устали, я один займусь.

— Что вы! При чем тут усталость? Все так таинственно, интересно!

— Отлично. Только уговор, Таня: профессору — ни слова. Я сам еще ничего не понимаю, но, если мы с вами задумаемся до какого-то объяснения, вот будет Матвею Андреевичу сюрприз наутро!

Теплая крепкая рука девушки сжала мою. Мы быстро спустились с холма к площадке, на которой, по обыкновению, горел небольшой костер. Поворчав на нас по поводу опоздания к ужину, профессор принялся расспрашивать меня о результатах похода. Как Таня и ожидала, добродушные насмешки профессора посыпались на мою бедную голову, едва Матвей Андреевич узнал, что я так и не нашел следов разработок красок.

— Ладно, лучше не буду спрашивать, что вы нашли в темноте вместе с Таней... Ну-ну, не сердитесь!

Показывайте ваши камешки... Как много сердолика! Пожалуй, если несколько дней поработать, набрали бы целый мешок. Теперь сердолик мало ценится: еще один из многих примеров забытой с веками мудрости человеческого опыта. Раньше во всей Ближней Азии этот камень ценился наравне с лучшими драгоценностями. Из него делали браслеты, ожерелья, пряжки. И верили, что сердолик предохраняет человека от многих заболеваний. А самое любопытное — оказывается, эта вера больше, нежели простое суеверие. Я недавно узнал...— Профессор замолчал, задумчиво разглядывая красный камень при свете костра.

— Что вы узнали, Матвей Андреевич, расскажите,— попросила Таня.

— Да очень просто: медики начинают пробовать лечение сердоликом. Оказывается, он почти всегда обладает радиоактивностью¹, слабой, можно сказать — ничтожной, равной сумме радиоактивности человеческого организма. Но именно потому, что радия в сердолике только ничтожные следы, он действует благотворно на нервную систему, восстанавливая в ней какой-то баланс, что ли,— не знаю толком.

«Радий?» — пронзила меня неясная догадка, и в голове вихрем завертелись мысли об электрических разрядах, светящихся надписях, оранжево-зеленых красках. Я нетерпеливо вскочил, но сейчас же взял себя в руки и поспешно вытащил папиросы.

— Что это вы, словно вас кольнуло, Иван Тимофеевич? — удивленно спросил профессор. — Пожалуй, и спать время. Завтра пораньше примемся — наверно, разгребем вход. Вы как хотите, а мы с Вячиком на боковую.

Я и Таня остались вдвоем. Я нервно курил, ожидая, пока профессор заснет и можно будет взять свечи для ночного исследования тайны обсерватории Нур-и-Дешт.

¹ Радиоактивность — способность атомов какого-либо элемента распадаться на отдельные составляющие атом частицы. Наиболее резко выражена у радия.

Наконец Таня достала две свечи, а я вытащил из кучи инструментов тяжелый лом.

— Это зачем? — удивилась девушка.

— Пригодится. Вдруг придется отвалить камень, вывернуть какую-нибудь плиту.

Внизу, в каменных подвалах, царил полнейший мрак.

Хорошо знакомой дорогой мы пробирались ощупью, не зажигая света. Повернули направо, в щелевидный вход, добрались до лестничной ниши. Таня вскрикнула: большая доска очень слабо, но явственно светилась сплетением куфических букв.

Такая же золотистая светящаяся полоска шла по выступу лестничной арки.

— Так, понимаю, — подумал я вслух, — здесь днем мало света...

— Ну и что же? — нетерпеливо спросила Таня.

— Не спрашивайте меня сейчас, пока не решу всю задачу. Пойдемте наверх, к квадранту. Наверно, мы встретим еще остатки светящихся надписей. Стоп! Дайте свечу. Заглянем сюда.

Я вспомнил загадочный отблеск внутри цоколя астрономической башни, виденный в первый день, и решил попробовать проникнуть в цоколь. Я принялся осторожно выворачивать ломом крепко спаявшийся с остальными брусок камня над узкой вентиляционной щелью. Уступая моим настойчивым усилиям, камень зашатался. Я надавил сильнее и, дернув камень к себе, извлек из кладки. Второй отделился легче.

Образовалось отверстие, достаточное для того, чтобы просунуть голову и руку со свечой.

Огонь свечи озарил тесную внутренность башни, круглую, уходящую высоко в темноту. Налево, против пробитой мною дыры, находился широкий обтесанный камень, а на нем, покрытый густой пылью, стоял большой широкогорлый сосуд, мутно поблескивая запыленной глазурью.

— Ваза, Таня, ваза, — воскликнул я и уступил девушке место у пролома.

— Не пролезть. Как достанем? — спросила она, подавляя радостный вздох.

— Сейчас.

Воодушевленный находкой, я быстро справился еще с двумя камнями. Едва я проник внутрь башни, как поспешно отпрянул назад: правее и позади камня, на котором стояла ваза, зияла темнота колодца. В колодец шли узкие ступеньки, спиралью завивавшиеся до какого-то выступа внутренней части башенки. Я передал вазу девушке через пролом и сказал:

— Подождите меня, Таня. Я спущусь вниз.

— Нет, нет, я пойду за вами: кто знает, что там... — Она замолчала, смутившись.

Наши глаза встретились, и я... Ну, словом, я спустился, упираясь руками в стенки колодца, и помог следовавшей за мной Тане.

Колодец был неглубок. Впрочем, это оказался вовсе не колодец, а неровный, немного наклонный ход, высеченный в скале. Холод охватил нас сквозь легкую одежду. Но это не был холодный, застоявшийся воздух подземелья — чистый и свежий, он походил на богатый озоном воздух горных вершин. На глубине нескольких метров ход расширялся в неправильную большую пещеру с изрытыми стенами, изборозженными узкими, просеченными в разных направлениях бороздками. Я уже знал, что искать: кое-где в трещинах кремнистых сланцев и кварцитов, на дне бороздок, оставались небольшие охристые примазки лимонно-желтого и оранжевого цветов.

— Вот и рудник красок, Таня! Только краски-то не простые.

Мы поднялись наверх. Не слушая протестов Тани, я совершил кощунство — понес вазу, не дожидаясь дня. Крепко прижав к груди тяжелую вазу, я осторожно ступал, боясь споткнуться. Около портика мы оставили дорожную находку и медленно обошли все здание. Я оказался прав: еще в нескольких местах мы обнаружили свечение каких-то знаков. Светящиеся черточки были и на дуге квадранта.

Спустившись к речке, мы осторожно сняли крышку сосуда. Внутри него не было ничего, кроме пыли. Тогда мы обмыли вазу снаружи и бесшумно принесли в палатку, поставили у изголовья профессора, заранее наслаждаясь, как он будет удивлен и потрясен утром.

— Ну, а теперь рассказывайте! — шепнула мне на ухо Таня. — Я все равно спать не буду, пока не узнаю.

Отойдя от палатки, мы уселись на берегу речки с мелодичным журчанием бежавшей в темную степь.

— Все, оказывается, очень просто, Таня: здесь имеется месторождение урановых руд и, следовательно, присутствует радий. Эти желтые пятна — урановые охры. Они применяются в керамике для получения очень прочной глазури с яркими и чистыми цветами: оранжевым, желто-зеленым, оливковым. Урановые руды встречаются в натеках, по трещинам кварцитов и были еще в древности выработаны, но радий — радий! — помимо урана, вероятно, рассеян в ничтожном количестве в кремнистой массе светлых кварцитов. И я думаю, что весь холм обсерватории, состоящий из этих кварцитов, излучает emanацию радия¹. Кварциты, должно быть, слабо радиоактивны. Соли радия, смешанные с другими минералами, дают необычайно прочные светящиеся краски. Сейчас, особенно в войну, эти светящиеся составы имеют широкое применение. Оказывается, древние астрономы тоже знали этот секрет, и, может быть, самое название «Нур-и-Дешт» — «Свет пустыни» — тоже связано со странными явлениями на обсерватории. Радий все еще мало изучен. Мы знаем, что он ионизирует воздух, накапливает электричество и озон, убивает микробов, обезвреживает яды. Теперь я понимаю, в чем секрет необычайно радостного воздействия этого места: огромная масса радиоактивных

¹ Эманация радия — радий, распадаясь, переходит в различные разновидности, отличающиеся друг от друга по физико-химическим свойствам; эманация радия, одна из таких разновидностей, газообразна.

кварцитов, не прикрытых сверху другими породами, создает большое поле слабого радиоактивного излучения, очевидно, в дозировке, наиболее благоприятной для человеческого организма. Вспомните, что профессор говорил про сердолик. А сегодня из-за отсутствия ветра получилось большее, чем обычно, накопление эманации радия. Мы с вами сразу и заметили это ночью. Какое неожиданное и интересное открытие, правда? — И я положил свою руку на руку девушки.

— Да, интересно... — отчужденно произнесла Таня и быстро поднялась. — Ну, надо идти спать, уже поздно...

Немного озадаченный внезапной холодностью Тани, я остался на берегу. Все мои мысли вертелись вокруг неожиданного открытия. Я продолжал находить новые и новые факты в доказательство своей догадки и долго еще сидел в темноте. Наконец я запутался в дебрях химии и побрел к своей постели.

Разбудили меня шумные возгласы профессора, звавшего всех нас. Ваза была извлечена на свет. Узор блестящей эмали бархатистого зелено-черного цвета шел между яркими оранжевыми, коричневыми и оливковыми полосами. Такие прекрасные тона глазури могли дать только соединения урана. Новое подтверждение ночного открытия в свете дня!

Я рассказал профессору все свои соображения. Надо было видеть радостное возбуждение ученого! Я прибавил, что радиевые излучения, может быть, способствуют еще большей прозрачности воздуха непосредственно над обсерваторией.

— Ну, это вы, пожалуй, хватили, — возразил профессор. — А что до нашего состояния, то я совершенно с вами согласен. Это место — не только место света, но и место радости. А вот почему Таня у нас сегодня грустная? Что случилось?

— Нет, Матвей Андреевич, со мной ничего...

После вторичного осмотра выработки мы вернулись к работе на лестнице. К концу дня удалось расчистить небольшое отверстие, в которое все мы по-

очередно пролезли. Там был подвал из нескольких камер. Я не знаю, что он дал археологу, но, на мой взгляд, подвал был так же пуст, как и все виденные мною ранее.

Закатный ветер мчался по степи: розовая пыль клубилась над стальным ковром полыни. Профессор с Вячиком шли впереди, а Таня в раздумье замедлила шаги, отстав от них. Я догнал девушку и осторожно взял ее за руку.

— Что с вами, Таня? Вы всегда такая веселая, оживленная, и вдруг... Мне кажется, вы изменились после вчерашнего нашего открытия.

Девушка пристально посмотрела мне в лицо.

— Не знаю, поймете вы или нет, но я скажу... Нур-и-Дешт действительно место радости. И я думала, что эта радость во мне, от меня, что я сильная, свободная, веселая. Тут появляетесь вы...— девушка запнулась,— суровый, ушедший в себя, опаленный огнем войны. И вы тоже делаетесь ясным, радостным... И вдруг оказывается, что всему причиной этот радий— и только... Значит, если бы не было радия,—голос девушки упал почти до шепота,—не было бы и очарования этих дней на древней обсерватории.

Таня отвернулась, вырвала руку и побежала вниз по склону холма. Я медленно пошел следом за ней. Остановился, оглянулся на развалины Нур-и-Дешт.

«Свет пустыни» — да, несомненно, свет и для пустыни моей души. Не пройдет, навсегда останется радость дней на обсерватории Нур-и-Дешт!

...И опять, как много раз до этого, угасал костер у палаток и около него сидели мы с Таней. А рядом излучала золотистое сияние древняя ваза, светящаяся чаша давно минувших, но не умерших человеческих надежд.

— Таня, дорогая,— говорил я,—здесь ожила моя душа, и она открылась... навстречу вам. Кто знает, может быть, в дальнейших успехах науки влияние радиоактивных веществ на нас будет понято еще более глубоко. И кто поручится, что на нас не влияют

еще многие другие излучения — ну, хотя бы космические лучи. Вот там,— я встал и поднял руку к звездному небу,— может быть, есть потоки самой различной энергии, изливающейся из черных глубин пространства... частицы далеких звездных миров.

Таня поднялась и порывисто подошла ко мне. В ясных глазах девушки отразился пепельный звездный свет.

В высоте над нами, прорезая световые облака Млечного Пути, сиял распростертый Лебедь, вытянув длинную шею в вечном полете к грядущему.



ОЗЕРО ГОРНЫХ ДУХОВ

Несколько лет назад я прошел с маршрутным исследованием часть Центрального Алтая, хребет Листвягу, в области левобережья верховьев Катунь. Золото было тогда моей целью. Хотя я и не нашел стоящих россыпей, однако был в полном восторге от чудесной природы Алтая.

В местах моих работ не было ничего особо примечательного. Листвяга — хребет сравнительно низкий, вечных снегов — «белков» — на нем не имеется, значит нет и сверкающего разнообразия ледников, горных озер, грозных пиков и всей той высокогорной красоты, которая поражает и пленяет вас в более вы-

соких хребтах. Однако суровая привлекательность массивных гольцов, поднимающих свои скалистые спины над мохнатой тайгой, горы, толпящиеся под гольцами, как морские волны, вознаграждали меня за довольно скучное существование в широких болотистых долинах рек, где и проходила главным образом моя работа.

Я люблю северную природу с ее молчаливой хмуростью, однообразием небогатых красок, люблю, должно быть, за первобытное одиночество и дикость, свойственные ей, и не променяю на картинную яркость юга, назойливо лезущую вам в душу. В минуты тоски по воле, по природе, которые бывают у всякого экспедиционного работника, когда приедается жизнь в большом городе, перед моими глазами встают серые скалы, свинцовое море, лишённые вершин могучие лиственницы и хмурые глубины сырых еловых лесов...

Короче говоря, я был доволен окружающей меня однообразной картиной и с удовольствием выполнял свою задачу. Однако у меня было еще одно поручение — осмотреть месторождения превосходного асбеста в среднем течении Катунь, близ большого села Чемал. Кратчайший путь туда лежал мимо самого высокого на Алтае Катунского хребта, по долинам Верхней Катунь. Дойдя до села Уймон, я должен был перевалить Теректинские белки — тоже высокий хребет — и через Онгудай снова выйти в долину Катунь. Несмотря на необходимость спешить, вынуждавшую к длинным ежедневным переходам, только на этом пути я испытал настоящее очарование природы Алтая.

Очень хорошо помню момент, когда я со своим небольшим караваном после долгого пути по «урману» — густому лесу из пихты, кедра и лиственницы — спустился в долину Катунь. В этом месте гладь займища сильно задержала нас: кони проваливались по брюхо в чмокающую бурю грязь, скрытую под растительным слоем. Каждый десяток метров давался с большим трудом. Но я не остановил караван на ночевку, решив сегодня же перебраться на правый берег Катунь.

Луна рано поднялась над горами, и можно было без труда двигаться дальше. Ровный шум быстрой реки приветствовал наш выход на берег Катуня. В свете луны Катунь казалась очень широкой. Однако, когда проводник въехал на своем чалом коне в шумящую тусклую воду и за ним устремились остальные, вода оказалась не выше колен, и мы легко перебрались на другой берег. Миновав пойму, засыпанную крупным галечником, мы попали опять в болото, называемое сибиряками карагайником. На мягком ковре мха были разбросаны тощие ели, и повсюду торчали высокие кочки, на которых вздымалась и шелестела жесткая осока. В таком месте лошади вынуждены были бы всю ночь «читать газету», то есть оставаться без корма, а потому я решил двигаться дальше.

Начавшийся подъем давал надежду выбраться на сухое место. Тропа тонула в мрачной черноте елового леса, ноги лошадей — в мягком моховом ковре. Так мы шли часа полтора, пока лес не поредел; появились пихты и кедры, мох почти исчез, но подъем не кончался, а, наоборот, стал еще круче. Как мы ни бодрились, но после всех дневных передрыг еще два часа подъема показались очень тяжелыми. Поэтому все обрадовались, когда подковы лошадей зазвякали, высекая искры из камней, и показалась почти плоская вершина отрога. Мигом развьючили лошадей, поставили палатки под громадными кедрами, и после обычной процедуры поглощения ведра чаю и раскуривания трубок мы погрузились в глубокий сон.

Я проснулся от яркого света и быстро выбрался из палатки. Свежий ветер колыхал темно-зеленые ветви кедров, высившихся прямо перед входом в палатку. Между двумя деревьями, левее, был широкий просвет. В нем, как в черной раме, висели в розоватом чистом свете легкие контуры четырех острых белых вершин. Воздух был удивительно прозрачен. По крутым склонам «белков» струились все мыслимые сочетания светлых оттенков красного цвета. Немного ниже, на выпуклой поверхности голубого ледника, лежали огромные косые синие полосы теней. Этот голубой фундамент еще более усиливал воз-

душную легкость горных громад, казалось, излучавших свой собственный свет, в то время как видневшееся между ними небо представляло собой море чистого золота.

Прошло несколько минут. Солнце поднялось выше, золото приобрело пурпурный оттенок, с вершин сбегала их розовая окраска и сменилась чисто голубой, ледник засверкал серебром. Звенели ботала, перекликавшиеся под деревьями рабочие сгоняли коней для вьючки, заворачивали и обвязывали вьюки, а я все любовался победой светового волшебства. После замкнутого кругозора таежных троп, после суровости гольцовых тундр это был новый мир прозрачного сияния и легкой, изменчивой световой игры.

Как видите, моя любовь к высокогорьям алтайских белков вспыхнула неожиданно и сильно. Любовь эта не несла в дальнейшем разочарования, а дарила меня все новыми впечатлениями. Не берусь описывать ощущение, возникающее при виде необычайной прозрачности голубой или изумрудной воды горных озер, сияющего блеска синего льда. Мне хотелось бы только сказать, что вид снеговых гор вызывал во мне обостренное понимание красоты природы. Эти почти музыкальные переходы света, теней и цветов сообщали миру блаженство гармонии. И я, весьма земной человек, по-иному настроился в горном мире, и, без сомнения, моим открытием, о котором я сейчас расскажу, я обязан в какой-то мере именно этой высокой настроенности.

Миновав высокогорную часть маршрута, я спустился опять в долину Катунь, потом в Уймонскую степь — плоскую котловину с превосходным кормом для лошадей. В дальнейшем Теректинские белки не дали мне интересных геологических наблюдений. Добравшись до Онгудая, я отправил в Бийск своего помощника с коллекциями и снаряжением. Посещение Чемальских асбестовых месторождений я мог выполнить налегке. Вдвоем с проводником на свежих конях мы скоро добрались до Катунь и остановились на отдых в селении Каянча.

Чай с душистым медом был особенно вкусен, и мы долго просидели у чисто выструганного белого стола в садике. Мой проводник, угрюмоватый и молчаливый ойрот, посасывал окованную медью трубку. Я расспрашивал хозяина о достопримечательностях дальнейшего пути до Чемала. Хозяин, молодой учитель, с открытым загорелым лицом, охотно удовлетворял мое любопытство.

— Вот что еще, товарищ инженер,— сказал он.— Недалеко от Чемала попадетесь вам деревенька. Там живет художник наш знаменитый, Чоросов,—слыхали, наверно. Однако старикан сердитый, но ежели ему по сердцу придется, все покажет, а картин у него красивых — гибель!

Я вспомнил виденные мною в Томске и Бийске картины Чоросова, особенно «Корону Катунь» и «Хан-Алтай». Посмотреть многочисленные работы Чоросова в его мастерской, приобрести какой-нибудь эскиз было бы недурным завершением моего знакомства с Алтаем.

В середине следующего дня я увидел направо указанную мне широкую падь. Несколько новых домов, блестя светло-желтой древесиной, расположилось на взгорье, у подножия лиственниц. Все в точности соответствовало описанию каянчинского учителя, и я уверенно направил коня к дому Чоросова.

Я ожидал увидеть брюзгливого старика и был удивлен, когда на крыльце появился подвижной, суховатый бритый человек с быстрыми и точными движениями. Только всмотревшись в его желтоватое монгольское лицо, я заметил сильную проседь в торчащих ежиком волосах и жестких усах. Резкие морщины залегли на запавших щеках, под выступающими скулами и на выпуклом высоком лбу. Я был принят любезно, но не скажу, чтобы радушно, и, несколько смущенный, последовал за ним.

Вероятно, под влиянием искренности моего восхищения красотой Алтая Чоросов стал приветливее. Его немногословные рассказы о некоторых особенно замечательных местах Алтая ясно запомнились мне — так остра была его наблюдательность.

Мастерская — просторная неоклеенная комната с большими окнами — занимала половину дома. Среди множества эскизов и небольших картин выделялась одна, к которой меня как-то сразу потянуло. По объяснению Чоросова, это был его личный вариант «Дены-Дерь» («Озера Горных Духов»), большое полотно которой находится в одном из сибирских музеев.

Я опишу этот небольшой холст подробнее, так как он имеет важное значение для понимания дальнейшего.

Картина светилась в лучах вечернего солнца своими чистыми красками. Синевато-серая гладь озера, занимающего среднюю часть картины, дышит холодом и молчаливым покоем. На переднем плане, у камней на плоском берегу, где зеленый покров травы перемешивается с пятнами чистого снега, лежит ствол кедра. Большая голубая льдина приткнулась к берегу, у самых корней поваленного дерева. Мелкие льдины и большие серые камни отбрасывают на поверхность озера то зеленоватые, то серо-голубые тени. Два низких, истерзанных ветром кедра поднимают густые ветви, словно взнесенные к небу руки. На заднем плане прямо в озеро обрываются белоснежные кручи зазубренных гор со скалистыми ребрами фиолетового и палевого цветов. В центре картины ледниковый отрог опускает в озеро вал голубого фирна, а над ним на страшной высоте поднимается алмазная трехгранная пирамида, от которой налево вьется шарф розовых облаков. Левый край долины — трога¹ — составляет гора в форме правильного конуса, также почти целиком одетая в снежную мантию. Только редкие палевые полосы обозначают скалистые кручи. Гора стоит на широком фундаменте, каменные ступени которого гигантской лестницей спускаются к дальнему концу озера...

От всей картины веяло той отрешенностью и холодной, сверкающей чистотой, которая покорила меня в пути по Катунскому хребту. Я долго стоял, всма-

¹ Трог — долина, выглаженная ледником, с очень крутыми склонами.

триваясь в подлинное лицо алтайских белков, удивляясь тонкой наблюдательности народа, давшего озеру имя Дены-Дерь — Озера Горных Духов.

— Где вы нашли такое озеро? — спросил я. — Да и существует ли оно на самом деле?

— Озеро существует, и должен сказать, оно еще лучше в действительности. Моя же заслуга — в правильном выражении сущности впечатления, — ответил Чоросов. — Сущность эта мне недешево далась... Ну, а найти это озеро нелегко, хотя и можно, конечно. А вам зачем?

— Просто побывать в чудесном месте. Ведь такую штуку увидишь — и смерти бояться перестанешь.

Художник пытливо посмотрел на меня:

— А это верно у вас прозвучало: «смерти бояться перестанешь». Вы вот не знаете, наверно, какие легенды связаны у ойротов с этим озером.

— Должно быть, интересные, раз они так поэтично называли озеро.

Чоросов перевел взгляд на картину:

— Вы ничего такого не заметили?

— Заметил. Вот тут, в левом углу, где гора конусом, — сказал я. — Только извините, но тут мне краски совсем невозможными показались.

— А посмотрите-ка еще, повнимательней...

Я стал снова всматриваться, и такова была тонкость работы художника, что чем больше я смотрел, тем больше деталей как бы всплывало из глубины картины. У подножия конусовидной горы поднималось зеленовато-белое облако, излучавшее слабый свет. Перекрещивающиеся отражения этого света и света от сверкающих снегов на воде давали длинные полосы теней почему-то красных оттенков. Такие же, только более густые, до кровавого тона, пятна виднелись в изломах обрывов скал. А в тех местах, где из-за белой стены хребта проникали прямые солнечные лучи, над льдами и камнями вставали длинные, похожие на огромные человеческие фигуры столбы синевато-зеленого дыма или пара, придававшие зловещий и фантастический вид этому ландшафту.

— Не понимаю,— показал я на синевато-зеленые столбы.

— И не старайтесь,— усмехнулся Чоросов.— Вы природу хорошо знаете и любите, но не верите ей.

— А сами-то вы как объясните эти красные огни в скалах, сине-зеленые столбы, светящиеся облака?

— Объяснение простое — горные духи,— спокойно ответил художник.

Я повернулся к нему, но и тени усмешки не заметил на его замкнутом лице.

— Я не шучу,— продолжал он тем же тоном.— Вы думаете, название озеру только за неземную красоту дано? Красота-то красотой, а слава дурная. Вот и я картину сделал, а ноги еле унес. В девятьсот девятом я там был и до тринадцатого все болел...

Я попросил художника рассказать о легендах, связанных с озером. Мы уселись в углу на широком диване, покрытом грубым желто-синим монгольским ковром. Отсюда можно было видеть «Озеро Горных Духов».

— Красота этого места,— начал Чоросов,— издавна привлекала человека, но какие-то непонятные силы часто губили людей, проходящих к озеру. Роковое влияние озера испытал и я на себе, но об этом после. Интересно, что озеро красивее всего в теплые, летние дни, и именно в такие дни наиболее проявляется его губительная сила. Как только люди видели кроваво-красные огни в скалах, мелькание сине-зеленых призрачных столбов, они начинали испытывать странные ощущения. Окружающие снеговые пики словно давили чудовищной тяжестью на их голову, в глазах начиналась неудержимая пляска световых лучей. Людей тянуло туда к круглой конусовидной горе, где им мерещились сине-зеленые призраки горных духов, плясавшие вокруг зеленоватого светящегося облака. Но как только добирались люди до этого места, все исчезало, одни лишь голые скалы мрачно сторожили его. Задыхаясь, едва передвигая ноги от внезапной потери сил, с угнетенной душой, несчастные уходили из рокового места, но обычно в пути их настигала смерть. Только несколько сильных

охотников после невероятных мучений добрались до ближней юрты. Кто-то из них умер, другие долго болели, потеряв навсегда былую силу и храбрость. С тех пор широко разнеслась недобрая слава о Дены-Дерь, и люди почти перестали бывать на нем. Там нет ни зверя, ни птицы, а на левом берегу, где происходят сборища духов, и не растет ничего, даже трава. Я еще в детстве слышал эту легенду, и меня давно тянуло побывать во владениях горных духов. Двадцать лет тому назад я провел там два дня в полном одиночестве. В первый день я не заметил ничего особенного и долго работал, делая этюды. Однако по небу шли частые облака, меняя освещение, и мне не удавалось схватить прозрачность горного воздуха. Я решил остаться еще на день, заночевав в лесу, в полуверсте от озера. К вечеру я ощутил странное жжение во рту, заставлявшее все время сплевывать слюну, и легкую тошноту. Обычно я хорошо выносил пребывание на высотах и удивился, почему на этот раз разреженный воздух так действует на меня.

Утро следующего дня обещало отличную погоду. Я поплелся к озеру с тяжелой головой, испытывая сильную слабость, но вскоре увлекся работой и забыл обо всем. Солнце порядком пригревало, когда я закончил разработку этюда, впоследствии послужившего основанием для картины, и отодвинул мольберт, чтобы бросить последний взгляд на озеро.

Я очень устал, руки дрожали, в голове временами мутилось, и подступала тошнота. Тут я и увидел духов озера. Над прозрачной гладью воды проплыла тень низкого облака. Солнечные лучи, наискось пересекавшие озеро, стали как будто ярче после минутного затмения. На удалявшейся границе света и тени я вдруг заметил несколько столбов призрачного сине-зеленого цвета, похожих на громадные человеческие фигуры в мантиях. Они то стояли на месте, то быстро передвигались, то таяли в воздухе. Я смотрел на небывалое зрелище с чувством гнетущего страха.

Еще несколько минут продолжалось бесшумное движение призраков, потом в скалах замелькали от-

блески и вспышки кровавого цвета. А над всем висело светящееся слабым зеленым светом облако в форме гриба...

Я вдруг почувствовал прилив сил, зрение обострилось, далекие скалы будто надвинулись на меня, я различил все подробности их крутых склонов. Схватив кисть, с дикой энергией я подбирал краски, стараясь торопливыми мазками запечатлеть необыкновенную картину.

Легкий ветерок пронесся над озером, и мгновенно исчезли и облако и сине-зеленые призраки. Только красные огни в скалах по-прежнему мрачно поблескивали, дробясь на воде в отбрасываемых скалами тенях. Возбуждение, охватившее меня, ослабело, недопомогание резко усилилось, словно жизненная сила утекала с концов пальцев, державших палитру и кисть. Предчувствие чего-то недоброго заставило меня торопиться. Я закрыл этюдник и собрал свои пожитки, чувствуя, как страшная тяжесть наваливается мне на грудь и голову...

Ветер над озером усиливался. Прозрачное голубое зеркало померкло. Облака закрыли вершины гор, и чистые краски окружающего быстро тускнели. Одухотворенная и чистая красота озера сменилась печальной хмуростью, красные отблески на месте призраков погасли, и лишь темные скалы чернели там среди пятен снега. Тяжелое дыхание со свистом вырывалось из моей груди, когда я, борясь с упадком сил и давившей меня тяжестью, повернулся спиной к озеру. Путь до места, где, по уговору, ожидали меня мои проводники, отказавшиеся идти на Дены-Дерь, я прошел, как в смутном сне. Горы качались передо мной, приступы рвоты приводили меня в полное изнеможение. Временами я падал и долго лежал, не в силах подняться. Как я добрался до моих проводников, не помню, да это и безразлично. Главное, что привязанный на спине ящик с этюдами уцелел.

Проводники издалека увидели, что делается со мной. Они перенесли меня к лагерю и положили на спину, подсунув под голову переметную суму.

«Однако, ты пропадешь, Чорос», — тоном беспри-

страстного наблюдателя заметил старший из проводников.

Я не умер, как видите, но долго чувствовал себя очень плохо. Вялость и притупление зрения мешали жить и работать. Большую картину «Дены-Дерь» я написал только год спустя, а эту отделявал все время понемногу, когда встал на ноги. Как видите, правда об озере Дены-Дерь и населяющих его горных духах далась мне недешево.

Чоросов умолк. Сквозь частый переплет большого окна виднелась погруженная в сумерки долина. Крайне заинтересованный рассказом, я не имел оснований не верить художнику, но в то же время не мог подыскать никакого объяснения чудесным явлениям, запечатленным в красках его произведения. Мы перешли в столовую. Яркая лампа-молния над столом прогнала тень нереального, наваянного странным рассказом. Я не утерпел и спросил, как разыскать Озеро Горных Духов на случай, если бы мне еще раз представилась возможность побывать в тех местах.

— Ага, забрало вас это озеро! — улыбнулся Чоросов. — Что ж, побывайте, если не боитесь. Записывайте.

Я достал из сумки записную книжку и карандаш.

— Место это в Катунском хребте, на его восточном конце. Это глубокое ущелье между Чуйскими и Катунскими белками. Километрах в сорока вверх по Аргуту от его устья, справа по течению, выходит речка Юнеур. Это место приметно потому, что Аргут дает здесь кривун и устье Юнеура выходит в широкое, плоское место. От устья его пойдете вверх по Аргуту левым берегом, считайте так — километров шесть, и здесь, справа по ходу, окажется небольшой ключ, или речка, если хотите. Речка-то небольшая, а долина очень широкая и глубоко уходит в Катунский хребет. По этой долине вам и ехать. Место сухое, лиственницы, большие, раскидистые. Уже подниметесь высоко, когда встретите большой крутой порог, с него водопад маленький, и тут долина повернет вправо. Дно долины будет плоское, широкое, и на нем — цепью

пять озер, одно от другого где с полверсты, где с версту. Последнее, пятое озеро, откуда дальше нет ходу, и будет Дены-Дерь. Вот и все. Только смотрите не ошибитесь ущельями, а то там и долин и озер много. Да, вот вспомнил, хорошая примета! В устье ключа, куда повернете с Аргута, будет небольшое болотце; на краю его, налево, стояла огромная сухая лиственница без сучьев, с двойной вершиной, как чертовы вилы. Если еще уцелела, по ней узнаете.

Я записал указания Чоросова, не подозревая того значения, которое имели они впоследствии.

Утром я просматривал работы Чоросова, но ни одна не шла в сравнение с «Дены-Дерь». Понимая большую ценность картины, я не решался даже намекнуть на возможность приобрести ее при моих весьма скромных средствах. Я купил два наброска снежных гор да еще получил в подарок маленький рисунок пером, где мои любимые лиственницы были изображены с глубоким знанием характера дерева.

На прощанье Чоросов сказал мне:

— Вижу, как вы к «Дены-Дерь» присматриваетесь, но эту вам подарить не могу. Я подарю вам этюд, сделанный мной на озере. Только, — он помолчал немного, — это уже после того, как помру, сейчас мне расстаться с ним трудно. Ну, не огорчайтесь, это будет скоро... вам перешлют, — серьезно, со своей смущающей бесстрашностью добавил художник.

Пожелав Чоросову долгой жизни, а себе — скорой встречи с ним, я сел на коня, и судьба, как оказалось, навсегда развела нас.

Я не скоро попал на Алтай. Четыре года прошло в напряженной работе, а на пятый я временно выбыл из строя. Жестокий ревматизм — профессиональная болезнь таежников — на полгода свалил меня, а потом пришлось возиться с ослабевшим сердцем.

Устав от вынужденного безделья и скуки, я бежал с южного курорта в хмурый, но милый Ленинград. По предложению главка, я занялся ртутным месторождением Сефидкана в Средней Азии. В солнечной суши Туркестана я надеялся выгнать одолевшую ме-

ня хворь и вернуться к унылой дикости Севера, навсегда пленившей меня. В этой привязанности я был однолюбом и с трудом преодолевал приступы острой тоски по Сибири.

В один из теплых весенних вечеров, когда я сидел за микроскопом у себя дома, принесли посылку, которая больше огорчила, чем обрадовала меня. В плоском ящичке из гладких кедровых досок лежал этюд «Дены-Дерь» как знак того, что художник Чоросов окончил свою трудовую жизнь. Достаточно было мне снова увидеть «Озеро Горных Духов», как на меня нахлынули воспоминания.

Далекая и недоступная красота Дены-Дерь наполнила меня тревожной грустью. Стараясь рассеять печаль работой, я установил под микроскопом новый шлиф рудной породы из Сефидкана. Привычной рукой я опустил тубус винтом кремальеры, настроил фокус микрометром и углубился в изучение последовательности кристаллизации ртутной руды. Шлиф — отполированная пластинка породы — представлял собой почти чистую киноварь, и с его изучением дело не ладилось. Тонкие оттенки цветов, отраженные от шлифа, скрадывались электрическим светом. Я заменил opak-иллюминатор¹ сильвермановским для ко-сого освещения и включил лампу дневного света — превосходную выдумку, заменяющую солнце в суженном мире микроскопа...

Озеро Горных Духов продолжало стоять перед моим внутренним взором, и я сначала даже не удивился, увидев в микроскопе кроваво-красные отблески на фоне голубоватой стали, так поразившие меня в свое время на картине художника. Секундой позже до сознания дошло, что я смотрю не на картину, а наблюдаю внутренние рефлексy ртутной руды. Я повернул столик микроскопа, и кроваво-красные отблески замигали, потухая или переходя в более глубокий коричневато-красный тон, в то время как большая часть поверхности минерала продолжала отли-

¹ О п а к - и л л ю м и н а т о р — специальный прибор в микроскопе для наблюдения минералов в отраженном свете.

вать холодной сталью. Взволнованный предчувствием еще не родившейся догадки, я направил луч осветителя с дневным светом на этюд «Озера Горных Духов» и увидел в скалах у подножия конусовидной горы оттенки цветов, в точности сходные с только что виденным под микроскопом.

Я поспешно схватил цветные таблицы, и тут оказалось, что цвета с формулами... Впрочем, зачем приводить здесь самые формулы? Скажу только, что для науки, изучающей руды различных металлов и металлы,—минерографии—созданы цветные таблицы тончайших оттенков всех мыслимых цветов, которых насчитывается около семисот. Каждый из оттенков имеет свое обозначение, сумма оттенков составляет формулу минерала. Так вот, оказалось, что краски Чоросова в его изображении местообитания горных духов по этим таблицам точно соответствуют оттенкам киновари в разных условиях освещения, углах падения и всей прочей сложной игры света, в науке называемой интерференцией световых волн.

Тайна озера Дены-Дерь вдруг стала мне ясной. Я только недоумевал, почему подобного рода догадка не пришла давно, еще там, в горах Алтая.

Я вызвал по телефону такси и вскоре подъезжал к ограде, за которой светились большие окна химической лаборатории. Мой знакомый—химик и металлург—был еще здесь.

— А, сибирский медведь!—приветствовал он меня.—Зачем пожаловали? Опять срочный анализ?

— Нет, Дмитрий Михайлович, я к вам за справкой. Что вы знаете замечательного о ртути?

— О, ртуть—металл столь замечательный, что книгу толстую написать можно! Что нужно-то, растолкуйте яснее.

— Да вот, ртуть кипит при трехстах семидесяти градусах, а испаряется при скольких?

— Всегда, дорогой инженер, за исключением сильного мороза.

— Значит, летуча?

— Необычайно летуча для своего удельного веса. Запомните: при двадцати градусах тепла в кубометре

насыщенного ртутными парами воздуха — пятнадцать сотых грамма, а при ста градусах — уже почти два с половиной грамма.

— Еще вопрос: ртутные пары сами светятся или нет и каким цветом?

— Сами не светятся, но иногда, при сильной концентрации в проходящем свете, дают сине-зеленоватые оттенки. А при электрических разрядах в разреженном воздухе светятся зеленовато-белым...

— Все ясно. Большущее спасибо!

Через пять минут я звонил у дверей моего врача. С встревоженным видом добрый старик сам вышел в переднюю, узнав мой голос.

— Что случилось? Опять сердце пошаливает?

— Нет, в порядке. Я на минутку. Скажите, каковы главные симптомы отравления ртутными парами?

— М-м, вообще ртутью — слюнотечение, рвота, а вот насчет паров сейчас посмотрю... Заходите.

— Да нет, я на минуточку. Посмотрите скорее, дорогой Павел Николаевич!

Старик ушел в кабинет и через минуту вернулся с раскрытой книгой в руках.

— Вот видите, пары ртути: падение кровяного давления, сильное возбуждение психики, учащенное, прерывистое дыхание, а дальше — смерть от паралича сердца.

— Вот это великолепно! — не удержался я.

— Что великолепно? Такая смерть?

Но я только засмеялся, мальчишески радуясь недоумению доктора, и сбежал с лестницы. Теперь я знал, что весь ход моих мыслей, безусловно, верен.

Вернувшись домой, я позвонил начальнику своего главка и сообщил, что в интересах нашей работы мне необходимо немедленно ехать на Алтай. Я попросил отпустить со мной Красулина, молодого дипломника, физическая сила и хорошая голова которого были очень нужны мне при моем все еще болезненном состоянии.

В середине мая уже можно было беспрепятственно достигнуть озера. Как раз в это время я и вышел из

селения Иня на Чуйском тракте с Красулиным и двумя опытными таежниками — рабочими.

Я помнил все наставления покойного художника о предстоящем пути, и, главное, в боковом кармане у меня лежала старая, истрепанная полевая книжка с маршрутом, записанным со слов Чоросова.

Когда мой маленький отряд раскинул вечером палатку на сухой рели в устье долины, против похожей на вилы лиственницы, я не без волнения почувствовал, что завтра будет подтверждена правильность моих предположений, верен ли путь разума через фантазию или я выдумал нечто еще более невероятное, чем сказочные духи художника-ойрота. Красулину передалось мое волнение, и он подсел ко мне на бугорок, где я задумчиво созерцал рогатую лиственницу.

— Владимир Евгеньевич, — тихо начал он, — помните, вы обещали рассказать о цели нашей поездки, когда попадем в горы.

— Я надеюсь не позднее чем завтра обнаружить крупное месторождение ртути, может быть частично самородной. Завтра увидим, прав я или нет. Вы знаете, что ртуть встречается обычно в своих месторождениях в рассеянном виде, в малых концентрациях. Большое месторождение с богатым содержанием ртути известно только одно в мире — это...

— ...Альмадена в Испании, — подсказал Красулин.

— Да, уже много веков Альмадена снабжает ртутью полмира. Один раз там было найдено крохотное озеро чистой ртути. Так вот, я рассчитываю найти нечто подобное. Что здесь целые утесы чуть ли не целиком состоят из киновари, в этом я убежден, если только...

— Но, Владимир Евгеньевич, если мы откроем такое месторождение, это переворот в ртутной экономике!

— Конечно, дорогой! Ртуть — важнейший металл для техники и медицины. Ну, а теперь — спать, спать! Завтра поднимемся еще затемно. Кажется, день будет пасмурный, а нам это и нужно.

— Почему так важен пасмурный день? — спросил Красулин.

— Потому, что я не хочу отравить всех вас, да и сам отравиться. Пары ртути не шутка. Доказательство хотя бы в том, что открытие этого месторождения задержалось на сотни лет именно из-за губительных свойств ртутных паров. Завтра мы сразимся с горными духами Дены-Дерь, а там видно будет...

Дымка розового тумана заволокла горы. В долине стемнело. Только острые вершины белков еще долго светились в невидимых нам лучах солнца. Потом и они потухли. Пепельная завеса скрыла горы. Сверкнули затуманенные пасмурным небом звезды. Я все еще сидел курая у костра, но в конце концов поборол свое волнение и улегся спать.

Все события следующего дня запомнились мне почему-то в отрывках.

Отчетливо врезалось в память обширное, совершенно плоское дно долины между третьим и четвертым озерами. Середина долины лежала ровным зеленым ковром мшистого болота, без единого деревца, а по краям высились большие кедры. Лишенные ветвей с одной стороны, кедры тянули могучие ветви в сторону Озера Горных Духов, как мрачные флаги на высоких столбах. Низкие, хмурые облака быстро проносились над деревьями, словно торопясь к таинственному месту.

Четвертое озеро было невелико и кругло. Из голубовато-серой воды, покрытой пыльной дымкой ряби, торчала гряда острых камней. Перебравшись через них, мы попали в густые заросли кедрового стланца, и еще через десять минут я стоял на берегу Озера Горных Духов. Пепельный цвет печали лежал на воде и снежных склонах горной цепи. Тем не менее я сразу же узнал в нем храм горного духа, поразивший мое воображение несколько лет назад в студии Чорова.

Добраться до отливающих сталью скал у подножия конусовидной горы оказалось нелегкой задачей. Но все трудности были нами мгновенно забыты, когда геологический молоток, звеня, отбил от ребра утеса

первый тяжелый кусок киновари. Дальше скалы понижались скошенными ступенями к небольшой впадине, над которой вился легкий дымок. Впадину заполняла мутная горячая вода. Вокруг из глубоких расселин били горячие ключи, окутывая туманом края впадины.

Я поручил Красулину глазомерную съемку рудного участка, а сам двинулся вместе с рабочим сквозь пелену тумана к подошве горы.

— Что это там, товарищ начальник? — спросил вдруг рабочий.

Я взглянул в указанном направлении. Наползину скрытое каменистой грядой, блестело тусклым и зловещим блеском ртутное озерко — моя воплощенная фантазия. Поверхность озера казалась выпуклой. С непередаваемым волнением склонился я над упругой поверхностью и, погружая руки в ускользящую и неподатливую жидкость, думал о громадном количестве жидкого металла — моем подарке родине.

Прибежавший на мой зов Красулин застыл в немом восхищении. Однако пришлось умерить восторги и поторапливать своих спутников в выполнении необходимой работы. Уже чувствовались тяжесть в голове и жжение во рту — зловещие признаки начинающегося отравления. Я зашелкал направо и налево лейкой, рабочий наполнил фляги ртутью из озера. Красулин и второй рабочий спешно обмеряли выходы рудных пород и размеры озера. Казалось, все было готово с молниеносной быстротой, тем не менее обратно мы шли медленно, вяло, борясь с усиливающимся чувством угнетения и страха. Пока мы с трудом огибали озеро по левому берегу, облака разошлись, и нашим глазам открылся граненый алмазный пик. Косые солнечные лучи прорвались сквозь ворота дальнего ущелья, вся долина Дены-Дерь наполнилась искрящимся прозрачным светом. Обернувшись, я увидел сине-зеленые призраки, мелькавшие в недавно покинутом нами месте. К счастью, берег постепенно выравнивался, и мы скоро добрались до лошадей.

— Гони, ребята! — вскричал я, поворачивая своего коня.

В тот же день мы спустились по долине до второго озера. В наступивших сумерках протянутые нам навстречу ветви кедров как бы грозились, пытаясь задержать нас.

Ночью мы чувствовали себя неважно, но в общем все обошлось благополучно.

Остается сказать немного. Волшебное озеро дало и дает теперь Советскому Союзу такое количество ртути, что обеспечивает все потребности нашей многосторонней промышленности.

А я навсегда сохранил признательную память о правдивом художнике, бесстрашном искателе души гор.



ГОЛЕЦ ПОДЛУННЫЙ

— Попробую и я рассказать вам кое-что,— сказал молчавший весь вечер Георгий Балабин, коренастый, плотный, похожий на медведя человек, заросший до глаз короткой щетинистой бородой.

За этой простоватой внешностью скрывались знания и огромный опыт заслуженно уважаемого в ученом мире исследователя Сибири.

— Во всех ваших рассказах,— продолжал Балабин,— я подметил одну особенность: необычайное, встреченное почти каждым из вас, как бы соответствует внутренним исканиям каждого... Разве эти встречи не результат многолетних, может быть бессозна-

тельных, поисков? Терпеливое стремление тренирует нашу чуткость, дает умение отделить настоящее от случайного — это своего рода внутренний компас, который в нужную минуту всегда подскажет вам, что вы на верном румбе... И кто знает, быть может, мы потому и встречались в жизни с интересными и замечательными событиями, что постоянно следовали этому своему компасу.

В Восточной Сибири есть Витимо-Олекминский национальный округ. Северо-восточная часть этой обширной горной страны, примыкающая к южной границе Якутии, представляет собою сплошной узел горных хребтов, едва ли не самых высоких во всей Сибири. Недоступность и безлюдье этих мест исключительные. До самого последнего времени путешественники в них не бывали. Пятнадцать лет тому назад мне пришлось первому пересечь это «белое пятно» на карте. Я говорю «первому», подразумевая, конечно, ученых-исследователей. Коренные жители страны — тунгусы и якуты — во время своих охотничьих перекочевок исходили вдоль и поперек и эту дикую область. Тунгусские охотники сообщали мне не раз драгоценные сведения об участках, еще не пересеченных маршрутами, и уверенно чертили подробные карты рек, ключей и горных хребтов. Даже самые мелкие речки, служившие основными путями при кочевьях, имели у них свои названия. Не так обстояло дело с гольцами. Практический ум таежного охотника избегал лишнего загромождения памяти названиями не важных для передвижения или обитания мест, и для горных вершин мне приходилось придумывать названия самому.

Итак, в конце декабря 1935 года я находился на реке Токко, готовясь покинуть пределы Якутии и пройти к верховьям реки, в Витимо-Олекминский национальный округ. От моей большой экспедиции остался лишь маленький отряд; остальных сотрудников я направил в сторону Алдана и на Лену, расширив район своих исследований.

Сам же я, невзирая на свирепые морозы и недостаточные запасы продуктов, стремился пересечь горный

узел, доступный легче всего именно в зимнее время, когда бурные реки, бушующие в непроходимых ущельях, скованы льдом и передвижение по дну ущелий на оленьих нартах не встречает особых затруднений. Три моих спутника были незаменимы каждый в своем роде. Якут Габышев — проводник, он же вожатый и хозяин оленьего каравана, геолог Александров и рабочий Алексей, исполнявший обязанности повара, золотоискатель и охотник, — все испытанные таежники, не раз ходившие со мной в глухие места Сибири.

Восьмой месяц моего путешествия близился к концу, но впереди была еще очень трудная часть пути. Наш караван из семи нарт с четырьмя запасными оленями быстро двигался по замерзшей реке, и все большая часть долины Токко наносилась впервые на географическую карту. Река изменила свое извилистое течение, оправдывавшее ее название (токкорикан — по-тунгусски «извилистый»), и текла теперь поразительно прямо. День за днем планшеты нашей съемки пристраивались к большой карте — результату многомесячного упорного труда, показывая широкую прямую долину, направляющуюся к истокам реки — к югу. День за днем раздавался в тишине дробный стук оленьих копыт, скрип покачивающихся нарт, и мы уносились все дальше, туда, где вставала над округлыми волнами низких сопок зазубренная линия мрачных гор.

Мы продвигались по однообразной местности — южному краю Ленской платформы. Это невысокое плато, расчлененное на бесконечные ряды сопки почти одинаковой высоты, мы старались, несмотря на короткие дни, проехать как можно скорее. Двадцать первого декабря закругленные, покрытые темной щетиной елового леса сопки сменились длинными, заострившимися кверху увалами, поросшими лиственницами, рыжевато-серый цвет которых резко выделялся на темной зелени лесов из ели и кедра. Это означало, что мы покинули пределы платформы с ее однообразным рельефом и известняками и подошли к передовым бастионам горной страны из гранитов и гнейсов — твердых пород древнейшего цоколя материка,

поднятых здесь недавними движениями земной коры на большую высоту. Оживление геолога, до сих пор сумрачно сидевшего на своей нарте со съемочной планшеткой на груди, как нельзя лучше показывало перемену в окружающей местности.

Небо расчищалось и голубело над головой, низкие тучи плотной завесой отходили на юг, косо нависая над преддверием горной страны. Мороз усиливался, скрип нарт становился все звонче и выше тоном, над караваном вилось облако пара от короткого и частого дыхания оленей. Я удобно расположился на широких грузовых нартах, на вещах, поджав под себя левую ногу и свесив правую, игравшую роль тормоза и руля. Время от времени я перекладывал вожжу из одной руки в другую или тревожно пошевеливал пальцами ног, стараясь уловить грозные признаки заморозания, требовавшие немедленной пробежки. Мы давно прикончили наш запас масла — это понижало сопротивляемость холоду.

Серые облака впереди окрасились красным, и в углубления снежной пелены легли длинные голубые тени. Выпуклый крутой бок массивного гольца выдвинулся на повороте реки. Обогнув его, мы увидели, что долина образовала широкую развилину, разделенную массивной сопкой с зубчатым гребнем. Это и была большая развилина вершины Токко в месте впадения крупного левого притока Чироды. Отсюда долина Токко, превращаясь в узкое ущелье, загроможденное порогами, поворачивала к юго-западу, приближаясь к верховьям Чары. Там, в обширной котловине, между двумя высокими хребтами находился небольшой населенный пункт с факторией и радиостанцией. Туда мы и стремились для возобновления запасов продовольствия. Свернув в долину Токко, уже в сумерках мы быстро выбрали место для палатки. В нашем давно путешествовавшем отряде все необходимые вечерние работы производились с быстротой и, я бы сказал, изяществом хорошо сыгравшейся труппы артистов. В сгущающейся темноте мы связали шесты, разгребли снег, поставили палатку и напилили дров. Алексей установил печку и занялся приготовлением

обеда. Из торчавшей сбоку от входа в палатку печной трубы вырывалось бледное пламя. Оглядев в последний раз смутно черневшие на снегу нарты, мы вошли в палатку и, осторожно миновав раскаленную печку, погрузились в тепло. Что может быть приятнее первых минут в нагретой палатке после трудового дня на жестоком морозе? Яростно срываешь с себя обледенелый мокрый шарф, закрывающий лицо, снимаешь шапку. Еще немного терпения — и олени шкуры постланы на лиственничных ветках, набросанных на мерзлую землю, развернуты спальные мешки. Освободившись от тяжелой одежды, закуливаешь огромную козью ножку и с наслаждением впитываешь всем намерзшимся телом чудесную теплоту.

Так было и в этот вечер, когда мы расселись в палатке, поджав ноги, и начали поглощать невероятное количество горячего чая в ожидании, пока сварится мясо. Большой мороз сушит не хуже зноя, пить целый день нечего, и к вечеру появляется неутолимая жажда. В благодатном тепле, при красноватом мерцании уютно потрескивающей печки, хмурые, обветренные лица отмякали, суровые морщины разглаживались. Наконец в печку перестали подкладывать дрова, и в палатку неумолимо стал забираться ледяной воздух. Нужно снова надевать ватники, запасные меховые носки и влезать в спальные мешки, тщательно закупориваясь. В тишине и резком холоде остывшей палатки еще некоторое время металось уже бессильное пламя угасавшей печки, освещая то висащие над головой для просушки унты, рукавицы, шапки и шарфы, то приготовленную на утро растопку, то угол выючного чемодана. Печка погасла. Сквозь дремоту до сознания доходили редкие звуки внешнего мира: далекий грохот оседающего льда, треск лопающегося дерева, беготня согревающихся оленей...

Следующий день, день зимнего солнцеворота, принес хорошую погоду и еще более крепкий мороз. Бледное небо стояло над нами высокое и ясное. В недвижимом воздухе морозного утра пар, вырываясь из рта, сразу превращался в мельчайшие льдинки. Трение льдинок на лету друг о друга и производило ха-

ракторное тихое шуршанье. Этот тихий шелест, называемый якутами «шепотом звезд», означал, что мороз больше сорока пяти градусов. Геолог, взявшийся голый рукой за оставленный на ночь снаружи ртутный термометр, невольно издал крик удивления: стеклянная палочка термометра разлетелась на длинные иглистые осколки, а замерзший ртутный шарик прилип к пальцам. Пришлось извлекать со дна чемодана спиртовой термометр, который вскоре показал почтенную цифру — 57°.

Возобновив запас дров и согревшись горячим чаем, мы разбрелись по своим делам. Геолог поехал на нартах вверх по Чироду, проводник ушел проверять оленей, Алексей — промывать золото. Я решил взобраться на гольц, чтобы осмотреться и заснять с высоты окружающую местность.

Лагерь опустел. Палатка, наполовину скрытая мелкими лиственницами, казалась совсем маленькой, затерянной среди огромных скал. Выбрав пологий отрог, я начал медленно подниматься по звонко скрипевшему, немыслимо чистому снегу. Гладкие подошвы моих унтов скользили: приходилось цепляться за стволы деревьев. Морозный воздух не давал возможности глубоко дышать. Это очень утомляло; крупные капли замерзшего пота окружали лицо по краю меховой шапки. Но все же я достиг небольшой площадки на вершине гольца, где стояли две большие глыбы гранита, обточенные ветрами и покрытые лишайником. Я вскарабкался на макушку одной из глыб и огляделся кругом.

Позади склон гольца круто обрывался в широкий распадок, густо заросший кедрачом и казавшийся сверху пушистым ковром с узором из темно-зеленых и белых пятен. Налево, за ребристой сопкой, шла белая полоса замерзшей Чироды, направо такая же полоса обозначала Токко. С юга из голубой солнечной дали подходила покрытая серебристой дымкой стена хребта Удокан. Эта стена приблизительно на расстоянии полусотни километров от меня переламывалась углом и поворачивала на восток к Олекме. В месте перелома хребта высилось скопище огромных гольцов, значи-

тельно превосходивших по высоте все виденные здесь мною. Один голец особенно привлек мое внимание. Он стоял впереди всех остальных, ближе ко мне, одиноко подымаясь, как гигантская, слегка суживающаяся кверху башня, верхушка которой увенчана тремя огромными зубцами. С трудом справившись с непослушным в коченеющих руках карандашом, я зарисовал виденное и взял компасом засечки. Пора было спускаться.

Все та же застывшая тишина окружала меня, не чувствовалось ни малейшего колебания воздуха. По-прежнему высоко стояла надо мной чистейшая голубизна неба, такого же глубокого, как окружающая тишина. Каменный, застывший, скованный морозом мир был враждебен мне. И я почувствовал, как острая тоска по теплым странам шевельнулась в моей душе...

Еще с детских лет я безотчетно любил Африку. Детские впечатления от книг о путешествиях с приключениями сменились в юности более зрелой мечтой о малоисследованном Черном материке, полном загадок.

Я мечтал о залитых солнцем саваннах с широкими кронами одиноких деревьев, о громадных озерах, о таинственных лесах Кении, о сухих плоскогорьях Южной Африки. Позднее, как географ и археолог, я видел в Африке колыбель человечества — ту страну, откуда первые люди проникли в северные страны вместе с потоком переселявшихся на север животных. Интерес ученого еще более укрепил юношеские мечты о душе Африки — о могучей, всепобеждающей древней жизни, разлившейся по просторам высоких плоскогорий, водам мощных рек, по овеваемым ветрами побережьям, открытым двум океанам...

Мне не пришлось осуществить свою мечту и стать исследователем Черного материка. Моя северная родина по необходимости не уступала Африке, а неизученных мест в ней было не меньше. И я сделался сибирским путешественником и попал под очарование беспредельных безлюдных просторов Севера. Только изредка, когда тело уставало от холода, а душа — от

хмурой и суровой природы, меня охватывала тоска по Африке, знойной, манящей и недоступной...

Беспощадный мороз вернул меня к действительности. Я спустился со склона и пошел в лагерь. Солнце уже зашло за голец, но еще никто из товарищей не вернулся. Я затопил печку, поставил котел с замерзшим чаем и опустил на оленью шкуру, ожидая, когда палатка нагреется настолько, чтобы можно было раздеться.

Двадцать третье и двадцать четвертое декабря были трудными днями. Долина Токко превратилась в узкое ущелье, стиснутое боками высоких гольцов. Весь снег со льда был начисто сметен бушевавшими в теснине ветрами. Река застыла неровными буграми, вздымавшимися по всему течению, повторяя контуры волн на перекатах и порогах. В ущелье часто раздавался грохот, отдаленный гул или низкий стон лопающихся и оседающих льдин. Местами из льда торчали острые зубья камней.

Странно и жутко было идти, скользя и балансируя, и видеть прямо под своими ногами, сквозь зеленоватую прозрачную плиту льда полуметровой толщины, бушующие волны реки, мелькавшие в зеленоватом мерцании с огромной быстротой. Особенно жутким казалось то, что этот хаос воды и пены неся под нашими ногами совершенно беззвучно, как будто заколдованный тяжелой морозной мглой, повисшей в ущелье. Продвижение каравана по гладкому льду связано с большим трудом. Олени были совершенно беспомощны на скользкой твердой поверхности — копыта их разъезжались в разные стороны, животные бились, падали.

Из глубины ущелья послышался глухой шум, который все нарастал и вскоре превратился в низкий непрерывный рев. Мы приблизились к одному из самых больших порогов, мощную силу которого не смогли укротить даже пятидесятиградусные морозы. Белый туман заполнял ущелье почти на половину высоты его отвесных стен из темно-серых метаморфических сланцев. Темная в белой рамке льда и снега вода плавно закругленным валом вспучивалась на трехмет-

ровую высоту, переваливалась вниз, разбивалась в пену и брызги об острые камни и с ревом бросалась на скалу правого берега, там, где над чернеющими, выдолбленными водой пустотами нависли, едва держась, огромные глыбы. Левый берег был также обрывист. От скалы шел гладкий скат огромной льдины, спадавший прямо в порог. Проход был опасен и узок, но другого пути не было.

Геолог, подъехавший первым, нахмурился, взялся за связку — ремень, соединяющий недоуздки каждой пары оленей, — и медленно повел свою упряжку. Следующая очередь была моя. Я встал между головами своих быков, беспокоившихся и нетерпеливо стремившихся вперед, и стал молча следить за геологом. Помочь товарищу я не мог: нельзя было отпустить свою упряжку, так как каждый сантиметр, выигранный в начале прохода, правее, к стене ущелья, имел решающее значение. Упряжка геолога, продвигаясь вперед, неуклонно сползала на край льдины, к дымящимся волнам ревущего порога. Олени падали и снова вскакивали. Метр, полметра... Если левый бык упадет еще раз, все пропало. Бык не упал. Еще минута — и я приветствовал успех геолога криком, затерявшимся в шуме воды. Мои олени толкали меня носами и стучали рогами, как бы напоминая о моей очереди. Зайдя с левой стороны упряжки, я отжимал плечом оленей к каменной стене ущелья и провел нарты у самой вершины ледяного ската. По моему следу перебрались проводник и рабочий; затем мы перевели грузовые нарты.

Еще один незамерзший порог пришлось преодолеть к концу дня. Его рев убаюкивал нас ночью. Наутро, едва мы прошли три-четыре километра, за поворотом ущелья прямо в лоб ударил нам сильный и непрерывный ветер. На льду, на крутых скалах, среди редких голых деревьев — нигде не было ни одного местечка, в котором можно было бы укрыться от полета бесчисленных копий мороза. Мы шли, наклоняясь вперед, закутав лица так, что оставались лишь узенькие щелки для глаз. Олени низко опустили головы, почти касаясь снега черными носами. Сильный ветер при

шестидесятиградусном морозе почти непереносим. Через несколько минут я почувствовал, что вся передняя половина тела застывает до полного онемения. Приходилось поворачиваться спиной, идти пятясь, пока не отогревалась другая сторона тела. Шум и свист ветра заглушали все звуки...

К вечеру мы вышли из страшного ущелья в громадную котловину — впадину с плоским дном, окруженную ступенчатыми горами. Перед нами расстилось ровное снежное, сияющее в сумерках поле, окаймленное черной полосой леса. После шума ветра в ущелье тишина и покой поразили нас. Мы назвали эту впервые открытую нами котловину Верхне-Токкинской, пересекли ее по глубокому снегу и достигли в темноте опушки леса. Прошел еще один ничем не запомнившийся день однообразного передвижения. Проводник поднял нас очень рано. В неправдоподобных голубых сумерках, предвещавших ясный, как и все предыдущие, день, мы начали подъем на перевал в седловине двухвершинного гольца, покрытого обильным снегом. Поочередно мы выходили вперед, раздевшись до фуфайки, и протапывали лыжами дорогу для нарт. На морозе от идущего впереди валил пар, спина покрывалась инеем. Так, изнемогая и сменяя друг друга, мы доползли до вершины перевала между двумя пологими снежными скатами. Олени, хватая снег, сейчас же легли. Покутив, мы расселись по нартам и принялись спускаться с седловины по широкому склону, выходившему на огромный пологий скат в несколько километров ширины, спадавший к реке Тарыннах, притоку Чары.

Два темных пятна показались на обрыве справа. Проводник, ехавший во главе каравана, ловко остановил разбежавшихся оленей. Я быстро выхватил из-под брезента свой винчестер. Коричневые пятна вскоре превратились в двух великолепных толстых кабарожек. Щелкнул отведенный мной назад затвор (из осторожности на тряской езде я не держал патрона в стволе). Кабарги¹ вздрогнули. Внимательные чер-

¹ Кабарга — жвачное млекопитающее из семейства оленей.

ные глаза зорко следили за нами, тонкие ножки напряглись, готовые взметнуть своих владельцев вверх по склону. Затвор винчестера не захлопнулся, а медленно пополз вперед и, дойдя до края патрона, остановился раскрытым. Как ни тщательно было вытерто масло, жестокий мороз сделал свое дело. Я шевельнулся, пытаясь дослать патрон; кабарги взвились по склону и исчезли в гуще листвянок.

Караван снова тронулся в путь, петляя между деревьями по склону.

— Тохто-о-о!..¹

Внезапный вопль заставил меня вздрогнуть. Не размышляя, я скатился с нарт в снег и поймал их за задние копылья, чтобы своим телом сыграть роль тормоза. Нарты проводника уже скрылись за поворотом, и исчезли. Скорость моих нарт была слишком велика; олени дернули, взметнулись в прыжке, и я ласточкой взлетел кверху, цепляясь за копылья. Не успев ничего сообразить, я уже лежал рядом с проводником, и тормозной олень грузовой нарт наступил мне на руку. Новый вопль:

— Тохто!

Из-за поворота показались две нарты геолога, и еще через секунду на склоне образовалась груда оленей, людей и нарт, продолжавших скатываться вниз. Ничего особенного не случилось — просто крутизна внезапно превысила допустимый для спуска нарт предел. Мы обрушились в замерзшую речку. Я так ударился спиной о лед, что на минуту потерял дыхание. На гребне обрыва появились олени Алексея, отставшего от нас. Увидев груду тел и нарт, он растерялся и судорожно вцепился в нарты, вместо того чтобы спрыгнуть. Тела оленей вытянулись в прыжке, нарты переехали через лежавшего под откосом геолога и, ударившись о лед, развалились на куски. Алексей остался сидеть на вещах, удивленно и испуганно моргая, а олени, оторвав бурундук, сделали несколько скачков и остановились.

Выяснив, что все олени целы и вещи не повреж-

¹ Тохто! — Стой! (Якутск.)

дены, мы посмеялись над своим приключением и решили ввиду поломки нарт добраться до ближайшего корма и заночевать. Проехав еще немного до начала обширного ската в Тарыннах, мы остановились в редком лесу. Здесь когда-то давно прошел пал — лесной пожар. После него успел вырасти молодой березовый и лиственничный подлесок. Старые лиственницы, лишенные ветвей и коры, — самое лучшее топливо, и мы запаслись им в избытке, а кроме того, разожгли громадный костер, чтобы отогревать и гнуть бурундуки и обвязку копыльев. Геолог с Алексеем пошли на ближайший ключ сделать промывку на золото, а мы с проводником заготовили весь материал для починки.

Стемнело. Мы пообедали и напились чаю, а товарищи все не возвращались. Я решил выйти им навстречу. Дневная морозная мгла исчезла. Высоко над горами в прозрачном воздухе встала луна. Я вскоре увидел две темные фигуры, спешившие мне навстречу.

— Золотишко тут должно быть, — сказал геолог. — Правда, Алеша?

— Подтверждаю, — отозвался рабочий.

Мы закурили и молча стояли, очарованные лунной морозной ночью, покрывшей окружающий нас мир слоем искрящегося матового серебра.

— То не ваши ли страшные гольцы, Георгий Петрович? — спросил геолог и указал вверх по долине Тарыннаха.

Левее долины виднелась группа голубовато-серебряных пильчатых вершин с очень резко выделявшимися контурами. Глубокая черная тень скрывала подножия гольцов, а холодный свет высокой луны прочерчивал несуществующие пропасти и углублял далекие планы. Казалось, гигантская серебряная пила висела в воздухе, ни на что не опираясь. Отдельно от других стоял высокий башнеобразный пик с тремя зубцами на вершине, замеченный мною еще раньше. Трехзубчатой вершиной пик словно касался луны, под лучами которой сияли скалистые ребра и ледяные кручи его южной стороны.

— Вот и название хорошее для вашего пика, Георг-

гий Петрович,— снова нарушил молчание геолог.— Голец Подлунный. Видите, уперся своими зубцами в луну...

— Очень хорошо,— согласился я, направляя компас на голец и беря вторую засечку.

Теперь расстояние до гольца стало известно, и он встанет точно на карту...

Работы по починке нарт были закончены к полудню, и, развалившись в палатке, мы отдыхали, обсуждая дальнейший путь. В три дня мы рассчитывали добраться до Чарской котловины и дня в два — по котловине до поселка. Пять дней — и можно будет спать в доме фактории, позволить себе роскошь раздеться, поесть как следует...

Мы решили немного понежиться, прежде чем свертывать палатку, и лежали, делясь мечтами о скором приезде в поселок и небольшом отдыхе.

Мечты наши были прерваны неожиданными звуками — хрустением оленьего бега, скрипом нарт и человеческим голосом. После безлюдья скованной морозом тайги появление человека показалось чудом, и все, кроме меня, на ходу нахлобучивая шапки, выбежали из палатки. Я остался на месте, как и подобает начальнику, испытавшему все виды таежных бед и радостей. Вскоре в дверь палатки, нагнувшись, вошел неизвестный мне человек, а за ним последовали и мои спутники. Вошедший уселся, поджав ноги, около печки, горделиво поднял голову и, ударив себя в грудь, громко произнес:

— О-хо! Улахан тойон (большой начальник).

Я спокойно и внимательно посмотрел на него, и он, смутившись, потупился и полез за трубкой. Это был высокий старый якут, необыкновенно худой. Большие ястребиные круглые глаза, горбатый нос, впалые щеки и узкое лицо с остроконечной бородкой напоминали Дон-Кихота.

Я предложил старику свой кисет, подмигнул Алексею, чтобы тот поставил на печку свежий чай и мясо: раз «улахан тойон», так примем с подобающим почетом. Помолчав приличествующее время, я произнес обычную формулу:

— Капсе, тогор (рассказывай, друг).

— Со-охк, ень капсе (нет, нечего рассказывать, ты рассказывай), — протянул старик.

Мы обменялись еще несколькими традиционными фразами по-якутски; затем старик неожиданно заговорил по-русски, очевидно найдя, что его русский язык лучше моего якутского. С большим интересом якут расспрашивал меня о путешествии, одобрительно кивая головой при упоминании мной названий особенно трудных мест пути. Несколько раз старик пытался меня поддеть на знании особенностей местной природы, но благодаря большому опыту странствований я оказался на высоте положения. Ему поднесли стаканчик спирта, он съел сытный обед и несколько размяк, утратив свою надменность. Он сказал, что покажет мне «такую штуку», какой я, наверно, не находил здесь. Старик быстро вышел из палатки и направился к своим двум нартам.

— Ты знаешь этого старика? — спросил я у Габышева.

— Знаю, — отвечал проводник. — Его Кильчегасов фамилия. Охотник хороший, всякий место знает.

Старик вернулся в палатку, и я прекратил расспросы.

— Такой видел на Токко? — хитро усмехаясь, спросил старик и протянул мне тяжелый обрубок бивня мамонта.

Я объяснил старику, что это бивень мамонта, и описал рукой в воздухе дугу, показывая его в целом виде. Кильчегасов опечалился, видя мою осведомленность, а когда я сказал, что, вероятно, он нашел бивень в подмыве берега, он и совсем погрустнел.

— Много знаешь, начальник, — покачал он головой.

Польщенный признанием старика, я рассказал ему об островах в устье Лены, где бивни мамонтов валяются прямо на земле вперемешку с костями китов и обломками принесенных морем лесин. Якут внимательно выслушал меня, сплюнул и придвинулся ко мне, словно на что-то решившись.

— Твой умный человек, начальник, оннако наши

охотники тоже знают, чего-чего твой не знает. Я знаю голец, где такой мамонт рога, как лес лежит. Его, оннако, не кривой, какой я нашел, а прямой, мало-мало кривой.

— Это интересно! — удивился я.

Кильчегасов протянул руку за кисетом. Закурив, он поднял лицо кверху, будто вспоминая что-то.

— Мой отца брат согджоя¹ гонял, ходил очень далеко, туда,— Кильчегасов махнул рукой на восток,— видел, потом рассказывал. Ты слышал, оннако? — обратился он к проводнику.

— Слышал. Думал — врал,— равнодушно отозвался Габышев.

— Оннако, не врал, его кусок рога, конец, приносил, я сам смотрел.

— Где же этот голец? — спросил я старика.

— А если близко, пойдешь посмотреть?

— Конечно, пойду,— кивнул я.

Минутная пауза, и колебание, выразившееся на лице старика, исчезло.

Я развернул свою большую карту, на которой только вчера отметил место гольца Подлунного.

— Вот тут, между вершина Чирода и вершина Токко, много большой голец, прямо куча.

— Верно! — отозвался я.

Но старик не обратил на мой возглас никакого внимания.

— Вершина Чирода и Чиродакан около есть самый большой голец, как высокий пень. (Мы с геологом переглянулись, узнав в метком слове старика своего вчерашнего крестника — голец Подлунный.) Это голец стоит сам один, сюда ближе Токко вершина. Право гольца есть высокий, ровный, чистый место — все равно стол. Это место рога, оннако, и лежат. Там еще есть дырка большой, и там тоже рога.

— А как отсюда, далеко будет? — спросил я, загоровшись любопытством.

— Этот место недалеко-о,— протянул старый якут.— Тарыннах пойдешь, вершина Тарыннах право

¹ Согджой — дикий северный олень.

пойдет, лево пойдет Ичончокит. Ичончокит вершина пойдешь на средний перевал, там ниже ровный место, оннако, маленький ключик. Этот ключик сходится Талумакит. Токко вершина, оттуда налево будет речка небольшой... Киветы скала режет — все равно нож. Оннако, Киветы пойдет тот плоский место... — Кильчегасов подумал и сказал: — Верста девяносто ли, сто ли будет...

Старик умолк. Молчали и мы. Только дрова в печке глухо потрескивали. Я раздумывал о возможности сделать маршрут в сторону, по труднопроходимой местности, при почти иссякших запасах продовольствия. Геолог выжидательно поглядывал на меня, ничем не выдавая своих чувств. Габышев обратился к старику по-якутски, и оба они тихо заговорили. Я уловил лишь несколько знакомых слов: «большой порог... корма много... нартами не проехать... черта много...»

— Где это много черта, Габышев? — вмешался я в их разговор.

Я знал, что под «чертом» тунгусы и якуты подразумевают необъяснимые с их точки зрения явления природы.

— То место я слышал, там черта много, — подтвердил проводник, — оннако, еще большой порог есть, там смерть близко ходи.

— Какой порог? Речки-то все маленькие.

— То не речка: порог большой — весь дорога.

Мы поняли, что речь идет о ригеле — отвесном уступе, иногда перегораживающем поперек ледниковые долины. Я все колебался, не подавая виду. В конце концов сто километров в один конец по сибирским масштабам — пустяки. Вопрос о лишних днях, которые надо прибавить к пяти, отделяющим нас от отдыха в поселке. Попасть снова в эту недоступную область вряд ли придется.

Я взглянул на Кильчегасова:

— Пойдешь с нами до того места?

По оживлению моих спутников я увидел, что они поняли мое решение. Старик раздумывал, посасывая трубку. Не торопя его, я спросил геолога:

— Как вы думаете, Анатолий Александрович?

— Ну, ясное дело, слазаем, посмотрим,— одобрительно отозвался он.

— А ты, Алексей, как? Продуктов хватит на десять дней?

— В обрез хватит: мешок лепешек есть, чай есть да пять банок бобов...

После раздумья старик согласился сопровождать нас. Теперь очередь была за Габышевым.

— Как, Василий, пойдешь? — спросил я.— Груз оставим, нарты грузовые оставим, оленей погоним с собой.

Проводник невозмутимо мусолил трубку, склонив голову и глядя в землю. От согласия его, как владельца оленей, зависело многое.

— Пойдем, начальник,— спокойно ответил якут и так же невозмутимо добавил: — Оннако, мы пропадем, я думаю...

Я крепко пожал руку этому славному якуту, считавшему наше предприятие опасным и тем не менее спокойно шедшему навстречу этой опасности.

До вечера шло обсуждение предстоящего пути. На ночь в палатке прибавился пятый жилец. А утром мы быстро съехали в долину Тарыннаха, расставили запасную палатку и сложили в нее коллекции, ненужный груз, лишние нарты. Затем повернулись спиной к желанной Чаре и направились к страшным гольцам в верховья Тарыннаха.

По широкой долине реки струился белый туман от многочисленных наледей¹. «Тарын» и значит по-якутски «наледь». Иногда воды было немного под снегом, а иногда нарты, как лодки, разрезали серую неподвижную воду или проваливались в подледные пустоты. Местами мы с гиканьем мчались, гоня оленей во весь опор по тонкому, прогибающемуся льду. Торопясь, мы проехали за день большой кусок пути и уперлись в отвесную стену, перегородившую долину,— знаменитый уступ в добрые четверть километра вы-

¹ Наледь — натеки воды и льда, образовавшиеся от промерзания до дна речки или ключа.

соты. Направо ложе реки врезало в кромку порога узенький пропил. Через него, изгибаясь, спадал вниз огромный ребристый ледяной столб, по которому кое-где сочилась вода и вился едва заметный пар. Левее голые желтые скалы образовали неприступную стену, обрушившуюся в одном месте. Здесь только и можно было начать подъем.

Наутро три пары самых сильных быков волокли облегченные нарты. Каждую пару тащил наверх один из нас, а другой поднимал и подталкивал нарты. Запасные олени шли следом, несмотря на страх, внушаемый им крутизной подъема. Медленно-медленно поднимались мы наверх по этой стене, при виде которой даже бывалый человек отказался бы от мысли втащить на нее нарты. Уже у самого верха обрыва, где подъем стал особенно крут, геолог поскользнулся и скатился вниз на оленей. Большой черный бык подхватил его на свои рога и в диком страхе двумя сильными рывками добрался до бровки обрыва. Там, на просторной площадке, мы повалились все без исключения — олени и люди, едва живые от изнеможения.

— Вот порог так порог! — воскликнул Алексей.— Страх берет вниз посмотреть... А если бы кто туда сорвался?

— От нарты один спичка останется, а от тебя один печенка вниз прилетит,— невозмутимо ответил проводник.

Оставалось пересечь речку и правым бортом долины ехать дальше. Чего бы, казалось, проще, но и тут внезапно возникшая опасность показала, что каждую секунду нам нужно быть начеку. На льду речки свежая наледь образовала гладкий и плоский бугор, чуть припорошенный сухим снегом. Едва мы въехали на бугор, олени заскользили. Спрыгнувшие с нарт люди сами скользили и падали и не были в силах удержать упряжки. Я сообразил, что все мы неудержимо сползаем к краю ледяного обрыва, с которого спадает на трехсотметровую глубину замерзший водопад... Раздался высокий, звенящий голос проводника:

— Держись, смерть близко ходи!

В страхе за судьбу товарищей я метнулся вперед,

уцепился за задок наиболее далеко сползших нарт, поскользнулся снова и упал. Девяносто килограммов моего живого веса, обрушившись на молодой лед, пробили в нем большую дыру, и таким образом я получил, наконец, твердую опору. Невзирая на воду, пропитавшую ватные брюки, я держал проклятые нарты, пока спутники не справились с оленями и не завернули их круто назад от пропасти. Выбравшись на правый борт распадка, в устойчивый снег, мы погнали оленей подальше от опасного места.

Ночевали мы уже на Ичончоките. С утра светлые легкие облака затянули все небо сплошным покровом. Невидимое солнце излучало сильный свет, дробившийся в облаках и отраженный снегом. Этот свет сглаживал все неровности, искажал перспективу и менял очертания предметов, крайне затрудняя передвижение. Кильчегасов с проводником только морщились, сплевывали и бранились, видя в этом неверном свете одну из особенностей чертова места.

Наконец спуск с перевала закончился. Котловина, в которой мы очутились, была невелика. Со всех сторон ее окружали гольцы, вершины которых терялись в молочно-белом покрывале, затянувшем небо. Прямо перед нами возвышались почти отвесные стены горного хребта, закрывавшего нашу цель,— то самое место, о котором рассказывал Кильчегасов.

Когда мы поставили палатку и запасли дрова, наши якуты занялись непонятным делом. Срубив высокие шесты, они прицепили к ним какие-то тряпки, заостренные дощечки и расставили вокруг лагеря, укрепив в мерзлой земле с помощью камней и льдин. Как я узнал, это была защита от черта. Он и в самом деле не замедлил вскоре появиться. Едва в котловине начали сгущаться сумерки, как раздались жуткий визг, скрежет и хохот, сменившиеся утробным воплем. Эти звуки, подхваченные и умноженные необыкновенно сильным эхом, произвели на меня такое впечатление, что я испугался, кажется, больше якутов, ожидавших появления черта. Геолог выскочил из палатки с ружьем, но ничего не увидел в угасавшем, неверном свете.

— Вот они! — вдруг завопил Алексей, тоже вышедший наружу, и показал на какие-то пятна, двигавшиеся над низкими ветвями скорченных берез и почти совершенно сливавшиеся с синевато-серым мерцанием воздуха.

Геолог вскинул ружье, длинная вспышка вылетела из ствола, и затем раздался такой потрясающий гром, что мы все остолбенели. Гром усилился; стихая затем, он уходил все дальше и разнесся по горам, как весть о дерзновенном вторжении человека. Что-то упало поодаль на снег и стало биться. Геолог бросился туда и принес громадную сову. Она скорее походила на филина, только с иным, молочно-белым цветом оперения, с черными пятнами и полосами на крыльях, спине и верхней части головы. Алексей с торжеством понес сову проводникам, не покидавшим палатки: вот, мол, ваши черти, смотрите! Но он, кажется, мало убедил якутов, объявивших, что здесь черта еще будет много.

Мы забрались в палатку и начали обсуждать план завтрашнего похода на голец с мамонтовыми бивнями. По недоступной летом долине речки Киветы мы, по уверениям Кильчегасова, должны были, пройдя пятнадцать километров, выйти в «чистое место» и оттуда подняться на плато с бивнями. Проводник не решался идти с нами: больные ноги не давали Кильчегасову этой возможности. Алексея мы решили оставить с якутами. Все складывалось так, что в пешеходный маршрут могли идти только я и геолог.

Только что мы приготовились заснуть, как вокруг снова все загремело. Глухие удары, зловещее рокотанье закончились адским, долго не стихающим грохотом. Я посмотрел на геолога, думая о лавине. Геолог спокойно сказал:

— Это камнепад, Георгий Петрович. Здесь необыкновенно крутые склоны вследствие больших молодых сбросов, так что, наверно, часто сыплется... А вдобавок еще необыкновенное эхо. В нем-то и заключается весь черт.

Мы рассмеялись и быстро нырнули в спальные мешки.

Ночью ослабевший за два последних дня мороз

стал усиливаться. Поднялся весьма неприятный хиуз¹. Ветер дул как раз в мою стенку палатки, пробираясь в спальный мешок и замораживая обращенный к стенке бок. Я проснулся от холода, но долго еще лежал, борясь с дремотой и ленью вылезать и затапливать печку. Наконец я все-таки выскочил из спального мешка и, трясаясь от холода, зажег заготовленную растопку, а сам скорчился у печки в ожидании живительного тепла. Дрова, потрескивая, медленно разгорались. Я сидел, думая о завтрашнем походе, и вдруг отчетливо услышал тяжелые шаги — грузный топот громадного животного. Шаги приближались к палатке, затем обошли палатку кругом. Алексей, спавший крайне чутко, проснулся и разбудил геолога. Топот возобновился, близкий и грозный. Я схватил свой винчестер, который, против обыкновения, взял в палатку, чтобы отогреть, а в случае чего и испробовать на черте действие свинцовой пули 351-го калибра. Геолог и я быстро выбежали из палатки, для чего нам пришлось перепрыгнуть через проводников, завернувшихся с головами в одеяло и упорно не желавших вставать. Небо расчистилось. Ущербная луна недобро кривилась над зубцами вершин. На ровном снегу не было видно никаких следов, сколько ни напрягали мы зрение. Мороз пробирал, и мы вскоре вернулись в палатку. При моем появлении Габышев приподнялся, сел и тревожно спросил:

— Ну, чего видел?

— Ничего.

— Так... И завтра след никакой не найдешь.

— А что это было по-твоему?

— Здешний хозяин ходи.

— Какой хозяин?

— Чего тебе не понимай? — рассердился якут. — Хозяин, я говорил!..

Я пожал плечами и больше не стал расспрашивать его, хотя так и не мог понять, что за «хозяин» бродил вокруг палатки.

Предраассветная мгла еще наполняла котловину,

¹ Хиуз — поземка, устойчивый холодный ветер.

когда я и геолог стали собираться в путь при свете свечи. Ружья решено было оставить — путь был не близкий, и нужно было идти совсем налегке, чтобы иметь возможность принести собранные образцы. Револьвер и медвежий нож заменили нам винтовку и топор. И все же наше снаряжение с anerоидом, фотоаппаратом, съемочной планшеткой и припасами получилось ощутительно весомым. Пока мы собирались и закусывали, рассвело. Проводник обошел с Кильчегасовым вокруг палатки и заявил, что ничьих следов, кроме следов наших оленей, нет...

Мы двинулись в путь и быстро пересекли котловину. Синий снег звонко скрипел под унтами.

— Опять под шестьдесят! — недовольно сказал геолог, натягивая на рот край шарфа.

Через полчаса мы достигли начала ущелья Киветы и углубились в него. Там еще было темно, и мы прошли несколько километров в пепельно-сером сумраке, прежде чем солнечные лучи достаточно осветили ущелье. Вид ущелья был необычен. Мы невольно говорили вполголоса, как будто боялись оскорбить какого-нибудь здешнего «хозяина». Ущелье имело в среднем не более четырех метров в ширину. Гладкие угольно-черные стены вздымались кверху или сходились со всем, образуя арки и тоннели, в которых царил густой мрак. Огромные бревна, ободранные, измочаленные, были крепко забиты поперек ущелья на высоте четырех-пяти метров над нашими головами, показывая уровень весенней воды. В стенах вода высверлила глубокие ниши и ямы — мельничные котлы; в них лежали круглые валуны диаметром с автомобильное колесо.

Замерзшее русло реки спадало уступами. Наледи текли во всю ширину ущелья, так что скоро торбаза наши промокли и обратились в комья льда, по которым мы время от времени с ожесточением колотили палками. Обледеневшие торбаза отчаянно скользили по ледяным уступам, а эти уступы становились все круче. В другое время, не зимой, речка представляла собой ревущий водопад, и никакие силы не помогли бы нам пройти здесь летом, весной или осенью. Тишина и теснота ущелья, черный цвет его стен — все

это действовало несколько угнетающе. Мы прошли уже около десяти километров вверх по ущелью, когда оно повернуло к югу и в какой-то просвет между нависшими сверху склонами проникли солнечные лучи. Здесь обрывистая стена обвалилась, и слагавшие ущелье породы выступали в свежем разломе. Это оказались слюдистые сланцы, из золотистой мелкой слюды. словно куски серебряного и золотого шелка, горели они в лучах солнца на стенах ущелья, совершенно его преобразив. Золотые и серебряные глыбы лежали повсюду на прозрачном изумрудном льду. Еще четыре километра по ледяным уступам — и мы вышли на маленькую круглую поляну, поросшую кедрами и заваленную большими камнями. Слева, теперь ясно видимый в чистом небе, возвышался голец Подлунный, как чудовищная каменная башня, заслоняя от нас весь северо-восток. Впереди виднелся прямой, словно обрезанный ножом, крутой уступ. Час быстрого хода — и мы, обливаясь потом в тяжелой одежде, взобрались на этот стометровой высоты обрыв, но не увидели ничего, кроме гранитного вала, загораживавшего нам дальнейший путь. Вал был невысок, и мы легко одолели и эту последнюю преграду. С гребня вала раскинулась перед нами цель тяжелого пути — небольшое плато с выпуклой поверхностью, окруженное редкими конусовидными сопками. Выпуклая поверхность плато была почти лишена снежного покрова. Поодаль, за кустами кедрового стланца, виднелось несколько острых глыб светлого гнейса, расположенных удивительно правильно — в виде буквы «П».

Продравшись сквозь заросли кедрового стланца, мы нашли на большой поляне несколько слоновых бивней — не мамонтовых, закругленных в полукольцо, а громадных, слабо изогнутых бивней, похожих на бивни самого большого африканского слона. Я насчитал четырнадцать штук. Самые большие были до трех метров длины. Слоновая кость почернела и с задних концов рассыпалась на мелкие кусочки. Зубов и других костей не было. С холма мы увидели в центре плато еще одну большую кучу слоновых бивней, которые лежали, наваленные как дрова, занимая большую

площадь. С радостными восклицаниями мы побежали вперед, обгоняя друг друга. Тут было несколько сотен бивней. Между ними кое-где торчали громадные кости, которые мгновенно рассыпались, едва мы притрагивались к ним.

Недалеко от вершины холма между острыми камнями виднелась глубокая промоина: не та ли «дырка в гольце», про которую упоминал Кильчегасов? В левом борту промоины мы разыскивали широкий заваленный вход и поползли внутрь. Сначала пришлось карабкаться под низкими оледенелыми сводами куда-то наверх, затем мы быстро скатились вниз и очутились в кромешной тьме. На счастье, в рюкзаке геолога оказался кусок свечи, которой суждено было в дальнейшем оказать нам еще одну важную услугу. Пещера была велика, с несколькими высокими ходами. На полу из наледи торчали кости животных. Мы углубились в наиболее высокий ход и в ту же минуту испустили дружный крик удивления. На гладких, отвесных стенах пещеры при свете свечи виднелись грубые, громадные изображения животных, сделанные или резкими штрихами, или превосходно сохранившимися красками — черной и красной. Эти рисунки были сделаны очень точно и верно и с удивительной выразительностью. В колеблющемся свете свечи они казались живыми. Вне себя от удивления я смотрел, как на черных стенах развевалась жизнь Африки. Вот огромные слоны с растопыренными, как крылья летучей мыши, ушами, антилопы, львы. Вот головы двурогих африканских носорогов...

— Черт возьми, носороги и слоны-то ведь африканские! — вскричал я.

Мы находили все новые рисунки. Вот пятнистая гиена с покатою спиной, жирафы, полосатые зебры. Африка в сердце скованных стужей сибирских гор! В пещере было сравнительно тепло. Я забыл про мокрые, обледеневшие торбаза; мне было жарко, словно меня коснулся знойный пламень африканского неба.

Пройдя дальше, мы обнаружили две ниши, заполненные бивнями слонов. Тут были собраны особенно большие, до четырех метров в длину. Сложенные шта-

белем, как дрова, они поблескивали под огнем свечи своей гладкой черно-желтой поверхностью.

Я увлекся и побежал было в другое большое разветвление пещеры, но меня остановил геолог, напомнив, что уже три часа. До темноты осталось не более полутора часов; нам нужно было торопиться. Ночевать в этом безлесном месте, на шестидесятиградусном морозе, в мокрой одежде было слишком опасно. Все же мы еще с полчаса торопливо продолжали поиски хоть каких-нибудь остатков тех, кто здесь жил и рисовал африканских животных. Нам хотелось как можно больше узнать о таинственных обитателях пещеры, но ничего, кроме двух каменных наконечников копий и еще какого-то неизвестного мне костяного инструмента, мы не нашли.

Солнце уже спустилось низко за горы, когда, навьюченные образцами зубов и бивней, мы поднялись на гребень гранитного вала и в последний раз окинули взглядом необычайное место. Быстрый поток мыслей пронесся в моем мозгу. Я вспомнил о великих переселениях африканских животных в Азию, о том, что перед оледенением в Забайкалье и части Монголии была жаркая степь, где жили страусы, антилопы и жирафы. Теперь я понял, что нашел крайний северо-восточный форпост Африки — место, куда до оледенения докатилась волна переселений.

Случилось действительно необычайное: тоскуя по Африке в морозных ущельях Сибири, я открыл в них кусочек земли, в древности бывшей Африкой и сохранившейся нетронутой с того времени. Кто же были эти таинственные древние люди, рисовавшие животных? Если они жили до оледенения, то, значит, они принадлежали к очень древней расе. В то время эта раса была уже сравнительно высокоразвитой, если судить по рисункам на стенах пещеры. Таких рисунков в Сибири и вообще в СССР пока никто не находил. В правильном расположении каменных глыб я обнаружил большое сходство с загадочными сооружениями из огромных камней, нередко встречавшимися в Центральной и Восточной Африке. Да, скорее всего, эти люди пришли сюда из Африки следом за потоком переселявшихся

животных — древние племена художников и мужественных охотников на гигантских слонов.

Ошеломленный находкой, я, по обыкновению каждого исследователя, быстро соображал, пытаюсь сразу же найти наиболее правдоподобное объяснение. И только постепенно я начал сознавать все значение нашего открытия. Теперь может быть решен старый спор ученых об одном или нескольких оледенениях, решен в пользу одного оледенения. Совсем по-новому придется пересмотреть прежние взгляды геологов на историю этой области Сибири в четвертичный период и представления зоологов о распространении животных и происхождении современной наземной фауны. И, наконец, самое интересное — люди, самые древние обитатели Центральной Сибири, неожиданно оказавшиеся современниками и, возможно, родственниками тех, которые до сих пор были найдены только на западе и юге. Да, ученым придется теперь всячески обдумывать открытие, добытое в результате труда и упорства кучки людей здесь, в оледенелых горах, под жестоким морозом...

Молча мы спустились вниз и пошли к речке, к началу ущелья, где мы оставили собранные в нем образцы пород. Геолог спросил меня, что я думаю о нашей находке. Я рассказал ему о своих размышлениях, и он согласился с моими догадками.

— Да, я тоже думаю, что эти кости и рисунки древнее здешних поднятий и оледенений, — сказал он. — Пещера промыта в известняках какими-то водами, а где теперь на высоте вы найдете столько воды? Когда вся эта огромная область подверглась поднятиям и оледенению, что было около пятидесяти тысяч лет назад, земная кора была здесь расколота на отдельные участки. Одни поднимались кверху и образовывали горные хребты, другие спускались, образуя котловины. А этот голец, который мы открыли, — словом, небольшой участок древней почвы, — был поднят на меньшую высоту, чем другие, и не претерпел оледенения и размыва. В то же время он не был опущен настолько, чтобы его завалило моренами и речными галечниками. Потому-то все на поверхности его сохра-

нилось нетронутым... ну конечно, не считая атмосферных влияний...

На этом наши ученые рассуждения оборвались. Наступившая ночь заставила нас все внимание сосредоточить на дороге. У входа в ущелье мы подобрали оставленные камни и вступили в полную темноту. За свою многолетнюю скитальческую жизнь я, кажется, не попадал в худшие переделки, чем этот ночной поход в ущелье Киветы. Мы то и дело проваливались в воду наледей. Все больше льда нарастало на наших торбазах. С тяжелым грузом за спиной было трудно двигаться по гладкому льду, а на уступах замерзших водопадов мы падали и катились вниз. Скоро и одежда наша обледенела. Все тело было избито. Не знаю, сколько километров мы прошли таким образом, но в конце концов мы остановились, не в силах продолжать этот путь. И в то же время мы знали: нужно идти дальше — долгий отдых без костра грозил гибелью. Разжечь костер не было возможности — кругом только скалы и лед. Вдруг я вспомнил о свече. Какое счастье, что я не бросил огарка после осмотра пещеры! В неподвижном воздухе свеча могла гореть, как в комнате. С трудом разожгли мы замерзший фитиль и двинулись дальше, поочередно неся свечу в высоко поднятой руке. Теперь ледяные каскады Киветы стали менее страшны — можно было осторожно скользить и скачиваться по ним. Остатки толстой «железнодорожной» свечи хватило почти на час. Когда снова нас окутал мрак, до конца ущелья осталось уже немного. Поздняя луна повисла над гольцами, освещая правую стену черного коридора высоко над нашими головами. Прошло немало времени, прежде чем черные стены разошлись и выпустили нас на свободу, в серебристое снежное поле. Теперь до палатки осталось не более четырех километров. Но леса не было, а следовательно, и тут сделать остановку было нельзя. Я прошел не более полукилометра по котловине и вдруг почувствовал, что перенапряженное сердце сдает. Трудный путь: почти сутки на морозе в шестьдесят градусов, в мокрой, тяжелой одежде, с грузом за плечами, нечеловеческое напряжение при спуске по

ущелью, и при всем этом — невозможность дышать глубоко, так как легкие не принимали ледяного воздуха...

Нужно ли удивляться, что даже два таких закаленных человека, как я и геолог, стали быстро сдавать в конце пути? Мое предложение бросить здесь рюкзаки с образцами и все другое снаряжение геолог выполнил, не теряя ни секунды.

Мы едва плелись по глухо хрустевшему снегу, подбавляя друг друга. Силы убывали с каждым шагом. Еще полкилометра, километр — и геолог зашатался, упал на четвереньки в снег и сел, тяжело дыша. Борясь со слабостью, я подошел к нему и стал уговаривать подняться, продолжать путь. Он ответил, что сейчас ему все безразлично, идти дальше он не может. И все же я заставил геолога подняться и пойти. Но через несколько сотен метров почувствовал, что и сам не могу двигаться. Огромным усилием воли я заставил себя отсчитать двести шагов, потом еще сто, потом пятьдесят и затем, подобно геологу, рухнул в снег. Блаженный покой охватил меня. Спать, спать — больше ничего!.. Слабо шевельнулась мысль, что заснуть — значит умереть... И я рассердился, услышав очень громкий топот. Это возвращался геолог, возвращалась жизнь, возвращалась невыносимая необходимость вставать и идти. Не помню, сколько еще времени мы шли бок о бок, боясь отойти друг от друга, боясь подумать об отдыхе...

Я наступил на тонкую ветку или сучок, скрытый под снегом. Необычайная громкость звука переломленного сучка дошла даже до моего угасающего сознания. Я вспомнил сразу все: и чудовищный гром обвала, и гулкий топот вчерашнего ночного гостя, и громкие шаги геолога... Остановился, содрал твердую, как кора, рукавицу и вытащил револьвер. Обыкновенный браунинг загредел, как пушка. Звук раскатывающейся волной пронесся по долине. Еще и еще я повторял свой гремящий призыв, пока не услышал усиленные эхом крики. Я сунул пистолет в карман и, едва разжав сведенные пальцы, опустился на колени рядом с геологом.

Мы задремали, но были разбужены приближающимся топотом: к нам спешили оба якута и Алексей. Услышав мои выстрелы, они сразу догадались, в чем дело. За пазухой Алексей принес флягу с горячим чаем и бутылку водки. Нас под руки довели до палатки, и мы, не раздеваясь, погрузились в крепкий сон. Алексей вскоре разбудил нас, чтобы покормить и уложить как следует. А наутро мы уже совсем пришли в себя. Припасы были на исходе, и, к радости якутов, мы решили спешно покинуть котловину, даже не разобрав образцов, принесенных на рассвете якутами. Нам хотелось встретить Новый год в менее унылом месте.

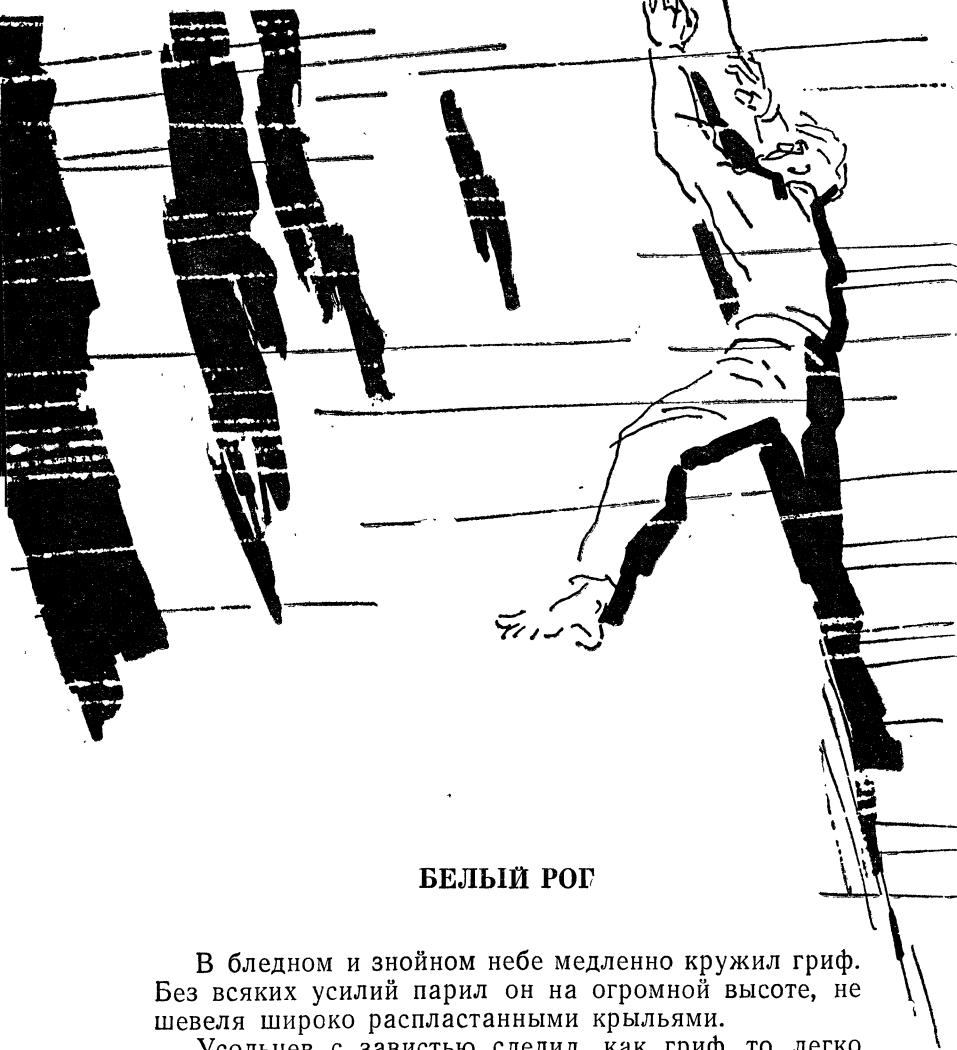
Габышев подошел ко мне, смущенно усмехаясь, подождал, пока я кончу обвязывать нарты, и тихо сказал:

— Я понимаю, какой ночью хозяин ходи, Кильчегасов тоже. Это звук такой сильный здесь, олень наш ходи...

Проводник весело рассмеялся и, подмигнув мне, направился к своим нартам.

Обратно по знакомой, проторенной дороге мы двигались гораздо быстрее.

Второй день нового, 1936 года застал нас совсем близко от долины Чары. Олени легко бежали по проложенному Кильчегасовым следу. Алексей пел заунывную песню о том, как «идет бодайбинец-старатель по Витиму в ужасный мороз». Нарты ныряли и качались подо мной, солнце весело блестело на белой ленте замерзшей реки...



БЕЛЫЙ РОГ

В бледном и знойном небе медленно кружил гриф. Без всяких усилий парил он на огромной высоте, не шевеля широко распластанными крыльями.

Усольцев с завистью следил, как гриф то легко взмывал кверху, почти исчезая в слепящей жаркой синеве, то опускался вниз сразу на сотни метров.

Усольцев вспомнил про необычайную зоркость грифов. И сейчас, как видно, гриф высматривает, нет ли где падали. Усольцев невольно внутренне содрогнулся: пережитая им смертная тоска еще не исчезла. Разум успокоился, но каждая мышца, каждый нерв слепо помнили пережитую опасность, содрогаясь от страха.

Да, этот гриф мог бы уже сидеть на его трупe, разрывая загнутым клювом обезображенное, разбитое тело...

Засыпанная обломками разрушающихся обнаженных скал долина была раскалена, как печь. Ни воды, ни деревца, ни травы — только камень, мелкий и острый внизу, обрывисто громоздящийся угрюмой массой вверх. Разбитые трещинами утесы, нещадно палимые солнцем...

Усольцев поднялся с камня, на котором сидел, и, чувствуя противную слабость в коленях, пошел по скрежетавшему под ногами щебню. Невдалеке, в тени выступающей скалы, стоял конь. Рыжий кашгарский иноходец насторожил уши, приветствуя хозяина тихим и коротким ржаньем. Усольцев освободил повод, ласково потрепал лошадь по шее и вскочил в седло.

Долина быстро раскрылась перед ним; иноходец вышел на простор. Ровный уступ предгорий в несколько километров ширины круто спускался в бесконечную степь, затянутую дымкой пыли и клубящимися струями нагретого воздуха. Там, далеко, за желто-серой полосой горизонта, лежала долина реки Или. Большая быстрая река несла из Китая свою кофейную воду в зарослях колючей джидды и цветущих ирисов. Здесь, в этом степном царстве покоя, не было воды. Ветер, сухой и горячий, шелестел тонкими стеблями чия.

Усольцев остановил иноходца и, приподнявшись на стременах, оглянулся назад. Вплотную к ровной террасе прилегала крутая коричнево-серая стена, изрезанная короткими сухими долинами, разделявшими ее гребень на ряд неровных острых зубцов. Посередине, как главная башня крепостной стены, выдавалась отдельная отвесная гора. Ее изрытая выпуклая грудь была подставлена знойным ветрам широкой степи, а на самой вершине торчал совершенно белый зубец, слегка изогнутый и зазубренный. Он резко выделялся на фоне темных пород. Гора была значительно выше всех других, и ее острая белая вершина походила на высоко взметнувшийся в небо гигантский рог.

Усольцев долго смотрел на неприступную гору, му-

чимый стыдом. Он, геолог, исследователь, отступил, дрожа от страха, в тот самый момент, когда, казалось, был близок к успеху. И это он, о ком говорили как о неутомимом и стойком исследователе Тянь-Шаня! Как хорошо, что он поехал один, без помощников! Никто не был свидетелем его страха. Усольцев невольно огляделся кругом, но палящий простор был безлюден — только широкие волны ветра шли по заросшей чием степи и лиловатое марево неподвижно висело над уходившей на восток горной грядой.

Иноходец нетерпеливо переступал с ноги на ногу.

— Что же, Рыжик, пора нам домой,— тихо сказал геолог коню.

И тот, словно поняв, выгнул шею и двинулся вдоль уступа. Маленькие крутые копыта отбивали частую дробь по твердой почве. Быстрая езда успокоила душевное смятение геолога.

С крутого спуска Усольцев увидел стоянку своей партии. На берегу небольшого ручья, под сомнительной защитой филигранных серебристых ветвей джидовой заросли, были раскинута две палатки. Поднимался едва заметный столбик дыма. Подальше, уже на границе степи, стоял толстый карагач, словно обремененный тяжестью своей густой листвы. Под ним виднелась еще одна высокая палатка. Усольцев посмотрел на нее и отвернулся с привычным ощущением грусти.

— Ребята не вернулись еще, Арслан?

Старообразный рабочий-уйгур, мешавший плов в большом казане, подбежал к лошади.

— Я сам расседлаю, а то пригорит у тебя плов... Есть не хочу, жарко...

Узкие темные глаза уйгура внимательно взглянули на Усольцева.

— Наверно, опять Ак-Мюнгуз¹ ездил?

— Нет... — Усольцев чуть-чуть покраснел. — В ту сторону, но мимо.

— Старики говорят — Ак-Мюнгуз даже орел не садится: он острый, как шемшир², — продолжал уйгур.

¹ Ак-Мюнгуз — Белый Рог (*уйгурск.*).

² Шемшир — меч.

Усольцев, не отвечая, разделся и направился к ручейку. Холодная прозрачная вода дробилась на острых камнях и издавала казалась лентой измятого белого бархата. Звонкое переливчатое журчанье было исполнено отрады после мертвых, раскаленных долин и свиста ветра.

Усольцев, освеженный умываньем, улегся в тени под тентом, закурил и погрузился в невеселые думы...

Сознание поражения отравляло отдых, вера в себя пошатнулась. Усольцев пытался успокоить свою совесть размышлением о признанной недоступности Белого Рога, но это ему не удалось. Глубоко задетый своей неудачей, он невольно потянулся к той, которая уже давно была его неизменным другом, но только... в мечтах.

Сегодняшняя неудача надломилась волю. Вопреки давно принятому решению, Усольцев поднялся и медленно пошел к высокой палатке под карагачом. Он вспоминал недавний разговор.

«Что пользы говорить об этом? — сказала она. — Все давно глубоко запрячено, покрылось пылью...» — «Пылью?» — гневно спросил Усольцев и, не сказав ничего, ушел, чтобы не возвращаться больше.

Работа снова нечаянно свела их вместе: она заведовала шлиховой партией, обследовавшей район его съемки. Больше двух недель палатки обеих партий стоят рядом. Но она так же далека и недостижима для него, как... Белый Рог. И вот он, избегавший лишних встреч, обменивавшийся с нею только необходимыми словами, идет к ней. Еще одно поражение, еще одно проявление слабости... Ну, все равно!..

На ящике у входа сидела и шила полная девушка в круглых очках. Она дружелюбно приветствовала Усольцева.

— Вера Борисовна в палатке? — спросил геолог.

— Да, читает запоем весь день.

— Входите, Олег Сергеевич, — раздался из палатки мягкий, чуть насмешливый голос. — Я узнала вас по походке.

— По походке? — переспросил Усольцев, откидывая полу входа. — Что вы нашли в ней особенного?

— Она у вас такая же угрюмая, как и вы сами!

Усольцев вспыхнул, но сдержался и осторожно взглянул в строгие серые, с золотистыми искорками глаза.

— Что-нибудь случилось?

— Ничего не случилось,— поспешно проговорил Усольцев.— Вы ведь скоро уезжаете, я и зашел вас проводить на прощанье.

— А у меня сегодня был день приятного безделья. Мои поехали в Подгорный за почтой. Управление телеграфировало еще на прошлой неделе об изменении дальнейшего плана. Должны прислать подробное распоряжение. Работа здесь кончена, и мы на отлете... Вот прекрасная книга, прислали по почте. Я весь день читала. Завтра тоже отдых, а там — в новые места, скорее всего на Кегень. Жаль, что здесь все было так неудачно. Нашли несколько кристаллов касситерита¹... и все. А месторождение, когда-то бывшее наверху, давно разрушено, снесено!

— Да, если бы уцелели более высокие вершины,— согласился Усольцев.

— Только Белый Рог,— вздохнула Вера Борисовна.— Но он неприступен, а сверху ничего не падает: должно быть, очень крепка порода. Мой совет — просите сюда пушку, чтобы отбить кусок Рога, а то плохо ваше дело: секрет останется неразгаданным,— весело закончила она.

Усольцев протянул руку к лежавшей на чемодане книге.

— «Восхождение на Эверест». Вот чем вы зачитывались весь день!

— Чудесная книга! На ее страницах лежит отблеск вечных снегов гималайских вершин. Меня захватила... как бы вам сказать... не самая атака Эвереста, а постепенное внутреннее восхождение, которое проделали в душе — каждый по-своему — главные участники атаки. Понимаете, борьба человека за то, чтобы стать выше самого себя.

— Я понимаю, что вы имеете в виду,— ответил

¹ К а с с и т е р и т — окись олова; тяжелый, твердый минерал.

Усольцев.— Но ведь они так и не поднялись на самую вершину Эвереста?

Глаза Веры Борисовны потемнели.

— Да, с вашей точки зрения, это было поражением. Они сами признавали это. «Нам нет извинения, мы разбиты в этом честном сражении, побеждены высотой горы и разреженностью воздуха»,— прочитала Вера Борисовна, взяв книгу из рук Усольцева.— Разве этого мало—выбрать себе высокую, невероятно трудную цель, пусть несоразмерную с вашими данными? Вложить всего себя в ее достижение. Я так ясно представляю себе Эверест! Роковая обнаженная, скалистая гора. На той недоступной высоте ужасные ветры, даже снег не держится. Вокруг—страшные пропасти. Рушатся ледники, скатываются лавины. И люди упорно ползут наверх, вперед... Если бы мы могли почаще ставить себе подобные завоеванию Эвереста цели!

Усольцев молча слушал.

— Но ведь только единицы способны на такие подвиги!—воскликнул он.—И Эверест в конце концов, он тоже только один в мире.

— Неправда, это просто неправда! У каждого могут быть свои Эвересты. Неужели вам нужны примеры из нашей жизни? А война—разве она не дала героев, поднявшихся выше своих собственных сил?

— Но тот, настоящий Эверест, он безусловен для всех и каждого,—не сдавался Усольцев,—а в выборе своего Эвереста можно ведь и ошибиться.

— Это вы хорошо сказали!—воскликнула Вера Борисовна. Она насмешливо посмотрела на Усольцева.—В самом деле, представьте себе, вы вкладываете все, что в вас есть, в Эверест, а на деле оказывается маленькая горюшка... ну, хоть вроде этих наших. Какой жалкий конец!

— Вроде этих наших?—вздвогнув переспросил Усольцев.

И в тот же момент с потрясающей отчетливостью вспомнил, как всего несколько часов назад он распластался на крутом каменистом откосе, по которому, как дробь, катились мелкие угловатые кусочки щебня.

Пытаясь удержаться, он прижимался к склону всем своим телом. Чувствовал, что при малейшем движении вниз или вверх он неминуемо сорвется со стометрового обрыва. Как медленно текло время, пока он, собирая всю волю, боролся с собой и, наконец решившись, толчком бросился в сторону, покатился, перевернулся и повис, вцепившись скрюченными пальцами в трещины камня.

Одинокая молчаливая борьба в смертной тоске...

Усольцев вытер выступивший на лбу пот и, не прощаясь, ушел...

* * *

Четыре головы склонились над придавленной камешками картой. Палец прораба царапал бумагу сломанным ногтем.

— Сегодня мы дошли, наконец, до северо-восточной границы планшета¹. Вот здесь эта долина, Олег Сергеевич. Там опять сброс², впритык стоят древние диориты³. Следовательно, конец нашего островка метаморфической толщи⁴ — последняя точка.

Прораб начал развязывать мешочки, торопясь до темноты показать образцы.

Усольцев разглядывал изученную до мельчайших подробностей карту. За извивами горизонталей⁵, стрелками, за цветными пятнами пород и тектоническими⁶ линиями перед геологом вставала история оружающей местности. Совсем недавно — что такое миллион лет по геологическим масштабам! — низкое ровное плоскогорье раскололось гигантскими трещи-

¹ Планшет — часть какой-либо карты.

² Сброс — опускание какого-либо участка земной коры, в то время как соседний остается в прежнем положении.

³ Диорит — родственная граниту порода.

⁴ Метаморфическая толща — пласты осадочных пород, измененных влиянием давления и температуры в более глубоких слоях земной коры.

⁵ Горизонталы — линии на карте, соединяющие точки равных высот.

⁶ Тектоника — отдел геологии, занимающийся изучением движения масс земной коры.

нами, вдоль которых большие участки земной коры задвигались, опускаясь и поднимаясь. На севере образовался провал; теперь там, в этой котловине, течет река Или и расстилается широкая степь. К югу от того места, где стоят их палатки, поднимается уступами хребет, как гигантская лестница. На самых высоких уступах работа воды, ветра и солнца разрушила ровные ступени, образовав беспорядочное скопище горных вершин. Верхние пласты на этих горах снесены. Они рассыпались и легли рыхлыми песками и глинами на дно низкой котловины. Но вот этот первый уступ должен хранить под покровом наносов те породы, которые исчезли на горах: его поверхность не подвергалась размыву. Если бы пробить верхний покров уступа шурфом или шахтой — ведь он не более тридцати метров толщины! Но для того, чтобы предпринять такую работу, нужно знать хотя бы приблизительно, что обещает исчезнувшая на горах верхняя толща. Ответ на этот вопрос может дать только Белый Рог: на его неприступной вершине уцелел маленький островок верхних слоев. Грань между темными метаморфическими породами и загадочным белым острием видна совершенно отчетливо — падение в сторону сброса. Следовательно, нет сомнения, что в опущенном участке эта белая порода полностью сохранилась. А гора словно заколдована: сколько ни искал он в осыпях разрушенной породы у ее подножия, он не смог найти ни одного куска, отвалившегося от Рога... Какая-то вечная, несокрушимая порода слагает белый зубец! Но ведь именно у подножия Ак-Мюнгуса были найдены два огромных кристалла касситерита — оловянного камня...

Нет, тайну Белого Рога надо раскрыть во что бы то ни стало! Только на этой вершине лежит ключ к рудным сокровищам, погребенным внизу. Олово! Как нужно оно стране! Это ясно сознает он, геолог. Значит, геолог и должен сделать то, чего не могут другие — те, кто не понимает всей важности открытия!

Усталые за день помощники Усольцева быстро заснули. Чистый холодный воздух опускался на теплую

землю. Лунный свет струился зеленоватыми каскадами по темным обрывам. Усольцев лежал в стороне от палаток, подставляя ветру горящие щеки, и старался уснуть.

Он снова переживал неудачную попытку восхождения на Белый Рог. Он считал чудом свое спасение от неминуемой гибели и в то же время знал, что еще раз повторит попытку.

«Теперь же, на рассвете! — решил он. — Пока не зашла луна, нужно достать зубила».

Усольцев встал, осторожно пробрался между веревками палаток к ящику со снаряжением и, стараясь не шуметь, принялся рыться в нем.

От дальней палатки послышалось тихое пение. Усольцев прислушался: пела Вера Борисовна.

«Узнаешь, мой княже, тоску и лишения, великую страду, печаль...» — разносился голос по выбеленной луной степи.

Усольцев захлопнул ящик и вернулся на свое место.

«Нет, подожду немного, пока не уедет. Если разобьюсь, еще подумает что-нибудь... Будто я из-за нее полез... Тут еще этот разговор об Эвересте... Хорош Эверест — в триста метров высоты!»

* * *

— Куда мы сегодня поедем, Олег Сергеевич? — спросил Усольцева прораб.

— Никуда — планшет окончен. Даю вам два дня на приведение в порядок съемки и коллекций. Потом поедете в Киргиз-Сай за подводой.

— Значит, переберемся поближе к границе?

— Да, в Такыр-Ачинохо.

— Это хорошо, там места куда лучше: горы выше и рощицы есть, не то что здешнее пекло. А вы сегодня будете отдыхать?

— Нет, проедусь вдоль главного сброса..

— К Ак-Мюнгuzu?

— Нет, немного дальше.

— Знаете, я забыл вам сказать. Когда я был в

Ак-Таме, мне рассказывал начальник погранотряда, что на Ак-Мюнгуз пробовали взбираться альпинисты. Приезжали какие-то спецы из Алма-Аты...

— Ну и что? — с нетерпением перебил Усольцев.

— Признали Белый Рог абсолютно неприступным.

* * * *

Облако пыли поднималось за рыжим иноходцем. Усольцев ехал изучать непобедимого противника. Белый Рог повис над ним всей своей выдвигавшейся в степь громадой, словно чудовищный бык, старающийся подняться из захлестнувших его волн каменного моря. Прямо к подножию горы ветер накатывал клубки сухих колючих растений. Здесь когда-то зияла трещина, здесь терлись друг о друга два передвигавшихся горных массива. Следы этого трения остались на груди утеса, поблескивая полированным камнем. Темно-серые и шоколадные метаморфические сланцы, пересеченные тонкими жилами кварца, были наклонены внутрь горы и образовали мелкослоистую поверхность обрыва — стену из тонких, плотно уложенных плиток. Как ни напрягал свое воображение Усольцев, но ни малейшей надежды подняться вверх хотя бы на полсотни метров с этой стороны Ак-Мюнгуса не было. Восточный отрог горы представлял собою острое, как нож, ребро, глубоко выщербленное в середине. Нет, единственный путь — с юго-западной стороны, из долины, отделяющей Белый Рог от других вершин, там, где Усольцеву уже удалось подняться почти на сто метров, то есть на треть высоты страшной горы. До вершины оставалось еще двести метров, и каждый из них был неприступен.

Закинув голову, Усольцев смотрел на острие горы.

Если бы иметь специальное снаряжение, крючья, веревки, опытных товарищей... Но где же взять все это? Альпинисты — и те отказались от подъема на Белый Рог.

Усольцев повернул коня и поехал вокруг Ак-Мюнгуса к устью сухой долины. «Эверест, Номियो, Макалу, Кангченгюнга — высочайшие пики Гималаев, —

думал он.— Что Гималаи? Совсем близко отсюда светящийся голубой Хан-Тенгри, алмазные зубцы Сарыджа. Красивые, грозные снежные вершины. Мир прозрачного воздуха, чистого света. Все это как-то невольно настраивает на подвиг. А здесь — низкие, угрюмые, осыпанные обломками горы, тусклое, лиловое от жары небо, пыль и дрожащее степное марево... Нет, не нужно преувеличивать, и этот ветренный палящий простор тоже прекрасен, и в этих обломках старых, полуразваленных гор есть свое особенное, грустное очарование. Даже в висящих у горизонта бледных, простых по очертаниям облаках тоже печать сухой, грустной Азии, страны обнаженного камня и высокого чистого неба».

В душном зное долины душу окутала тень пережитого здесь... Вот этот столб пегматитовой¹ жилы, похожей на рваное мясо, пересекающий темную массу сланцев... По выступам этого столба с серебряными зеркальцами слюды он тогда добрался до идущей наискось второй жилы. Но дальше пути не было. Он попытался ползти по крутому склону, извиваясь, как червяк. Склон оказался покрытым мелкими кусочками щебня, катившимися от малейшего прикосновения, как дробь, и не дававшими ни малейшей опоры. Здесь чуть было и не произошла катастрофа.

Усольцев спешил и поднялся на противоположный склон долины. Нет, ничего не выйдет, не обойдешь вот эту крутизну. Если бы одолеть северо-западное ребро, то оттуда почти до самого Рога ровная поверхность склона. А какими силами удержишься на ребре? Кто спустит веревку с самого пика? Усольцев проследил взглядом за протянутым мысленно канатом и вдруг заметил у основания белого зубца небольшую площадку, вернее выступ нижних черных пород, прирывающих к отвесной белой стенке. Поверхность площадки понижалась к зубцу и почти не была видна снизу.

¹ Пегматитовый — пегматит по составу сходен с гранитом, но более крупнокристалличен.

«Странно, как я раньше не видел этой площадки? Правда, сейчас она не имеет значения: добраться до нее — это значит добраться до зубца».

Усольцев устал стоять и, найдя удобный выступ, уселся, не спуская глаз с горы.

* * *

— Какой прохладный вечер! — Прораб лениво развалился на кошке в ожидании чая.

— Так бывает на середине луны, — пояснил Арслан. — Потом пять дней дует сильный ветер оттуда. — Уйгур махнул рукой в сторону Или. — Бывает совсем холодно.

— Отдохнем от жары перед отъездом. Верно, Олег Сергеевич?

Усольцев молча кивнул.

— Товарищ начальник какой стал: сидит, молчит. Раньше почему был другой? — Уйгур засмеялся мелким смешком, но глаза оставались серьезными. — Я понимаю: начальник Ак-Мюнгуз любит. Скоро ехать Ачинохо, как бросать будет? Баба лучше — собой тащить можно. Ак-Мюнгуз нельзя!

Молодежь расхохоталась; невольно улыбнулся и Усольцев. Ободренный успехом шутки, Арслан продолжал:

— У нас старый сказка есть, как один батур влез на Ак-Мюнгуз.

— Что ж ты раньше не говорил, Арслан? Расскажи! — воскликнул с интересом прораб.

— Джахши, чай готовлю, потом буду рассказать, — согласился Арслан.

Старый уйгур поставил на кошму чайник, вытащил пиалы, лепешки, уселся, скрестив ноги, и, прихлебывая чай, начал рассказ.

Несмотря на ломаную русскую речь уйгура, Усольцев слушал с жадным вниманием. Воображение его наделяло легенду яркими, горячими красками. Такой она, вероятно, и была на самом деле у этих поэтических жителей Семиречья.

Усольцева поразило, что, по словам уйгура, все это произошло сравнительно недавно — лет триста назад. Легенда так отвечала его собственным мыслям, что геолог не переставал думать о ней, когда все улеглись спать. Сон не шел. Усольцев лежал под яркими, близкими звездами, вспоминая рассказ Арслана и дополняя его новыми подробностями.

...Всей этой областью владел могучий и храбрый хан. Его кочевой народ обладал многочисленными стадами, постоянно умножавшимися благодаря удачным набегам на соседей. Однажды хан предпринял с большим отрядом далекое путешествие и дошел до Таласа. Недалеко от древних стен Садыр-Кургана хан наткнулся на целую орду свирепых джете¹. Завязался кровопролитный бой. Джете были разбиты и бежали. Хану досталась богатая добыча. Но больше всего радовался хан одной из пленниц, женщине необыкновенной красоты — возлюбленной побежденного предводителя. Она была похищена джете в Ферганской долине, на пути из какой-то далекой страны к своему отцу, служившему при дворе могущественного кокандского повелителя. Ее красота, совсем иная, чем у здешних женщин, околдовывала и зажигала сердца мужчин. Хан привез пленницу к родным горам, и здесь она, по древнему обычаю, стала любимой наложницей его и двух его старших сыновей.

Прошло два года.

Снега уже высоко поднялись на склонах гор, когда хан раскинул свой лагерь у края зеленой глади Каркаринской долины. К нему съезжались на пир владыки соседних дружественных племен. Все большее количество юрт вырастало на равнине.

Неожиданно к хану прибыл высокий мрачный воин. Он приехал совершенно один, не на коне, а на огромном белом верблюде с короткой, мягкой, как шелк, шерстью. Странен был и наряд его: лицо обвязано черным платком, на голове — золоченый плоский шлем со стрелой, широкая кольчуга спадала почти до колен, обнаженных и стянутых черными рем-

¹ Джете — в древности так назывались крупные разбойничьи отряды или племена.

нями. Меч, два кинжала, маленький круглый щит и большой топор на длинной рукоятке были его вооружением. Приезжий потребовал, чтобы его провели к хану. Неторопливо сложил он на белую кошму свое оружие, опустил на шею платок, закрывавший лицо, почитательно и смело поклонился владыке.

Его суровое лицо было отмечено следами большого и тяжелого жизненного пути — пути воина и начальника, пути храбреца, неспособного на низкие поступки. Хан невольно залюбовался чужеземцем.

— Великий хан, — сказал приезжий, — я приехал к тебе из далекой жаркой страны, где пламень солнца жжет мертвые пески на берегах горячего Красного моря. Трудны были мои поиски. Целый год блуждал я по горам и долинам от Коканда до синего Иссык-Куля, пока слухи и рассказы не привели меня к тебе. Скажи, у тебя ли находится девушка, прозванная вами Сейдюрush, взятая у джете Таласа?

Хан утвердительно наклонил голову, и воин продолжал:

— Эта девушка, хан, моя нареченная невеста, и я поклялся, что никакие силы неба и ада не разлучат меня с нею. Три года воевал я на границах Индии и в страшной пустыне Тар, вернулся и узнал, что родные, не дождавшись меня, послали ее к отцу. Снова пустился я в далекий и опасный путь, сражался, погибал от жажды и голода, прошел множество чужих стран — и вот я здесь перед тобою. Быстро мчится река времени по камням жизни. Я уже не молод, но все по-прежнему бесконечно сильна моя любовь к ней. Скажи, о хан, разве не заслужил я ее этим трудным путем? Верни мне ее, могущественный повелитель, — я знаю, не может быть иначе: она тоже долго и верно ждала моего возвращения.

Легкая улыбка пробежала по грозному лицу хана. Он сказал:

— Благородный воин, будь моим гостем. Останься на пир, сядь в почетном ряду. И после, вечером, тебя проведут ко мне, и сбудется, что начертал аллах.

Суровый воин принял приглашение. Веселье гостей возрастало. Наконец появились певцы. После любви-

мой песни хана о горном орле зазвучали стихи, восхваляющие Сейдюрush — возлюбленную хана и его сыновей. Хан украдкой взглядывал на чужеземца и видел, как все больше мрачнело лицо воина. Когда старый певец — гордость народа — пропел о том, как любит и ласкает Сейдюрush своих повелителей, чужой воин вскочил и крикнул старику:

— Замолчи, старый лжец! Как смеешь ты клеветать на ту, у которой недостойн даже ползать в ногах?

Ропот негодования пронесся по толпе гостей. Старшие вступились за оскорбленного певца. Пылких юношей возмутило презрительное высокомерие воина. Двое джигитов яростно бросились на чужеземца. Сильной, не знающей пощады рукой он отбросил нападавших, и вот на пиру хана засверкали мечи. Воин огромным прыжком метнулся к своему оружию, схватил щит и длинный топор. Прижавшись спиной к стене, встретил толпу врагов. Они разбились о него, как волны о твердый камень, отхлынули, бросились вновь. Два, три, пять человек упали, обливаясь кровью, а воин был невредим. С быстротою молнии рубил он направо и налево, повергая лучших джигитов. Все более грозным становилось лицо воина, все сильнее удары его топора. Но тут хан властным окриком остановил нападавших.

Несмотря отступила разъяренная толпа, сжимая мечи. Опустил топор и чужеземец и стал перед лицом врагов, неподвижный и страшный, обогранный кровью.

— Чего хочешь ты, чья дерзкая самонадеянность пролила столько крови? — гневно спросил хан.

— Правды, — ответил воин.

— Правды? Хорошо. Так знай же, я, не сказавший никогда лживого слова, говорю тебе: все, что пели певцы, — истинная правда!

Вздрыгнул чужеземец, выронив топор и щит. Старый и измученным стало его лицо.

— Что же, ты по-прежнему просишь отдать ее тебе? — спросил хан.

Воин сверкнул глазами и выпрямился, как распрямляется арабский клинок.

— Да, хан,— был твердый ответ.

В жесткой усмешке оскалил хан зубы:

— Хорошо, я отдам ее тебе, но ты заплатишь за это дорогой ценой.

— Я готов,— бестрепетно ответил воин.

Хан задумался.

— Теперь год быка¹,— обратился он к гостям.— Помните пророчество, написанное над входом древнего гумбеза, который стоит вблизи Ак-Мюнгуса? «В год быка, кто положит свой меч на рог каменного быка, пронесет свой род на тысячи лет». Несколько храбрецов погибли, пытаясь выполнить эту задачу, но Ак-Мюнгус остался недоступным. Вот твоя плата, храбрец,— повернулся хан к неподвижно слушавшему воину,— поднимись на Ак-Мюнгус и положи мой золотой меч на его вершину, исполни древнее пророчество, и тогда — слово мое твердо! — ты получишь женщину.

Радость и страх охватили присутствующих. Приказ хана звучал смертным приговором.

Но чужеземец не дрогнул. Его мрачное лицо осветилось гордой улыбкой.

— Я понимаю тебя, хан, и выполняю твою волю. Только знайте, ты, повелитель, и вы, его подданные, каков бы ни был конец — я сделаю это не ради своей любимой, не ради Сейдюрush. Я иду защищать поруганную ею честь своей гордой родины, вернуть в глазах вашего народа славу моей далекой страны. Милость всемогущего бога будет вести меня к высокой и славной цели!

По приказу хана оружейники принесли его знаменитый золотой меч, чтобы сохранился он навеки на вершине Ак-Мюнгуса. Залили салом волка ножны, обвили просмоленной тканью. Множество народа поехало к Ак-Мюнгусу. До него был целый день пути, и только к вечеру хан и его гости слезли с утомленных коней на широком уступе у подножия страшной горы.

¹ Год быка — мусульманский солнечный календарь имеет двенадцатилетний цикл, каждый год которого называется по имени животного.

Хан приказал чужеземцу отдохнуть, и тот безмятежно проспал ночь под стражей воинов.

Наутро выдался хмурый, ветреный день. Словно само небо гневалося на дерзость храбреца. Ветер свистел и стонал, обвывая неприступную кручу Ак-Мюнгазу. Чужеземец разделся и, оставшись почти обнаженным, привязал к спине ханский меч, а сверху накинул свой широкий белый бурнус.

И он сделал то, чего не удавалось ни одному храбрецу за все время, пока стоит Ак-Мюнгаз: он положил меч на вершину Рога и спустился обратно. Шатаясь, стоял он перед ханом, весь изодранный, окровавленный. Хан сдержал слово — к чужеземцу привели Сейдюрush. Она испуганно отшатнулась при виде его. Но воин властно привлек ее к себе, открыл ее прекрасное лицо и впился в него мрачным взглядом. Затем, мгновенно выхватив спрятанный за поясом острый нож, он пронзил сердце своей невесты. С яростным воплем сыновья хана бросились к чужеземцу, но отец гневно остановил их:

— Он заплатил за нее величайшей для человека ценой, и она его. Пусть уедет невредимым. Верните ему оружие и верблюда.

Чужеземец гордо поклонился хану, и вскоре его белый верблюд скрылся за далеким отрогом Кетменя...

* * *

Иноходец раскачивался под Усольцевым, копыта скользили по камням. Облака быстро бежали по небу, гонимые могучим напором ветра. Закрытые от солнца горы выглядели суровыми и хмурыми.

Усольцев спешил и нежно погладил иноходца, поцеловал его в мягкую верхнюю губу. Затем оттолкнул голову лошади, хлопнул по крупу. Рыжий конь отошел в сторону и, изогнув шею, смотрел на хозяина.

— Иди пасись, — строго сказал ему Усольцев, чувствуя, как горло сдавливает волнение.

Геолог снял лишнюю одежду, привязал к руке молоток. Он был нужен для забивания зубил на твердом обрыве Белого Рога и потом — если удастся...

Усольцев сбросил ботинки. Острые камни скоро изрежут ему ноги, но он знал: если он взлезет, то только босиком. Геолог повесил на грудь мешок с зубилами и двинулся к красному столбу пегматитовой жилы.

Окружающий мир и время перестали существовать. Все физические и духовные силы Усольцева слились в том губительном для слабых последнем усилии, достигнуть которого не часто дано человеку. Прошло несколько часов. Усольцев, сотрясаемый дрожью напряжения, остановился, прижавшись к отвесной каменной груди утеса. Он находился уже много выше места, откуда повернул направо при первой попытке. От главной жилы отходила тоненькая ветвь мелкозернистого пегматита, пересекавшая склон наискось, поднимаясь вверх и налево. Ее твердый верхний край едва заметно выступал из сланцев, образуя карниз сантиметра в два-три шириной. По этой жилке можно было бы приблизиться к срезу западной грани горы там, где она переламывалась и переходила в обращенный к степи главный северный обрыв Белого Рога. Выше склон становился как будто не столь крут, и была надежда подняться по нему на значительную высоту.

Усольцев предполагал забить в трещинах сланцев выше тонкой жилки несколько зубил и с их помощью удержаться на карнизе.

И вот, прилепившись к стене на высоте ста пятидесяти метров, геолог понял, что не может отнять от скалы на долю секунды хотя бы одну руку. Положение оказалось безнадежным: чтобы обойти выступавшее ребро и шагнуть на карниз, нужно было ухватиться за что-то, а вбить зубило он не мог.

Распростертый на скале, геолог с тревогой рассматривал нависший над ним обрыв. В глубине души поднималось отчаяние. И в тот же миг ярко блеснула мысль: «А как же сказочный воин? Ветер... да, воин поднялся в такой же бурный день...» Усольцев внезапно шагнул в сторону, перебросив тело через выступ ребра, вцепился пальцами в гладкую стену и... качнулся назад. С болью, будто разрываясь, напряглись

мышцы живота, чтобы задержать падение. В ту же секунду порыв вырвавшегося из-за ребра ветра мягко толкнул Усольцева в спину. Схваченное смертью тело, получив неожиданную поддержку, выпрямилось и прижалось к стене. Усольцев почувствовал, что он может двигаться по карнизу жилы, несмотря даже на подъем ее вверх. Он поднялся еще на пятьдесят метров, удивляясь тому, что все еще не упал. Ветер бушевал сильнее, давя на грудь горы, и вдруг Усольцев понял, что он может выпрямиться и просто идти по ставшему менее крутым склону. Медленно переставляя окровавленные ступни, Усольцев ощупывал ими кручи и сдвигал в сторону осыпавшуюся вниз разрыхленную корку. Медленно-медленно поднимался он все выше. Ветер ревел и свистел, щебень, скатываясь, шуршал, и Усольцева охватило странное веселье. Он словно парил на высоте, почти не опираясь на скалу, и уверенность в достижении цели придавала ему все новые силы. Наконец Усольцев уперся в гладкую отвесную стену высокого цоколя. На этом цоколе, все еще на большой высоте, стремился в облака острый конец Рога. Усольцев отметил, что белая масса Рога вблизи казалась испещренной крупными черными пятнами. Но это впечатление сейчас же стерлось радостью при мысли о том, что все его двенадцать зубил сохранились неизрасходованными. Стена примерно на высоту десяти метров была настолько плотна и крута, что никакие силы не помогли бы ему преодолеть это препятствие. Опытный глаз геолога легко находил слабые места каменной брони — трещины кливажа¹, места соприкосновения различных слоев. Усольцев забивал сюда зубила поглубже. Он взял с собой только самые тонкие и легкие зубила, а достаточно было одному из них сломаться, и...

Поднявшись по зубилам, геолог был вынужден перейти на южную сторону каменной башни. Головы слоев² образовали небольшие уступы — возможность

¹ К л и в а ж — система разной величины трещин, пронизывающих породу.

² Г о л о в ы с л о е в — края наклонных слоев, срезанных обрывом или какой-либо поверхностью.

дальнейшего подъема. Здесь ветер, бывший до того верным союзником, стал опасным врагом. Только прикрытие скалы спасло Усольцева от падения под ударами ветра. Несколько раз геолог срывался с осыпавшихся выступов и долго висел на руках, обливаясь холодным потом, судорожно нащупывая пальцами ног опору. Все большее число смертоносных метров подъема уходило вниз. Наконец Усольцев в последних отчаянных усилиях, дважды соскальзывая и дважды мысленно прощаясь с жизнью, сумел опять переброситься на западную сторону вершины и, вновь подхваченный ветром, уцепился за край площадки у основания Рога. Не думая о победе, без мыслей, словно оглушенный, он подтянулся на руках и повалился на наклонную внутрь ровную поверхность величиной с небольшой стол. Он долго лежал, изнуренный многими часами смертельной борьбы, слыша только однообразный резкий вой ветра, разрезаемого острым лезвием Рога. Потом в сознание вошли низко летящие над вершиной облака. Усольцев поднялся на колени, повернувшись лицом к загадочной белой породе. Она была теперь перед ним, упиралась в его плечо, вздымалась еще на несколько метров вверх. Ее можно было ощупать рукой, отбить сколько угодно образцов.

Достаточно было одного взгляда, чтобы распознать в белой породе грейзен — измененный высокотемпературными процессами гранит, переполненный оловянным камнем — касситеритом. В чисто белой массе беспорядочно мешались серебряные листочки мусковита¹, жирно блестящие топазы², похожие на черных пауков «солнца» турмалинов³ и — главная цель его предприятия — большие, массивные бурые кристаллы касситерита. Этот грейзен обладал особенностью, ранее неизвестной Усольцеву: от самого гранита почти ничего не осталось, его место занял молочно-белый кварц, очень плотный и крепкий.

¹ Мусковит — белая слюда.

² Топаз — прозрачный полудрагоценный камень.

³ Турмалин — полудрагоценный камень. Имеет много разновидностей. Часто встречаются лучистые скопления кристаллов («солнца»).

«Похоже на полностью измененную пластовую интрузию¹, — подумал Усольцев. — Если это так, то месторождение, скрытое под степью, внизу, может быть огромным».

Геолог взглянул вниз. Гора спадала туда круто и внезапно; основание ее тонуло в клубящейся пелене поднятой ветром пыли. Усольцев стоял как бы на неимоверно высоком столбе, ощущая беспредельное одиночество. Ему казалось, что между ним и миром там, внизу, оборвалась всякая связь. И действительно, между ним и жизнью лежала еще непройденная смертная грань: спуск был опаснее подъема.

И еще он подумал о том, что если ему суждено будет вернуться в жизнь, он вернется другим — не прежним. Сверхъестественное напряжение, вложенное им в достижение цели, как-то изменило его душу.

С усилием отбросив эти мысли, Усольцев принялся выполнять долг исследователя. Много труда стоило ему обнаружить тонкие, как ниточки, трещины в стекловидной слитности кварца. Вслед за этим под настойчивыми ударами молотка вниз с грохотом полетели крупные куски белой породы. Усольцев внимательно следил за их падением: они подскакивали на гранях горы и, свистя, летели в долину. Геолог отметил места их падения на плане, набросанном в записной книжке, затем аккуратно записал элементы залегания пород вершины, начертил контур предполагаемого месторождения и прибавил несколько слов о направлении поисков.

Он открыл первую страничку и поперек нее крупно и четко написал: «Внимание! Здесь данные об открытии мною месторождения Белого Рога», положил книжку в карман и застегнул пуговицу. На секунду мелькнула картина, как поворачивают его разможенный труп, ищут в карманах документы... Усольцев невольно зажмурился, размотал взятую с собой веревку. Она была коротка, но все же ее должно было

¹ Пластовая интрузия — вторжение расплавленной лавы между слоями осадочных пород. После остывания сама изверженная порода залегает в виде пласта.

хватить на спуск по отвесному основанию Рога до вбитых им зубил.

«Где же закрепить веревку? Вот за этот выступ? Выгоднее бы пониже, на самой площадке...»

В поисках трещины геолог начал разрывать молотком тонкий слой щебня. Ветер выл все сильнее, подхваченные им осколки щебня ударили по лицу и рукам Усольцева. Молоток вдруг звякнул о металл, и этот тихий звук потряс геолога. Усольцев вытащил из-под щебня длинный тяжелый меч, золотая рукоять которого ярко заблестела. Истлевшие лохмотья развевались вокруг ножен. Усольцев оцепенел. Образ воина — победителя Белого Рога из народной легенды — встал перед ним, как живой. Тень прошлого, ощущение подлинного бессмертия достижений человека вначале ошеломили Усольцева.

Немного спустя геолог почувствовал, как новые силы вливаются в его усталое тело. Будто здесь, на этой недоступной никому высоте, к нему обратился друг со словами ободрения. Усольцев накинул веревочную петлю на небольшой выступ белой породы. Осторожно поднял драгоценный меч, крепко привязал его за спину и, улыбаясь, положил на площадку свой геологический молоток...

У основания отвесного фундамента Белого Рога геолог остановился, выбирая путь. Прямо на Усольцева, гонимое ветром, выдвигалось облако. В полете огромной белой массы, свободно висевшей в воздухе, было что-то неизъяснимо вольное, смелое. Страстная вера в свои силы овладела Усольцевым. Он подставил грудь ветру, широко раскинул руки и принялся быстро спускаться по склону, стоя, держа равновесие только с помощью ветра, в легкой радости полета.

И ветер не обманул человека: с ревом и свистом он поддерживал его, а тот, переступая босыми ногами, пятная склон кровью, спускался все ниже. С бредовой невероятной легкостью Усольцев достиг узкого карниза, миновал и его. Тут ветер угас, задержанный выступом соседней вершины, и снова началась отчаянная борьба. Усольцев скользил по склону, раздирая

тело, кроша ногти, переворачивался, задерживался, снова сползал. Сознание окружающего исчезло совсем, осталось только ощущение необходимости цепляться изо всех сил за каждый выступ каменной стены, судорожно искать под собой ускользающие точки опоры, с жуткой обреченностью прижиматься к камню, борясь с отрывающей от горы беспощадно тянущей вниз силой.

Никогда позже Усольцев не мог вспомнить конец своего спуска с Белого Рога. В памяти сохранился только самый последний момент. Больше не осталось ни сил, ни воли. Усольцев коснулся ногами острого выступа камня, качнулся назад, отпустил изодранные руки и полетел вниз...

* * *

...Он открыл глаза и увидел над собой золотое утреннее небо. Совсем низко, так что виднелись растопыренные перья крыльев, кружил большой гриф.

Усольцев долго смотрел на птицу, прежде чем сообразил, что гриф спустился на этот раз прямо к нему. Нет! Он не только не погиб — он победил Белый Рог, и гриф не властен над ним. Усольцев попытался сесть. Что-то мешало ему. Геолог нащупал привязанный за спиной меч, освободился от него и сел.

И сразу ему вспомнились переживания вчерашнего дня. У него закружилась голова. С ужасом увидел Усольцев свои обезображенные, почерневшие от крови ноги и руки, изодранную и перепачканную кровью одежду. Сделав несколько движений, он убедился, что кости целы. Тогда, не обращая внимания на рвущую боль в ступнях, геолог встал. Он услышал приветливое ржанье своего коня и снова погрузился во мрак.

Холодная вода лилась на лоб, попадала в рот. Усольцев глотал без конца, утоляя ненасытную жажду. Открыв глаза, он снова увидел над собой голубой небосвод, на этот раз уже дышавший дневным жаром, и испуганное лицо старого уйгура. Геолог поднялся

на колени. Уйгур отступил от него с почтительным страхом.

— Чего ты боишься, Арслан? Я живой.

— Где ты был, начальник? — спросил Арслан.

— Там! — Усольцев поднял руку к небу. Над долиной торчал черный с теневой стороны выступ Ак-Мюнгюза. — Вот, смотри! — Он протянул уйгуру меч с золотой рукояткой.

Половина ножен отвалилась при спуске, из-под растрескавшейся бурой корки блестела драгоценная голубая сталь — сталь легендарных персидских оружейников, секрет изготовления которой ныне утрачен.

Старик опустился на колени, не притрагиваясь к мечу.

— Что же ты? Бери, смотри, — повторил геолог.

— Нет, — затряс головой уйгур, — никакой человек не смеет брать такой шемшир, только батуры, как ты...

* * *

Два больших шарообразных карагача, веером расходясь из одного корня, стояли на краю поселка. За ними поднимался затянутый голубой дымкой вал Кетменского хребта. Иноходец Усольцева миновал последний, поросший полынью холм. Узенькая степная тропа влилась в мягкую пыль наезженной дороги. Дорога поворачивала налево и у края зеленых садов соединялась с другой, направлявшейся на юг мимо промоин и обрывов красных глин. На ней вздымалось облачко желтой пыли, — крытая циновкой подвода катилась из Подгорного. Кто-то ехавший по краю дороги верхом вдруг повернул коня и понесся обратно, наперерез Усольцеву. Геолог натянул поводья. К нему подъехала Вера Борисовна.

— Я вас узнала издалека. — Она внимательно приглядывалась к нему. — Куда вы едете?

— Я еду в управление. Нужно немедленно организовать тяжелую разведку Белого Рога.

Усольцев впервые смотрел на нее спокойно и смело.

— Я поняла, что совсем не знаю вас...— негромко сказала Вера Борисовна, сдерживая пляшущую лошадь.— Я видела вашего Арслана...— Она помолчала.— Когда встретимся осенью в управлении, я буду очень просить вас подробно рассказать о Белом Роге... и золотом мече... Ну, мои уже далеко.— Она поглядела вслед подводе.— До свидания... батур!

Молодая женщина пришпорила коня и умчалась. Геолог проводил ее взглядом, тронул иноходца и въехал в поселок.



АЛМАЗНАЯ ТРУБА

Начальник главка раздраженно отодвинул наполненную окурками пепельницу и негодующе посмотрел на собеседника.

Тот, худой, маленький, седобородый, утонул в большом кожаном кресле, сжавшись, подобрал ноги. Глаза его поблескивали сквозь очки непримиримым упорством.

— Третий год работает Эвенкийская экспедиция — и никаких результатов! — бросил начальник.

— Как — никаких? А кимберлиты¹?

¹ Кимберлит — плотная туфообразная горная порода из группы ультраосновных, то есть с малым содержанием кварца и увеличенным — железа и магния.

— Вот, кстати, о кимберлитах. Вы знаете, что академик Чернявский дал о них отрицательное заключение? Он не признает эту породу за кимберлит. И вообще, Сергей Яковлевич, лично мне все ясно. Это ведь огромная, почти неисследованная страна. Экспедиция стоит дорого, особенно после того, как вы прибавили к ней маятниковую партию. Результатов же нет. Я категорически настаиваю на прекращении работ! У нашего института много более неотложных задач, и расходование крупных ассигнований на такого рода изыскания идет в ущерб практике. На этом кончим...

Начальник главка, недовольно морщась, бросил папиросу. Сидевший в кресле директор института, профессор Ивашенцев, резко выпрямился:

— Вы прекращаете дело, которое должно принести стране миллионы, и не только экономии, но и прямых доходов от экспорта!

— Это дело принесло пока только разочарования. Впрочем, я уже сказал, что для меня все ясно. Решение мое окончательное.

Начальник встал. Рядом с ним профессор казался совсем маленьким и беззащитным. Он молча поднялся с кресла, поправил очки. Потом пробормотал что-то невнятное и протянул начальнику круглый камень.

— Я уже видел это,— сухо сказал тот.— «Река Мойеро, река Мойеро»! Три года слышу! И эту гриквантовую породу¹ вы мне тоже показывали.

Профессор сгорбился над портфелем, застегивая непослушный замок.

Начальнику стало жаль ученого. Он подошел к Ивашенцеву:

— Сергей Яковлевич, вы должны признать мою правоту. Я не понимаю вашего упорства в этом вопросе...

— Всякой работой,— перебил Ивашенцев,— легче управлять, когда относишься к ней беспристрастно.

¹ Гриквант, гриквантовая порода — порода из смеси граната и оливина из очень глубоких зон земной коры.

А я не могу быть беспристрастным. Понимаете ли, я уверен в этом деле горячо, всей душой! Только огромные неисследованные, малодоступные пространства стоят между теоретическим заключением и реальным доказательством. Вы скажете, конечно, что этого уже достаточно для провала дела. Да, знаю: государственные деньги и все такое!..— начал сердиться профессор, хотя начальник и не думал возражать.— Железный закон экономики знаете? Чтобы миллион добыть, нужно семьсот тысяч затратить! А мы ведь сотни миллионов ожидаем...

С этими словами он направился к дверям.

Начальник посмотрел ему вслед и покачал головой.

Вернувшись в институт, профессор Ивашенцев приказал секретарю немедленно вызвать к нему начальника производственного отдела.

— Какие у вас последние сведения от Чурилина? — спросил он, когда тот вошел в кабинет.

— Последние сведения были месяц тому назад, Сергей Яковлевич.

— Это я знаю. А новостей никаких нет?

— Нет, пока ничего.

— Где они сейчас, по-вашему, могут быть?

— Чурилин сообщал о приходе на озеро Чирингда, на факторию. Они выступили вниз по Чирингде на Хатангу, и оттуда должны были перевалить в вершину Мойеро. Пожалуй, теперь они уже закончили этот маршрут и могут подходить к Туринской культбазе — таков был их план. Но план — одно, а тайга — другое...

— Это мне хорошо известно, благодарю вас.

Оставшись один, профессор Ивашенцев откинулся на спинку кресла и задумался. Перед его мысленным взором возникла карта огромной области между Енисеем и Леной. Где-то в центре ее, в хаосе невысоких гор, прорезанных бесчисленными речками и покрытых сплошным болотистым лесом, находилась экспедиция, посланная им за... мечтой. Профессор достал из портфеля камень, который он показывал начальнику главка. Небольшой кусок темной породы был плотен и тяжел. На грубозернистой поверхности скола мелкими каплями крови сверкали кристаллы пиро-

па — красного граната — и чистой, свежей зеленью отливали включения оливина. Эти кристаллы отчетливо выделялись на светлом голубовато-зеленом фоне массы хромдиопсида. Кое-где сверкали крошечные васильковые огоньки дистена¹. Порода очаровывала глаз пестрым сочетанием чистых цветов. Профессор повернул образец другой стороной, где на мазке белой эмалевой краски стояла надпись: «Река Мойеро, южный склон Анаонских гор, экспедиция Толмачева, 1915».

Ивашенцев вздохнул: «Ведь это типичный гриквэит Южной Африки! Ни в Анаонских горах, ни в долине Мойеро не удалось обнаружить даже признаков подобных пород. И в этом году опять неудача: Чурилин молчит. Значит, мечта не сбылась».

Ивашенцев взвесил камень на руке и запер в нижний ящик письменного стола. Потом решительно снял трубку внутреннего телефона:

— Отправьте Чурилину телеграмму: «Отсутствию результатов ликвидируйте экспедицию возвращайтесь немедленно»... Да, я подпишу сам, иначе он не послушает. Куда? На Туринскую культбазу. Ну разумеется, по радио, через Диксон.

Звякнул рычаг телефона, оборвав разговор и все возможности осуществления давнишней мечты Ивашенцева. Он снял очки и прикрыл глаза рукой.

Ивашенцев мечтал хотя бы на склоне лет добиться постановки исследования глубоких зон земной коры путем бурения скважин особой мощности. Но даже первые шаги к решению задачи — погоня за мечтой, скрытой в лесах и болотах Средне-Сибирского плоскогорья, — оказались напрасными. Ничему, как видно, не научила жизнь, и на шестом десятке профессор остался мечтателем, стремящимся к слишком большому размаху исследований.

Радиоволны понеслись из Москвы на северо-восток — над тундрами севера, холодными просторами Ледовитого океана — и достигли высоких мачт радио-

¹ Хромдиопсид и дистен — породообразующие минералы глубинных основных пород.

станции на голом острове. Через два часа новые волны промчались отсюда на юг, миновали хребет Быр-ранга, болота Пясины и пронесли над бесконечными лесами. На Туринской радиостанции застучал аппарат, и радиоволны запечатлелись в короткой фразе, четко написанной на голубом бланке.

— У тебя есть кто-нибудь из корвунчанских эвенков, Вася?

— А что?

— Срочная телеграмма экспедиции Чурилина. Они сейчас в вершине Корвунчана.

— Корвунчанских нет, однако завтра поедет Иннокентий к себе на Бугарихту. Парень хороший, пятьдесят километров лишних сделает, особенно если ты ему скажешь.

— Пойдем вместе его искать, я сразу и отдам ему телеграмму.

* * *

На широкую долину реки Ньюкюррак, в трехстах километрах от Туринской культбазы, опускались сумерки. Пологие склоны щетинились еловым лесом, угрюмо черневшим внизу. На плоском холме, загромождавшем с севера круглое болото, было еще совсем светло. Между редкими лиственницами стояли четыре темно-зеленые палатки, а перед ними на ровной площадке, покрытой светло-серым оленьим мхом, горел костер. Огня почти не было видно. Густой коричневый дым с резким, одуряющим запахом багульника¹ расплывался в спокойном воздухе. По правую сторону площадки возвышалась груда выючных ящиков, сум, тюков и седел. Туча мошки и комаров висела вокруг костра, за спинами людей. Сидевшие у костра старались держать головы на грани дыма и чистого воздуха, что давало возможность дышать и в то же время избавляло от упорно лезущего в глаза, нос и уши гнуса.

— Чай готов! — провозгласил черный, насквозь

¹ Багульник — многолетний болотный кустарник.

прокопченный дымом человек и снял с огня большое ведро, наполненное темно-бурой жидкостью.

Каждый из сидевших у костра вооружился объемистой кружкой и взял по огромной тунгусской лепешке, тяжелой и плотной — своеобразный хлебный концентрат. Мошка покрывала поверхность горячего чая серым налетом, который приходилось сдувать через край кружки. Люди с наслаждением прихлебывали чай, перебрасываясь короткими фразами.

В редкое позвякивание ботал разбредшихся внизу лошадей вплелся размеренный отдаленный звон.

— Слушайте, товарищи! Никак, наши идут.

Молодежь бросилась к палаткам за ружьями. Встреча отрядов одной экспедиции после долгой разлуки всегда является торжественным моментом в жизни таежных исследователей. Сумерки еще не успели сгуститься, как на большой прогалине северного склона водораздела появилась цепочка худых, утомленных лошадей, вяло поднимающихся вверх. Ободранные выюки, обвязанные измочалившимися веревками, свидетельствовали о долгом пути через густые заросли.

Загремели выстрелы. Прибывшие ответили нестройным залпом. К палаткам подъехал угрюмый плотный человек — геофизик¹ Самарин, начальник маятникового отряда. Он грузно слез с лошади. Шея его была кое-как обмотана грязным бинтом. Он поднял с лица черную сетку и шагнул навстречу начальнику экспедиции Чурилину — высокому, гладко выбритому человеку.

— Привет, товарищ Чурилин, — глухо сказал Самарин в ответ на дружеское приветствие начальника.

— Вот хорошо, как раз к чаю! Ну, что интересного?

— Кое-что есть. А пришлось тяжело... Я заболел, трех лошадей потеряли...

— Что с вами?

— Дрянь какая-то — мошка разъела, кругом воспаление.

¹ Геофизик — ученый, изучающий физическое состояние Земли.

— Чесались?

— Еще бы не чесаться! — сердито проворчал Самарин в ответ на укоризненный взгляд Чурилина. — У меня кожа не такая дубленая, как у вас. Теперь не знаю, как пойду в следующий маршрут.

Чурилин распорядился выдать всем понемногу из драгоценного запаса спирта. Прибывшие также расположились у костра. Громкие, веселые голоса перебивали друг друга, люди рассказывали о разнообразных приключениях. Начальник экспедиции уселся рядом с геофизиком, который, выпив чаю и закусив, немного пришел в себя.

— Модест Африканович, жажду ваших сообщений!

Самарин рассказал о пройденном им маршруте, широким углом охватывавшем район от реки Джеромо до Вилючана. На этом пути удалось сделать больше двадцати измерений силы тяжести¹.

— Везде довольно *большие положительные аномалии² — шестьдесят, восемьдесят. Но вот в одном месте я сделал даже три измерения подряд на небольших расстояниях. Получилось... — Геофизик сделал паузу.

— Не томите, Модест Африканович! — быстро сказал Чурилин.

Самарин довольно усмехнулся и продолжал:

— Получилось двести...

— Ого!

— Погодите: двести семьдесят и триста пять!

— Где? — взволнованно воскликнул Чурилин.

— Амнунначи... Обширное низкое плато, сплошная болотина, к востоку от Мойерокана.

— Мойерокана! Вот тебе и на!

Разговоры у костра стихли. Вновь прибывшие разошлись спать. Только сотрудники Чурилина, отдохнувшие за четырехдневную стоянку, остались у ко-

¹ Сила тяжести — подразумевается сила земного тяготения.

² Положительные аномалии — местные увеличения силы тяжести.

стра, с интересом прислушиваясь к разговору начальника с геофизиком.

— Ну, я замучил вас, Модест Африканович,— сказал Чурилин,— извините меня. Идите скорее отдыхать. Мы-то здесь уже так откормились, что не ложимся раньше полуночи.

Самарин неохотно поднялся и, стоя на коленях, свернул последнюю папиросу. Чурилин некоторое время пристально всматривался в его усталое, опухшее лицо.

— Хорошо быть геофизиком, Модест Африканович,— сказал он.— Точные задачи, ясные ответы — вот как у вас, например.

— Нашли чему завидовать!

Лицо Чурилина было серьезно.

— Я сравнивал мои и ваши исследования. Я восхищен могуществом геофизики! Я плохой физик и еще худший математик. Может быть, поэтому, как всякая незнакомая научная дисциплина, ваша работа представляется мне гораздо значительней, чем моя. Посмотрите хотя бы со стороны: прибор Штюкрата¹ устанавливают на намеченной точке. Внутри него мерно качаются два коротких тяжелых маятника, снабженных зеркальцами, отражающими свет от крохотных лампочек. И это все. В дальнейшем нужно только наблюдать совпадения периода качания маятника с ходом астрономических часов — хронометров. Впрочем, конечно,— слохватился Чурилин,— до этого еще нужно тщательно выверить прибор, провести наблюдения звезд для проверки часов. Но в общем-то как гениально просто! Качается маятник и едва уловимо отзывается на увеличение или уменьшение силы тяжести в данном месте. А в руках геофизика — это сказочный меч, незримо рассекающий на несколько километров вглубь толщи горных пород, это глаз, показывающий недоступные подземные глубины.

Самарин бросил в костер окурок и усмехнулся:

— Я, наоборот, ясно представляю себе всю бес-

¹ Прибор Штюкрата — маятниковый прибор для измерения самых незначительных колебаний силы тяжести.

помощность геофизики, обилие неразрешимых еще вопросов, несовершенство методов. И ваша геология кажется мне более ясной, более могущественной наукой, имеющей в своем распоряжении неизмеримо большее число фактов... Ну, я иду спать.

С уходом геофизика у костра наступило молчание. Столб пламени в высоте окаймлялся звездным венцом, едва слышно шипели дымокуры, и неумолимо ныли комары. Из долины по-прежнему доносилось позвякивание ботал лошадей.

— Максим Михайлович, неужели геофизика может легко решить то, над чем мы так долго бьемся? — осторожно спросил молодой геолог.

Чурилин невесело усмехнулся:

— Я говорил о могуществе геофизики не в этом смысле. Мы ищем алмазные месторождения. Почему мы ищем их именно здесь? Пять лет назад наш директор первый обратил внимание на необычайное сходство геологии здешних мест и Южной Африки. Средне-Сибирское и Южно-Африканское плоскогорья обладают поразительно сходным геологическим строением. Там и здесь на поверхность прорвались колоссальные извержения тяжелых глубинных пород. Сергей Яковлевич считает, что извержения были одновременными у нас и в Южной Африке, где они закончились мощными взрывами скопившихся на громадной глубине газов. Эти взрывы пробили в толще пород множество узких труб, являющихся месторождением алмазов. На пространстве от Капа до Конго известны сотни таких труб, и, несомненно, огромное их количество еще скрыто под песками пустыни Калахари. Алмазов хватило бы на весь мир. А вы знаете, как необходимы они в промышленности и для нашего дела — в бурении. Крупные компании скупили все месторождения. Из десятков богатых труб разрабатываются только пять, остальные обнесены проводами высокого напряжения и охраняются часовыми. Оно и понятно: пустить в разработку все месторождения — значит удешевить алмазы. В Советском Союзе не обнаружено до сих пор сколько-нибудь значительных месторождений, и если нам удастся отыскать подоб-

ные трубы, сами понимаете, как это важно! Здесь все удивительно сходно, кроме алмазов, с Южной Африкой — и платина, и железо, и никель, и хром; на этом Средне-Сибирском плоскогорье один с Африкой тип минерализации. Сергей Яковлевич подметил, что те районы в Южной Африке, в которых обнаружены алмазоносные трубы, отличаются положительными аномалиями силы тяжести. Она больше нормальной, потому что из глубин к поверхности поднимаются массы тяжелых, плотных пород — перидотитов¹ и гриквайтов. Аномалии доходят до ста двадцати единиц. Здесь в первый же год работы с маятником мы сразу уловили аномалии от сорока до сотни, а теперь... теперь вот обнаружили аномалии до трехсот единиц. Значит, здесь мы имеем большие скопления тяжелых пород. Но до решения нашего вопроса еще далеко. Маятник подтвердил нам еще одну черту сходства с Южной Африкой и дал косвенные указания на районы, в которых могут быть обнаружены месторождения алмазов. Я говорю «могут быть», но ведь столько же шансов, что и не будут обнаружены. В Южной Африке легко искать — там сухие степи, почти без растительного покрова, с энергичным размывом. Первые алмазы и были найдены в реках. А у нас здесь — море лесов, болота, вечная мерзлота, ослабляющая размыв. Все закрыто. И пока, за три года работы, мы имеем то же, с чего начали: только таинственный кусок гриквайта, найденный в гальке реки Мойеро! Эта порода из смеси граната, оливина и диопсида встречается только в алмазных трубах в виде округлых кусков в голубой земле, содержащей алмазы. И вот мы прошли всю верхнюю Мойеро, обследовали множество ключей и речек бассейна...

У потухавшего костра наступило молчание. Собеседники расходились один за другим. Чурилин сидел, глубоко задумавшись. Последние вспышки пламени бросали красные отблески на его сухое индейское лицо. Против Чурилина сидел, облокотившись на вьюч-

¹ Перидотиты — глубинные изверженные породы, состоящие преимущественно из оливина (ультраосновные).

ную суму и спокойно посасывая трубку, чернобородый, похожий на цыгана его помощник Султанов.

Ковш Большой Медведицы перекосялся в черном небе — подступало глухое время ночи.

«До окончания полевого сезона осталось не больше месяца,— думал Чурилин,— еще один короткий маршрут... И если вернуться опять с неудачей, наверно работы будут прекращены. В этих необъятных залесенных горах нужны десятки партий, много лет исследования. Но, во всяком случае, необходимо задержать экспедицию как можно дольше, нужно разбить ее на маленькие группы, чтобы успеть выполнить побольше маршрутов».

На южном склоне посыпались мелкие камни. Чурилин и его помощник насторожились. Неясный шум приближался. Затем в световой круг костра из темноты просунулась собачья морда с острыми, торчащими ушами. Послышалось тяжелое дыхание верхового оленя. К костру подъехал эвенк с пальмой¹ в руке. Опираясь на нее, он легко спрыгнул с оленя, и олень сейчас же лег. Круглое лицо эвенка улыбалось. Он осведомился, где начальник, и протянул Чурилину конверт с огромной сургучной печатью.

Чурилин поблагодарил вестника, пригласил поест и обещал два кирпича чая. Разворошив костер, Чурилин вскрыл конверт и, развернув листок голубой бумаги, прочитал. Глаза его сузились и заблестели недобрым огоньком.

Султанов внимательно посмотрел на него и вполголоса спросил:

— Плохие вести, Максим Михайлович?

Вместо ответа Чурилин протянул ему листок. Султанов прочитал и закашлялся, поперхнувшись слишком глубокой затяжкой. Оба они молчали. Потом Султанов тихо сказал, глядя поверх костра в ночь:

— Что же, это конец...

— Посмотрим! — ответил Чурилин. — Только молчание, Арсений Павлович.

¹ П а л ь м а — тяжелый нож-секач на длинной рукояти.

Чурилин взял телеграмму и бросил в огонь. Затем они вновь уселись у костра. Султанов достал листок бумаги и начал покрывать его вычислениями. Заготовленные к утру дрова кончились, когда Чурилин и Султанов ушли от угасавшего костра.

* * *

На рассвете следующего дня Чурилин поднял всех затемно.

Два каравана разошлись в разные стороны. Один, в двадцать восемь лошадей, растянулся длинной цепочкой между елями в долине Ньюкорака, направляясь с веселыми песнями на юг, домой. Оставшиеся четыре человека — Чурилин, Султанов, рабочий Петр и проводник Николай — с пятью лошадьми, навьюченными до предела, дали два прощальных залпа, поглядели несколько минут вслед уходящим и стали спускаться с холма в противоположную сторону. Там, за рядами однообразно расплывчатых гор, чернели кедровники высокого плато в вершине Люлюктана...

* * *

Движение вьючного каравана сквозь тайгу, поход через неисследованные области, «белые пятна» географических карт... Казалось бы, что может быть романтичнее покорения неизвестных пространств! На самом же деле только тщательная организация и твердая дисциплина могут обеспечить успех подобного предприятия. А это значит, что обычно не случается ничего непредвиденного: день за днем тянется размеренная, однообразная, тяжелая работа, рассчитанная далеко вперед по часам. Один день отличается от другого чаще всего числом преодоленных препятствий и количеством пройденных километров. В тяжелом походе душа спит, впечатления новых мест скользят мимо, едва задевая чувства, и механически отмечаются памятью. Потом, в более легкие дни или после вечернего отдыха, а еще вернее — после окончания похода,

в памяти возникает вереница воспринятых впечатлений. Пережитая близость с природой, обогащая исследователя, заставляет его быстро забыть все невзгоды и снова манит, зовет к себе.

Наступили жаркие дни. Солнце поливало тяжелым, густым зноем мягкую, мшистую поверхность болот. Его свет казался мутным от влажных испарений перегнившего мха. Резкий запах багульника походил на запах перебродившегопряного вина. Зной не обманывал: обостренные длительным общением с природой чувства угадывали приближение короткой северной осени. Едва уловимый отпечаток ее лежал на всем: на слегка побуревшей хвое лиственниц, горестно опущенных ветках берез и рябин, шляпках древесных грибов, потерявших свою бархатистую свежесть.

Комары почти исчезли. Зато мошка, словно предчувствуя грядущую гибель, неистовствовала, сбиваясь в мерцающие рыжевато-серые облака.

Маленький караван Чурилина уже давно шел через обширные болота Хорпичекана.

В сердце тайги царит душная неподвижность. Ветер, отгоняющий назойливого гнуса, здесь редкий и желанный гость. На ходу мошка еще не страшна — она облаком вьется сзади путников. Но стоит остановиться, чтобы осмотреть породу, записать наблюдения или поднять упавшую лошадь, и туча мошки мгновенно окутывает вас, липнет к потному лицу, лезет в глаза, ноздри, уши, за воротник. Мошка забирается и под одежду, разъедает кожу под поясом, на сгибах колен и щиколотках, доводит до слез нервных и нетерпеливых людей. Поэтому мошка является своеобразным «ускорителем», определяющим убыстренный темп работы на случайных остановках и сводящим к минимуму всякие задержки. И только во время длительного отдыха, когда разложены дымокуры или поставлена палатка, появляется возможность неторопливо оглянуться на пройденный путь.

Чавкали копыта лошадей, поскрипывали ремни и кольца выюков на седлах. Громадное болото скрывалось впереди в зеленоватой дымке испарений. Поко-

сившиеся столбы сухих лиственниц возвышались над редкими и чахлыми елями. Сосредоточенное молчание, в котором двигался отряд, иногда прерывалось вялой бранью по адресу того или другого коня. Впрочем, лошади, хорошо освоившиеся с тайгой за лето, трудились добросовестно. Понуриив головы, они шли цепочкой без всяких поводков. Эвенк Николай в мягких мокрых олочах, с палкой в руке и берданой за плечами, как-то особенно расставляя согнутые в коленях ноги, быстро семенил впереди каравана.

Позади всех шел со съемкой Султанов. На его раскрытую записную книжку падали капли пота, липли мошки, оставляя на страницах расплывчатые розовые пятна крови.

— Далеко до Хорпичекана? — задал Чурилин проводнику обязательный вечерний вопрос.

Холодная ночь заставляла всех придвигаться поближе к костру, разложенному на небольшой сухой релке.

— Не знаю, наша тут не ходи, — ответил проводник. — Я думаю, его шибко далеко нету.

Чурилин с Султановым переглянулись.

— Двадцать дней уже крутимся вокруг Амнунначи, — тихо сказал Султанов. — Собственно, Хорпичекан — последняя речка.

— Да, — согласился Чурилин, — больше нет никакой зацепки. Все Амнунначи — сплошная болотина, низенькое, ровное плоскогорье. Если Хорпичекан ничего не покажет, придется поворачивать ни с чем. И так без лошадей можем остаться, зимы хватим.

Только на второй день удалось дойти до таинственного Хорпичекана, ничем не замечательной речки с темной водой, быстро струившейся между извилистыми берегами. С высоких подмывов почти до воды свисали жесткие космы густой травы. При ширине не более трех метров речка была глубока.

Дрова из ивняка и черемухи плохо горели, костершипел и сильно дымил, разгоняя мошку. Эта неудобная стоянка была решающей. Но что могла дать глубокая болотистая речка, лишенная всяких обнажений

коренных пород? Даже гальки — показателя состава пород в верховьях речки — не нащупывалось на вязком, илистом дне.

В этот вечер луна не светила на мрачное болото: приход на Хорпичекан совпал с переменной погоды. Редкие тусклые звезды загорались и гасли, показывая передвижение невидимых облаков. К полуночи молчаливое болото ожило — зашумел ветер. Стал накрапывать редкий дождь.

Утром холодный туман быстро поднялся вверх: признак ненастья. Без солнца невеселая местность стала еще угрюмее, рыжеватая площадь болота посерела, воды Хорпичекана казались совсем черными.

Султанов длинным шестом ткнул в дно:

— Придется нырять!

Нашупав мелкое место, в котором палка сквозь жидкую глину упиралась в какие-то камни на дне, Чурилин первым разделся и бросился в ледяную воду.

— Вот вам три камня! — крикнул он, вылезая на берег. — Бегу одеваться в палатку, а то мошка съест. Бейте, Арсений Павлович.

— Угlistый сланец и диабаз¹, — сказал Султанов, заглядывая через несколько минут в палатку. — Все то же самое!

— Нет, не могу я так бросить начатое дело! — Чурилин взглянул на Султанова. — Мы пойдем в вершину Хорпичекана, в центр Амнунначи. У меня какое-то предчувствие: здесь что-то есть, или вся наша затея — погоня за несбыточным... Давайте завьючиваться, не теряя времени.

— Ух, и надоело! — засмеялся Султанов, обвязывая свернутую в гюк палатку. — Подумайте только, который уж месяц! Вечером все развязать, разложить, утром собрать и снова связать. И так каждый день...

* * *

Шесть дней под непрерывным мелким дождем шел караван на северо-восток. Следы человека, зимних

¹ Д и а б а з — излившаяся глубинная древняя порода, аналогичная базальтовым лавам.

кочевков эвенков исчезли; ни одного порубленного дерева не встречалось маленькой партии. Вершина Хорпичекана пряталась в чаще густого мелкого ельника.

Оглянувшись назад, перед тем как войти в заросли, Чурилин увидел позади почти весь путь последних двух дней. В прояснившемся на несколько часов воздухе дрожали влажные испарения, придавая обширному пространству болота призрачный вид.

Чурилин и его товарищи насторожились: болото пересекали два больших лося. Они шли спокойно, не видя людей. Высокие ноги животных двигались неторопливо, но размашистый шаг легко и быстро нес массивные тела по топкой, пропитанной водой толще мха. Передний лось закинул назад огромные рога, поднял голову и каким-то презрительным взглядом оглядел покорные ему пространства болот. Животные скрылись за неровной серой гребенкой сухих лиственниц.

— Досадно смотреть! — произнес Султанов. — На таких длинных ногах никакое болото не страшно. В день по двести километров можно делать! — Он с огорчением поглядел на свои ноги в тяжелых сапогах.

Чурилин рассмеялся, а проводник расплылся в улыбке, хотя и не понял, о чем шла речь.

— Мясо, однако, здесь будет! — весело сказал эвенк.

Чувство тревоги не оставляло Чурилина. Времени на работу, собственно, уже не было. Они двигались вперед за счет срока, необходимого на возвращение. И все-таки маленький отряд все глубже забирался в удаленные от больших рек безлюдные болота.

Центр Амнунначи вполне соответствовал данному эвенками названию: это была совершенно безлесная равнина, покрытая кочковатой сухой травой, на серо-желтой поверхности которой выделялись темные пятна моховых полей. Равнина постепенно понижалась, охваченная вдали едва видной щеткой низкого леса.

Только налево горизонт закрывался чернеющей ровной полосой: там местность, видимо, имела более крутой спад и выступали далекие горы. Вскоре небо затянулось ровной свинцовой пеленой, снова заморосил дождь. Огромное пространство труднопроходимых болот, в которых затерялись четыре человека, давило и угнетало, внушая мысли о недостаточности человеческих сил. Как бы ни хотелось человеку выбраться отсюда, только недели, только месяцы могли освободить его из этого плена. И не случайно Султанов позавидовал лосям: самый сильный человек, самые привычные ноги смогут сделать за день по мягкому моховому покрову, хлюпающей грязи, цепляющейся траве и багульнику не более тридцати тысяч шагов. И если их нужно полмиллиона, чтобы выйти из этих болот, кричите, бейтесь в тоске, зовите кого хотите — ничто вам не поможет. Тридцать тысяч шагов, и из них ни одного неверного. Иначе, попав между кочками, корнями, в щели каменных глыб россыпей, треснет хрупкая кость. Тогда — гибель.

Караван повернул под прямым углом налево, к далекой долине Мойеро.

За сеткой дождя ничего не было видно, целыми днями шли только по компасу.

Чурилин и Султанов почти не разговаривали, рабочий с эвенком тоже молчали.

Ночью жалобно звенели ботала лошадей, голодные кони толклись вблизи палатки.

Иногда раздавался хриплый короткий рев лося — началось время осенних боев между самцами...

* * *

На повороте только что проложенной тропинки Чурилин увидел остановившийся караван. Лошади сбились в кучу.

— Максим Михайлович, идите скорее! Воронок напоролся! — крикнул Петр с отчаянием в голосе.

Чурилин подошел. Молодой вороной конь был уже освобожден от вьюка и седла и стоял в стороне. По

коже его пробежала крупная дрожь, задние ноги подгибались.

— Провалился сразу обеими ногами — и на пенек брюхом, — мрачно пояснил Султанов.

Кровь широкой струей сбегала по левой задней ноге Воронка. Конь пошатнулся и поспешно лег.

— Что делать, Арсений Павлович? — осмотрев рану, спросил Чурилин.

— Что тут сделаешь? — Султанов отвернулся и пошел в сторону. — Только я не могу...

Жалость к животному больно кольнула Чурилина. Но караван стоял, и Чурилин, слегка поблуднев, взял бердану и лягнул затвором. Ствол стал медленно подниматься к уху Воронка. Петр, застывший было в горестной неподвижности, сорвался с места и вцепился в бердану:

— Максим Михайлович, не стреляйте! Говорю вам, Воронок поправится, сам пойдет за нами...

Слезы текли по его щекам.

Чурилин охотно уступил просьбам Петра. Груз, который нес Воронок, распределили между тремя другими лошадьми, седло взвалили на четвертую. Воронок лежал и, вытянув шею, следил за исчезающим вдали караваном...

Справа, у крутого бугра, из расплывчатой светлой грязи талика совсем незаметно возник маленький ручеек.

— Камни, Максим Михайлович! — И Султанов указал на небольшую возвышенность посередине ручья.

Крупные округлые гальки с красным налетом железа просвечивали сквозь воду.

— Я посмотрю. — Чурилин шагнул к ручью. — А вы скажите Николаю, что сегодня будем идти до полной темноты.

Султанов поспешил к проводнику. Эвенк, выслушав распоряжение, хмуро кивнул головой и объявил, что сам знает: надо торопиться.

От ручья донесся голос Чурилина:

— Стой, Арсений Павлович!

Сердце Султанова учащенно забилося. Он бро-

сился назад. Чурилин размахивал куском камня и от волнения не мог произнести ни слова. Он молча сунул Султанову разбитый камень, а сам принялся лихорадочно выбрасывать на берег один за другим ослизлые валуны. Султанов взглянул на свежий раскол породы — и вздрогнул от радости. Кроваво-красные кристаллики пироба выступали на пестрой поверхности смеси с оливковой и голубой зеленью зерен оливина и диопсида.

— Грикваит! — крикнул Султанов.

И оба геолога принялись ожесточенно разбивать набросанную Чурилиным гальку.

Вязкая, плотная порода с трудом поддавалась ударам молотка. Каждый новый раскол открывал ту же пеструю грубозернистую поверхность. Султанов полез в ручей за новыми камнями, и только когда перед геологами предстал излом другого характера — темной, почти черной поверхности с зелеными точками, — Чурилин выпрямился и вытер пот с лица.

— Уф! — вздохнул Султанов. — Почти сплошь галька из гриквита. А этот уж не кимберлит ли?

— Думаю, что да, — подтвердил Чурилин. — Из разрушенной части интрузии¹.

Руки Чурилина, свертывавшие папиросу, дрожали.

— Это не галька, Арсений Павлович, — тихо и торжественно проговорил он. — Такие валуны слишком крупны для маленького ручейка.

— Значит, ручей размыл... — Султанов в нерешительности остановился.

— ...элювиальную россыпь² гриквита порода! — твердо окончил Чурилин. — Вспомните-ка, ведь гриквитовые обломки встречаются в африканских трубах в виде валунов, они округлены при извержении.

Впервые за много дней Чурилин широко и светло улыбнулся.

¹ Интрузия — внедрение расплавленных пород (магмы) в трещины, пустоты или между слоями в отдельных участках земли.

² Элювиальная россыпь — месторождение, образовавшееся на месте без переноса или смещения продуктов разрушения горных пород.

— Та-ак...— протянул Султанов.— Значит, нам нужно к вершине ручья, туда, где еловая релка... Поворачивай обратно! — крикнул он подошедшим Николаю и Петру.

Эвенк, сощурившись, внимательно следил за радостными лицами своих начальников, а Петр хлопнул Буланого по крупу:

— К Воронку вертаемся, дурья башка!..

* * *

С треском рухнула срубленная ель, за ней повалилась другая. В молчании темного леса гулко разносились удары топора.

Усталые люди присели покурить.

— Воронок-то наш поправляется, только еще хромает,— сообщил Петр, ходивший смотреть коней.— Я что говорил?.. Только тощают конишки, прямо тают — трава вся посохла.

Севший с вечера туман к утру лег сплошным покровом инея. Болото заискрилось, засверкало. Под елями по-прежнему было темно. В сумраке громоздились поваленные стволы, покрытые наростами грибов. Грибы волнистыми оборками торчали на пнях и корнях, цвели всевозможными оттенками красного, зеленого и желтого, издавали гнилостный запах и по ночам отливали едва заметным фосфорическим светом. Бугор был обиталищем сов. Пучеглазые любопытные птицы в сумерках восседали на ветвях близ лагеря и, склонив набок головы, рассматривали людей яркими желтыми глазами. Ночью их крики надрывно разносились в гуще ветвей, перекликаясь с ревущими на болоте лосями.

Люди рылись в земле, изредка уделяя время сну и еде, ожесточенно долбили кирками твердую и вязкую глину. Не хватало инструментов. Вечномерзлая почва плохо поддавалась. Только огромные костры, разложенные в шурфах¹, заставляли ее усту-

¹ Ш у р ф — колодеобразная разведочная выработка.

пать. Тогда на смену появлялся другой враг — вода. Два шурфа пришлось бросить: они попали внизу на талики и мгновенно заполнились водой.

Чурилин рассчитывал встретить коренную породу¹ на двух-трех метрах от поверхности. Однако и эта ничтожная глубина давалась с большим трудом.

Еще один шурф был заложен на самой вершине холма. Дым от костра заполнял еловую рощу, стелился над мохнатыми ветвями, длинным сизым языком выползал на болото и смешивался вдали с холодной, сырой мглой.

Проводник принес на плече еще один сухой еловый ствол, бросил в костер и решительно подошел к Чурилину:

— Начальник, говорить надо. Кони скоро пропади, наша тоже пропади. Мука кончай, масло кончай, охота ходи не могу, работай надо. Плохой, шибко плохой дело, ходить надо ско-оро!

Чурилин молчал. Проводник лишь высказал вслух давно мучившие Чурилина мысли.

— Максим Михайлович,— вдруг предложил Султанов,— пускай он с Петром уводит лошадей, а мы с вами добьем шурф. Инструмента все равно только на двоих. А мы потом по реке, на плоту...

Чурилин быстро шагнул к своему помощнику, внимательно взглянул в его похудевшее, заросшее черной бородой лицо, в налившиеся от дыма и бессонницы глаза и отвернулся...

— Вы пойдете со всем грузом прямо на Соттыр,— спокойно говорил он через несколько минут проводнику и помрачневшему Петру.— Там, в поселке, сдадите лошадей. Я обо всем договорился еще весной с начальником полярной станции. Я дам письмо, чтобы вас снабдили продуктами, а Петра доставили в Джергалах. Там он пусть заготовит лодку и ждет нас. Может быть, успеем сплавиться по Хатанге до аэропорта. Николай получит в Соттыре продуктами, деньги выдам сейчас — пусть возвращается к себе.

¹ Коренная порода — твердое основание под рыхлыми, молодыми наносами.

Как дойдете до Мойеро, оставьте все продовольствие, какое сможете выделить, на видном месте. Путь отмечайте засечками, мы пойдем следом. Сколько отсюда до Соттыра?

— Не знаю.— Эвенк покачал головой.— Километра триста будет, однако.

— Ну вот, а до Мойеро пятьдесят.

— Нет, здесь тебе Мойеро ходить нельзя: слишком большой порог много. Через горы, та сторона ходи, тогда останется только маленький порог.

— Ну, сто километров?

— Сто ли, сто двадцать, однако, будет...

* * *

На еловом бугре стало совсем одиноко и тихо. Палатку увезли; вместо нее был устроен балаган из еловых лап. Горевший перед ним костер чуть дымился под дождем.

Султанов проснулся ночью от холода. Все тело ныло. Мучительно не хотелось вставать, казалось просто невозможно пошевелить рукой. С огромным усилием Султанов поднялся и разбудил Чурилина. Тот быстро встал, выпил кружку пустого чаю и начал искать впотьмах лежавшую где-то у костра короткую шурфовочную кайлу.

Пламя костра заметалось, оживленное новой порцией сухих дров. В шурфе, углубившемся в землю уже на два с половиной метра, было совершенно темно. Чурилин долбил кайлой наугад, выгребая комья глины руками в ведро, которое время от времени поднимал наверх на веревке Султанов.

Боясь затопления, геологи не протаивали мерзлоту огнем, предпочитая мучительно медленную, но более верную работу в мерзлой почве. Вода и так уже стояла в яме на четверть, и каждый удар кайлы сопровождался громким всплеском.

Чурилину казалось порой, что он работает согнувшись в этой тесной, сырой яме уже много лет. Уже давно он только и слышит глухое бунчанье породы,

звяканье ведра, копаются ободранными, распухшими пальцами в жидкой ледяной грязи.

— Довольно вам, уже двадцать пять ведер нарыли! Теперь моя очередь! — крикнул сверху Султанов как раз в тот момент, когда Чурилин почувствовал, что больше не сможет поднять кайлу.

Он выбрался из шурфа, упираясь в стенки ногами и руками, и тяжело опустился на мокрую глину.

Султанов исчез в яме, и оттуда послышался его приглушенный голос:

— Подходяще! Ну и сила у вас, Максим Михайлович! Еще четверть метра осталось, мелкие камешки уже звякают... Нет, дальше опять глина.

В то же время Султанов ощутил, что глина пошла несколько другого рода: по-прежнему плотная, она отворачивалась крупными кусками; неподатливая, липкая вязкость исчезла.

Ведро за ведром таскал Чурилин, и горка вынутой глины все увеличивалась. Уже подходила к концу длинная осенняя ночь, когда Султанов слабо и хрипло крикнул из шурфа:

— Камни пошли! Один крупный есть, тащите!

Последнее ведро показалось Чурилину невероятно тяжелым. Он извлек липкий, холодный и тяжелый кусок породы и у костра разбил его молотком. Темная матовая порода в мерцающем свете пламени ничем не отличалась от надоевших за время пути диабазов.

— Ну что? — нетерпеливо спросил снизу Султанов.

— Не знаю, темно, — не желая огорчать товарища, ответил Чурилин и бросил куски камня на кучу вырытой глины. — Вылезайте, нужно поспать. Шесть часов, скоро рассвет.

* * *

Хотелось долго-долго спать. Но время текло немолимо, и в девять часов оба геолога были уже на ногах и готовили скудный завтрак.

— Как ни тяжела работа, а порции придется уменьшить, — сумрачно сказал Чурилин, — в мешке совсем мало муки.

Султанов усмехнулся, помолчал. Затем, подняв кружку с чаем, торжественно продекламировал:

— «Погибель верна впереди... и тот, кто послал нас на подвиг ужасный,— без сердца в железной груди...»

— Еще ужасней, что никто нас не послал. И пожаловаться не на кого.

— Да, черт возьми, кто, собственно, держит нас здесь? — тихо сказал Султанов, опустив голову.

Товарищи медленно поплелись к шурфу. Вдруг Султанов крепко впился пальцами в локоть Чурилина:

— Максим Михайлович, желтая земля!

На верху кучи вынутой породы кусками лежала какая-то особенная, зернистая и в то же время плотная глина рыжевато-желтого оттенка. Чурилин поспешил поднять расколотый ночью камень. Это была тяжелая, жирная на ощупь сине-черная порода. Наружный слой камня был мягким и более светлого, синевато-серого оттенка.

— Воды, Арсений Павлович, побольше воды! — прошептал Чурилин.— Да вот в затопленном шурфе возьмем. Выливайте чай, черт с ним! Нужно второе ведро. Вы начинайте промывку желтой породы, доведете на лотке, а я займусь осколками камней.

— Неужели...— начал Султанов.

— Подождите! — резко оборвал Чурилин.

Неторопливо, словно нисколько не волнуясь, Чурилин принялся промывать все добытые кусочки твердой черной породы, отчищая рыхлые корки и грязь.

Позабыв про все на свете, геологи занимались своим делом. Внезапно Чурилин издал приглушенное восклицание и торопливо достал из нагрудного кармана складную лупу. Султанов бросил лоток и подбежал. На синевато-черном фоне небольшого куса породы сидели почти рядом три прозрачных кристаллика с горошину величиной. Треугольные площадки их граней не были абсолютно гладкими, но тем не менее ярко блестели. Каждый кристалл представлял собою две соединенные основаниями четырехгранные пирамиды. Геологи не спускали глаз с кристаллов. В глу-

боком. безмолвии леса слышалось лишь прерывистое дыхание людей.

— Алмазы, алмазы! — Горло Султанова сжалось спазмой.

— Да, типичные октаэдры¹ как в Южной Африке, — произнес Чурилин. — Чистой воды, хоть и не голубоватые. По тамошней номенклатуре — второй сорт высшего класса; так называемый первый Капский. Вот и все, Арсений Павлович, наше дело сделано. Это вы...

Чурилин не договорил, сжав испачканную глиной руку Султанова.

Тот устало опустил на забрызганный грязью приямый багульник.

— Значит, эта рыжая глина и есть «иэллоу граунд» — желтая земля африканских копей, — говорил Чурилин, — самая верхняя и вдобавок всегда обогащенная алмазами покрывка алмазной трубы. Несколькими метрами ниже пойдет «синяя земля» — «блю граунд», вот эта самая, черная, куски которой мы нашли в желтой земле. Это менее разрушенная, менее окисленная кимберлитовая порода. А наш еловый холм, без сомнения, оконтуривает границу алмазной трубы. Такие холмы часто помогают в Южной Африке при поисках алмазных месторождений, показывая выступающую на поверхность, но скрытую под почвой верхнюю, расширенную часть трубы. И помните, дорогой Арсений Павлович, — основная заповедь африканских охотников за алмазами: где одна труба, там ищи еще несколько. Они никогда не бывают в одиночку! Теперь нам нужно промыть всю нарытую желтую землю, тщательно отобрать образцы. Чтобы нести их, придется отказаться от части продовольствия. Репер², заявочный столб, — и с рассветом уходим отсюда: наши жизни теперь особенно драгоценны.

Султанов в последний раз встряхнул лоток и высыпал на листок чистой бумаги все, что осталось после промывки целой тонны желтой земли. На белом листе

¹ О к т а э д р — кристаллическая форма, восьмигранник.

² Р е п е р — высокий сигнальный или опознавательный знак.

рассыпались мелкие кристаллы — столбчатые, призматические, многоугольные красного, бурого, черного, голубого, зеленого цветов. Это были сопутствующие алмазу ильменит, пироксен, оливин и другие стойкие минералы. А среди них, подобно кусочкам стекла и все же не сходные с ним своим сильным блеском, выделялись мелкие кристаллы алмазов. Здесь были белые, чистой воды, камни, были и покрытые шероховатой бурой корочкой. Некоторые кристаллы имели розоватый или зеленый оттенок.

— Вот смотрите, кроме октаэдров — ромбододекаэдр¹.— Чурилин отделил спичкой зеленый двенадцатигранник.— Этот вид алмаза отличается необыкновенной даже для этого камня твердостью. В Африке такие алмазы встречаются преимущественно в трубе Фоорспед. А это борт²,— он указал спичкой на округлое зернышко черного цвета,— сросток мельчайших алмазных кристалликов.— Я смерил диаметр нашего холма,— продолжал Чурилин:— Эта алмазная труба не из маленьких, не меньше четверти километра в поперечнике. Правда, в Южной Африке есть и больше; например, Дютойтспан — чуть не семьсот метров. То уже не труба, а целое вулканическое жерло.

Султанов задумчиво глядел на холм. Он старался представить себе огромную трубу, уходящую почти отвесно на глубину многих километров и заполненную драгоценной черновато-синей породой с алмазами. И это было здесь, в заболоченной, мрачной равнине, под мхом и грязью, едва прикрывающими броню вечной мерзлоты!

Молчал и Чурилин. Он ссыпал в мешочек алмазы, написал этикетки к кусочкам пород, тщательно завернул образцы и принялся вычерчивать подробный план месторождения. Все это геолог делал без всякого воодушевления, будто сейчас, у достигнутой наконец цели, куда-то исчезли все владевшие им ранее стремления. Усталость была слишком велика...

¹ Ромбододекаэдр — двенадцатигранник, каждая грань которого имеет очертания ромба.

² Борт — вид алмаза, образованный сростком микроскопических кристаллов.

Султанов обтесал высокий пенёк в виде столба и, раскалив кайлу, выжиг на нем несколько букв и цифр. Вскоре был готов репер — высокая ель с обрубленными сучьями и перекладиной наверху.

* * *

Путь напрямиком через горы был нелегок: пересекая множество распадков¹, приходилось преодолевать до пятнадцати перевалов в день. Геологи механически шагали, без слов и мыслей. Ничтожных порций пищи не хватало на покрытие огромной затраты сил. Передвижение начиналось при первых проблесках утреннего света, а кончалось далеко за полночь. Осыпалась ярко-желтая хвоя лиственниц, лес был насыщен водой от непрерывного дождя. Ватники геологов быстро промокали насквозь и вечером долго дымились у сильного огня, а на следующее утро снова пропитывались влагой в первый же час пути. Вода выступила на болотах, покрыв на четверть высокие кочки, между которыми при малейшем неверном шаге люди проваливались по пояс. Тонкий ледок хрустел под размокшими сапогами. Никакой дичи не встречалось на пути — горы словно вымерли, и бердана попеременно давила плечи бесполезным грузом.

Утро четвертого дня застало Чурилина и Султанова взбирающимися на крутой подъем. На вершине перевала перед путниками расступилась красноватосерая дымка тумана и открылся обширный пологий спуск, образованный россыпью² огромных остроугольных каменных глыб. Вдали вставал стеной темно-синий, испятнанный рыжим противоположный склон долины большой реки.

— Ну, вот и Мойеро! — Чурилин, присев на камень, вывернул карман в поисках последних крошек махорки. — Как они тут прошли с лошадьми? Последняя затысь — на вершине, а дальше ничего не видно.

¹ Р а с п а д о к — короткая, обычно сухая долина.

² Р о с с ы п ь — здесь подразумевается обширная площадь, занятая глыбами разрушающихся горных пород, лишенная растительности. Часто встречается в Сибири — на склонах и вершинах гор.

— Спустимся прямо по россыпи в долину и пойдем вниз по реке,— предложил Султанов,— потом вернемся вверх. Где-нибудь обязательно пересечем их след.

* * *

Начальник производственного отдела института вошел в кабинет Ивашенцева и молча опустился в кресло.

— Seriously тревожусь за Чурилина,— озабоченно сказал профессор:— этот человек слишком упрям, чтобы быть осторожным. Самарин приехал уже месяц назад, а Чурилин с Султановым остались в тайге. Нужно послать телеграммы всюду, куда можно, с запросами: в Соттыр, на Туру, Хатангу, Чирингдинскую базу Союзпушнины...

И с высоких мачт радиостанции острова Диксон опять понеслись над тайгой колебания эфира. Прерываясь, снова возобновляясь, они несли один и тот же вопрос: «Хатанга, Соттыр, Тура... Сообщите срочно, имеются ли известия экспедиции Главминсырья инженера Чурилина...»

Радиоволны достигли высокой каменной россыпи. Но оба геолога, конечно, не знали и не чувствовали, что пространство насыщено вопросами об их судьбе. Они осторожно балансировали на скользкой, покрытой лишайниками поверхности громадных каменных плит, перепрыгивая через глубокие провалы между глыбами, карабкались по острым граням и ребрам.

Россыпь растянулась на несколько километров невероятным хаосом изломанного камня— сплошное мертвое поле, покрытое серыми костями гор. Будто столкнувшиеся в страшной битве, силы земной коры разбили, исковеркали, рассыпали горные вершины, и они повалились здесь поверженными скелетами, выставив обнаженные острые ребра...

— Сергей Яковлевич! Соттыр сообщает: вчера были рабочий и проводник Чурилина с лошадьми; геологи остались в тайге. Вот телеграмма.

Профессор яростно стукнул кулаком по столу:

— Так и знал! Погибнут ни за что! Телеграфируйте в Соттыр... Впрочем, кто же передаст им? Экспедицию снаряжать надо...— Ивашенцев, волнуясь, стал перебирать бумаги на столе.— И, главное, упрямство-то бесполезное: раз за три года не нашли, так и в один лишний месяц ничего не добьешься.

* * *

— Молодцы! Смотри-ка, Арсений Павлович: плотишко приготовили из сухих еловых лесин. Молодцы! Продуктов примерно на неделю. Ну, не беда: река быстра, понесет хорошо. А ну, берем. Раз-два!..

Маленький плот закачался на воде, повернулся и, направляемый шестами, быстро поплыл посередине реки. Здесь Мойеро еще не была глубокой, под плотом быстро мелькали на дне длинные гладкие гальки. Оба геолога впервые почувствовали за много тяжелых дней радостное облегчение. Котомки не давили больше натруженные плечи, истертые расползшимися сапогами ноги наслаждались отдыхом, а река несла плот со скоростью не меньше шести километров в час. Пожалуй, в этом и была главная радость — сидеть, покуривая оставленную Николаем махорку, изредка выправляя плот толчками шестов, и в то же время сознавать, что продвигаешься вперед, что с каждым часом уменьшается бесконечный путь.

Можно было позволить себе роскошь подумать, вспомнить, что существует другой мир. Плеск воды, переливы ее журчания на узких галечных косах, быстрое движение маленьких волн — все казалось полным веселой жизни после гнетущего молчания, однообразия и неподвижного воздуха огромных болот.

Мойеро текла извилисто, описывая крутые кривуны. Мимо проплывали низкие берега. Широкая пойма осталась позади; лес подошел прямо к речке и зажал ее русло в темные высокие стены. Плот шел, словно по коридору, меж густых елей. Многие деревья, подмытые рекой, склонялись к воде. Вдали лесной коридор, казалось, суживался; вершины наклоненных с противоположных берегов лесин скрещивались над

водой, терявшей свой живой блеск, выглядевшей сумрачно и холодно.

Огромная, недавно поваленная ель лежала поперек реки, почти касаясь своей еще зеленой вершиной широкой отмели левого берега. Геологи отвели плот к берегу и, прыгнув в воду, протащили его по гальке. Дальше попало еще несколько таких деревьев, державших ход плота, но все это казалось Чурилину и Султанову пустяками, пока из-за крутого поворота реки они не услышали громкое журчанье и плещущие удары.

— К берегу, живей к берегу! — крикнул Чурилин. — Впереди залом! ¹

Но было уже поздно — плот шел слишком быстро. Шест, воткнутый в дно реки, с треском сломался, и плот, как слепой, устремился прямо на высокую грудку древесных стволов, перегораживающих реку.

Направо, где нагромождение деревьев было более редким, вода, громко kloчоча, устремилась под завал. Ветки и тонкие стволы пружинили и вибрировали под напором воды, производя характерные всплески, похожие на удары гигантского валька.

Султанов и Чурилин бросились к заднему концу плота и схватили драгоценные мешки, топор и бердану.

В ту же секунду плот нырнул под залом, остановился и начал подниматься вертикально, уходя все глубже под воду. Сильный толчок бросил товарищей вперед, но им удалось прыгнуть на залом. Вода взревела, пучась валом за плотом, загородившим часть узкого прохода. Не теряя ни минуты, Чурилин с Султановым принялись поочередно рубить стволы единственным топором. После двух часов тяжелой работы удалось высвободить плот и с помощью веревки подтащить его ближе к берегу, где у края завала воды было по пояс. Борясь со сбивавшей с ног ледяной водой, геологи насилу подняли плот повыше и про-

¹ З а л о м — нагромождение древесных стволов, нанесенных в полую воду и перегораживающих русло реки.

волокли его в прорубленную брешь через толстые скользкие бревна, лежавшие под водой в основании залома. Дальше путь был свободен, но, увы, всего на полтора километра! И снова перед плотом вырос лесной залом, с еще более широким нагромождением побелевших окоренных бревен, между которыми грозными пиками торчали толстые сучья и корни глубоко зарывшихся в гальку деревьев.

* * *

На белесой песчаной косе горел большой костер. Плот стоял, приткнувшись к берегу. Чурилин и Султанов сидели лицом к реке, повернув к огню дымящиеся мокрые спины. Над песком круто поднимался берег, сухая трава на нем золотилась под ярким солнцем, разбудившим тучи окоченевшей было мошки.

Султанов вдруг поднялся и неверными шагами направился в сторону. Его тошнило: желудок отказывался принимать только что съеденную пищу. Чурилин с тревогой следил за своим помощником. Он и сам чувствовал себя плохо. Истомленное непомерной работой, долгим недоеданием, бессонницей, сердце то падало и билось тяжело и редко, то учащенно и слабо трепыхалось, требуя отдыха, длительного покоя.

Темный страх перед цепкими тисками лесной пустыни наполнил душу исследователя. Нужно было проплыть около четырехсот километров рекой. А они вот уже второй день пробиваются сквозь завалы и проплыли за эти два дня семь километров. Семь километров! Еды осталось на четыре дня при самых маленьких порциях. А сколько предстояло еще непосильной работы по плечи в холодной воде: рубить толстые бревна, надсаживаясь перетаскивать плот... Больше нет сил! Вряд ли они выдержат еще хотя бы один день. Кто знает, сколько впереди заломов — один или сотня?

Султанов вернулся к костру и лег на песок. Чурилин подвинул под голову товарища сумку и стал на колени:

— Полежите, Арсений Павлович, я пройду вперед.— Он показал налево, где за широкой отмелью и сверкающей в солнечных лучах водой громоздилась груда переплетенных серых бревен.

Султанов сел:

— Максим Михайлович, вот что...— Он замялся: — Если я совсем разболеюсь, так вы идите один. Нужно, обязательно нужно кому-нибудь спастись. Я серьезно, я не шучу! — Султанов рассердился, увидев улыбку Чурилина.

— Бросьте, дорогой! Отдохните, и все пройдет. Если выйдем, так оба! — громко сказал Чурилин, сам не находя в своем тоне нужной уверенности.— Ну, я пошел! — И, подняв бердану, он медленно поплелся по песку и хрустящим галечным отмелям на пересечку крутого кривуна.

Чурилина хотелось пройти дальше вниз по реке, чтобы осмотреть долину ниже залома.

Страх, охвативший его, не проходил, как ни пытался Чурилин справиться с ним. Ему хотелось скорее вернуться в привычный мир карт, книг, научных исследований, отдать своей стране богатства, спрятанные под мхами и мерзлотой болот Амнунначи, иметь время для тихого, спокойного раздумья за микроскопом, для бесед с товарищами. Неужели так и не удастся вернуться туда, где нет мошки, вечно мокрой одежды, едкого дыма и беспрестанной гонки вперед?

Чурилин пересек кривун и повернул вдоль берега.

Он шел и думал о Султанове: «Что заставляет людей идти на такие невиданные, никому не известные подвиги? Если мы выйдем, разве кто-нибудь узнает о стойком героизме этого человека? Пережитое быстро сотрется, забудется, покажется тяжелым сном... Кто же рассказывает всерьез о снах? А если мы не выйдем, тоже никто не узнает. Больше того: скажут — погибли от неумелости, неосторожности. А у Султанова там, в далеком мире, за тысячи километров... жизнь, счастье, любимая женщина, ожидающая давно, тревожно и нетерпеливо».

Справа, на противоположном берегу, слышался

шум. Хрустела галька, тихо шелестела сухая трава. Чурилин очнулся, посмотрел, и сердце его бурно заколотилось.

Под уступом берега, погрузив копыта в воду, стоял огромный самец-лось. Могучее тело его казалось издали совсем черным. Широкие рога, как ладони гиганта с растопыренными острыми пальцами, были светлыми, а между ними, обращенные в сторону Чурилина, ижицей торчали большие раструбы ушей. Лось всматривался в застывшего на месте геолога, склонил голову, выставив рога, и издал хриплое «уоп». Чурилин не шелохнулся, до боли зажав в кулаке ремень берданы.

Лось повернулся и сразу стал другим — поджарым, горбатым, на высоченных ногах. В повадке животного чувствовалась ежесекундная готовность к стремительному бегу, скрытая энергия взведенной пружины. Мощная горбоносая голова поднялась, на горле растопырилась жесткая черная борода, крутой загривок обозначился еще резче. Затем лось расставил широко ноги, ткнулся носом в воду и вошел в реку.

Чурилин рванул с плеча бердану. Лось молниеносно прыгнул на берег. Щелкнул снятый с предохранительного взвода затвор, и Чурилин послал пулю в высокий загривок. Лось споткнулся, упал, вскочил опять.

Гром второго выстрела разнесся по реке, и животное исчезло в кустах. Вне себя Чурилин бросился в реку, высоко поднимая бердану. Течение сбивало его с ног, но он справился с ним и вскоре был на противоположном берегу. В десяти метрах от воды в высокой траве виднелось черновато-бурое тело. Чурилин осторожно приблизился к нему и убедился, что зверь мертв. Лось лежал, запрокинув упершуюся на рог голову; передние ноги согнулись в коленях. Великолепная мощь животного чувствовалась и в неподвижном теле.

Чурилин не был настоящим охотником. Став на одно колено, он погладил морду лося, сожалея о

случившемся. Как бы то ни было, но шестнадцать пудов превосходного мяса меняли судьбу геологов.

Чурилин выпрямился, опершись на бердану, оглянулся и увидел на реке еще один залом, в четверти километра ниже. Дальнейший путь реки скрывался густым лесом, казавшимся темной щеткой. Однако эта щетка в одном месте понижалась, и там виднелся горный склон, подходивший вплотную к реке.

«Если река войдет в ущелье, будут пороги, но заломы окончатся», — подумал Чурилин. Он быстро выпотрошил лося, взял губы, сердце, кусок мяса, отметил место высоким шестом и перебрался через реку по верхнему залому, кстати тщательно осмотрев его.

Обильная мясная еда сначала еще больше ослабила путешественников, но наутро Чурилин и Султанов заметно приободрились.

* * *

За последним заломом Мойеро приняла в себя справа большую речку. Долина сужалась, отроги пятнистых, черно-желтых от осенних лиственниц гор спускались к реке, течение которой все убыстрялось. Тусклая свинцовая поверхность воды словно дышала, плавно вздымаясь и опускаясь. Галечные косы возвышались, как крепостные валы. Быстро неслись назад отмели, деревья, черные промоины. Вот скалы надвинулись совсем близко, зашумели волны, вся река покрылась струйчатыми бороздами и островерхими пенными гребешками. Вода заливала несшийся по шивере плот. Несколько тревожных минут — и плот снова вышел на мерно вздымавшуюся просторную воду.

Быстрое движение бодрило истомившихся людей. Наконец в полной мере их охватило веселье одержанной победы.

Пройдет немного времени — и тысячи людей придут туда, где томились они оба в плену лесов и болот. Могущество труда рассечет непроходимые пространства дорогами, расчистит леса, высушит болота. Шум машин и яркий электрический свет нарушат темное молчание тайги.

* * *

— Сергей Яковлевич, телеграмма из Хатанги. Наверно, от Чурилина.

— Что? Давайте скорее! — Профессор поспешно вскрыл и прочитал телеграмму. Она выпала из его рук. — Ничего, я сам подниму... Идите, с ними все благополучно, возвращаются.

Оставшись один, Ивашенцев перечитал короткий текст: «Все, что искали, найдено, возвращаемся самолетом, здоровы, Чурилин, Султанов».

Профессор Ивашенцев встал и низко поклонился телеграфному бланку, который он бережно положил на стол.



ПУТЯМИ СТАРЫХ ГОРНЯКОВ

Это рассказал горный инженер Канин. Он сидел, откинувшись на спинку кресла, и говорил как бы сам с собой, ни к кому не обращаясь:

— Мне хочется рассказать одну простую историю из жизни подлинно горных людей, в свое время сильно захватившую меня.

В 1929 году я изучал старые медные рудники недалеко от Оренбурга. Здесь на протяжении едва ли не тысячелетий велась разработка медных руд, и рудники образовали на обширном пространстве запутаннейший лабиринт пустот, пробитых человеческими руками в глубине земли. Рудники эти давно закрылись.

и ничего не осталось от их надземных построек. На степных просторах, на склонах и вершинах низких холмов выделяются красивыми голубовато-зелеными пятнами группы отвалов — больших куч бракованной руды, окаймляющих широкие воронки, — а кое-где видны провалы старых, засыпанных шахт. Местами отвалы и воронки сплошь покрывают обширные поля в несколько квадратных километров. Такая земля, по выражению местных хлеборобов, «порченная», запахивать ее нельзя; поэтому изрытые участки поросли ковылем или полынью, воронки шахт — кустарником вишни. Даже в разгар лета, когда все кругом уже выгорело и степь лежит бурая, в белеющей дымке палящего зноя, холмы с остатками старых горных работ покрыты цветами, которые вместе с зелено-голубыми выпуклостями рудных отвалов, темной листвой вишни и золотистыми колышущимися оторочками ковыля представляют собой причудливое и красивое сочетание неярких тонов. словно акварели талантливых художников, лежат эти маленькие степные островки на бурой равнине жнивья и паров.

Здесь хорошо отдыхается после однообразного пути по пыльной и знойной дороге. Ветер колышет ковыль и, посвистывая в кустах, наводит на мысль о прошлом, о том, что эти, теперь такие безлюдные и заброшенные, участки когда-то были самыми оживленными в степи. Раздавались крики мальчишек — погонщиков конного подъема, хлопали крышки шахтных люков, скрипели воротки, грохотали тачки, и слышалась болтовня женщин на ручной разборке руды. Все эти люди давно умерли, но глубоко под землей нерушимыми памятниками их труда стоят в молчании и темноте бесчисленные подземные ходы. Мне удалось проникнуть во многие старые выработки. Я уже в течение двух с лишним месяцев лазил по ним — иногда с помощником, чаще один (помощник боялся опасных мест) — для подземной съемки, поисков оставленных запасов руды и взятия проб. В этих местах породы сухи, удивительно устойчивы, и многие выработки стоят сотнями лет без всякого разрушения.

Все накопленные с XVIII века архивные планы, карты и данные по оренбургским медным рудникам погибли во время гражданской войны. Поэтому системы старых подземных работ приходилось открывать заново, путешествуя по ним наугад, как по неизвестной стране.

Исследование увлекало меня, и случалось, я по двое суток не выходил на дневную поверхность, торопясь разобраться в какой-нибудь большой системе выработок. Тьма и тишина лабиринтов штреков¹, орт², извивающихся по всем направлениям, грозно нависшие в высоте над головой дворы засыпанных шахт — во всем этом я находил совершенно особенное очарование. С равномерностью часового механизма падают капли воды в сырых проходах, изредка едва слышно журчит вода, сбегая с верхних горизонтов в нижние.

С фонарем, компасом и записной книжкой я едва пролезал в узкие сбойки³ или неправильные квершлаги⁴, соединяющие одну систему выработок с другой. Иногда проход, занесенный песком от проникновения поверхностных вод, бывал так низок, что по нему приходилось пробираться ползком, сжавшись в комок. Ползешь — и вдруг неудержимо захочется вздохнуть полной грудью, но как только начнешь набирать воздух, с мгновенным ощущением жути почувствуешь висящие над тобой сотни тысяч тонн горных пород, с невообразимой силой давящие вниз.

А как интересно разгадывать систему взятия рудного гнезда, примененную старыми мастерами, прослеживая и определяя возраст выработок то в правильно нарезанных, выглаженных вручную кайлами работах середины XIX века, то в широких и прямых, но с изуродованными взрывами стенками самых новых! Еще более странны причудливо изгибающиеся

¹ Штрек — длинная горизонтальная выработка, направленная от шахты по рудному слою.

² Орт — поперечные по отношению к штреку горизонтальные короткие выработки.

³ Сбойка — соединение выработок между собой.

⁴ Квершлаг — горизонтальная выработка, в отличие от штрека проведенная по пустой породе.

по контуру рудного тела низкие ходы выработок XVIII века или совсем узкие, но гладкие колодцы и наклонные ходы доисторических времен.

Мечущийся свет фонаря вырывает из густой тьмы то ровную стенку, всю истыканную остриями кайл, то мрачно стоящий, черный от времени столб случайно уцелевшей старой крепии, то груды обваленных с кровли глыб, то ровно выложенные кладки закатей.

Поражающее впечатление производят огромные черные стволы окаменелых деревьев, иногда даже с сучьями. Гиганты давно исчезнувших лесов, теперь ставшие железом и кремнем, лежат поперек выработок, и часто ход огибает такое дерево сверху или снизу, не в силах пробить его крепкое тело.

О подземных странствованиях того лета можно было бы много еще рассказать, но я лишь кратко очертил их, чтобы дать представление об обстановке всего происшедшего.

Я жил в поселке Горном, находившемся в глубокой долине небольшой речки, меж высоких холмов. В этом же поселке доживал свой век последний из штейгеров старых рудников — Корнил Поленов, девяностолетний, но еще крепкий старик, бывший крепостной владельцев рудников графов Пашковых. Старый штейгер жил в маленьком домишке через дорогу от меня и почти каждый вечер неподвижно сидел на завалинке у дома, глядя на высокий склон с отвалами рудников, поднимавшийся перед ним. Еще в самом начале работы я выпрашивал старика о разных рудниках, которые он знал и помнил великолепно. Однако я видел, что старик мне многое не говорит, отделиваясь ссылкой на старость и слабую память. Я пробовал убеждать его, говоря, что напрасно он не хочет рассказать все, что знает, — рудники должны работать. Чем больше мы сейчас соберем сведений о запасах руд, тем скорее и вернее развернется давно замершая работа.

Штейгер молчал, только в глубине глаз пряталась хитроватая усмешка. Как-то раз он сказал: «Много тут инженеров приезжало, всё выпрашивали, записывали, обещали награду, обещали начальником над

работами сделать... Наболтали много, а ведь сколько лет прошло,— ездят, смотрят, а работы так и не начинают. И никто из этих приезжих ни в одну шахтенку не спустился — грязно, сыро, ну и опасно, конечно, дело. Знаю я!» И старик умолк, важно расправляя окладистую бороду.

Я понял, что в глубине души Поленов затаил обиду на торопливых и поверхностных геологов, побывавших в районе и вместо подлинного исследования ограничившихся расспросами, вытягивая кое-какие сведения из старика путем безответственных посулов. Я прекратил дальнейшие расспросы, тем более что мои рабочие отзывались о штейгере так: «Старик — что дикаревый камень: упрется — слова не вытянешь».

Я продолжал свою работу, день за днем разыскивая новые доступные выработки, спускаясь на канате в полуобрушенные шахты, и завоевал прочное уважение у местных жителей — потомков старых горняков. Я забыл сказать, что и сам поселок Горный возник при горных конторах Богоявленского и Архангельского заводов и жители его были известны у окрестного крестьянского населения под именем «рудашей».

Длинными степными вечерами, отдыхая после работы, я часто приходил на заваulinку к старому штейгеру и присаживался с ним рядом покурить. Только теперь я не спрашивал его о рудниках. Беседовали мы с Поленовым о прошлых временах, о житье крепостных горных людей, о старинных способах работы. Старик отмякал, оживлялся и много рассказывал мне, удивляя своей наблюдательностью и меткостью выражений. Мои подземные «подвиги», знание истории местного горного дела и старинных горных терминов тронули сердце старого штейгера, и он стал относиться ко мне с гораздо большим вниманием.

Я заметил, что старик ждет моих расспросов о рудниках. Иногда он сам даже заводил речь о тех или иных особенностях руды, упоминая несколько новых для меня названий шахт, но я намеренно ни о чем не спрашивал его. Я знал, что душа старого горняка не выдержит и, видя во мне такого же глу-

боко преданного своему делу человека, штейгер поделится со мной своими знаниями.

Кончался август. Солнце все еще было теплое и яркое, но в степи начали дуть холодные ветры. Было особенно приятно почувствовать при спуске в поселок горьковатый запах кизячного дыма, стлавшегося голубой завесой. Этот дым означал тепло для озябшего тела, еду, хорошую папиросу в постели — словом, все, что нужно для превращения утомленного работой труженика в кейфующего халифа...

Беседы с Поленовым на завалинке прекратились — дни стали короче, и я часто возвращался в темноте. Лишь иногда, когда погода или работа над накопившимися черновиками заставляли меня оставаться дома, в дверях занимаемого мною помещения вырастала высокая, сутулая фигура Поленова. Поглаживая желтоватую бороду и зорко осматриваясь не по-стариковски быстрыми глазами, штейгер заявлял: «Соскучал по тебе, Васильич, давно не беседовали. Ты все без удержу по шахтам лазишь». — «Садись, Корнилыч, чайку нам Настасья Ивановна даст, а конфет хороших мне с Егорьевского привезли», — говорил я, зная пристрастие старика к сладостям. Покряхтывая, штейгер опускался на лавку, я продолжал вычерчивать какой-либо план или профиль, и начинался неспешный разговор. Нам обоим беседа доставляла удовольствие, и мы засиживались допоздна. Я узнал недавно, что Поленов был последним из целого поколения крепостных штейгеров медных рудников. Знания передавались по наследству от деда к отцу, от отца к сыну. В примитивном горном хозяйстве штейгер был одновременно и маркшейдером, и пробщиком руды, и руководителем бурения — словом, универсальным горным специалистом.

Многолетняя, с детства воспитываемая практика работы под землей выработала у Поленовых особое чутье, про которое старик рассказывал так:

— Теперь пошли эти теодолиты¹, буссоли... Сорок

¹ Теодолит — геодезический угломерный инструмент для определения вертикальных и горизонтальных углов.

раз вычисляй да исправляй, пока уверишься, что правильно наметил выработку. Если жилу какую-нибудь нужно проследить, куда она, родимая, ушла, начинают горную геометрию разводить, чертят, вычисляют. А вот мы — мой отец, да и я — как работали? Походишь под землей, примеришься и чувствуешь, куда подкоп вести, особенно если на сбойку со встречной или старой работой. Это чутье горное нас никогда не обманывало. Сам небось видел, какие выработки прокладывали. У меня-то его меньше осталось — с буссолью заставляли работать, — но и то иной раз знаю: врет инструмент; ошибки найти не могу, а знаю — врет. Походишь, породу пощупаешь, куда прожилки направлены, куда зерно укрупняется. Начнешь раздумывать, и такая уверенность придет, что прямо приказываю: бей квершлагом сюда вот! И всегда правильно угадывал, а почему — сам объяснить не могу. А то вот видел Петровеликанскую штольню? Ее английские маркшейдеры проводили, сбивая с Михайловской. И как промахнулись: громадная работа пропала! Вот тебе и инструменты!.. Так же точно и воду чувствую под землей, где к водяному слою ближе, где под песчаником вап¹ лежит. Много чего знаю...

И действительно, старик был по-своему прав, только он забыл, что его горной практике нужно было учиться не один десяток лет. С инструментом же любой человек может за короткий срок овладеть искусством прокладки выработок.

Я верил ему и, слушая его, не раз вспоминал о фрейбергских горных мастерах, основоположниках горного искусства в XV веке. У них точно так же из рода в род, из поколения в поколение передавались горные знания и так же было известно множество примеров как бы ясновидения под землей. Эти мастера развивали в себе особое чувство — чувство подземного пространства и направления, заменявшее им точность маркшейдерских приборов и схемы гор-

¹ Вап — старинное название известковой твердой глины.

ной геометрии. Без участия минерографии и химии, по тончайшим оттенкам руд, по неуловимому для обычного наблюдателя изменению породы старые горняки предугадывали выклинивание рудного тела, находили обогащенные участки — словом, прекрасно ориентировались в многообразной, занимающей теперь разных специалистов работе по оценке и разработке месторождения. И я думал о том, что напрасно в истории горного дела забыты простые и верные способы, требующие развития наблюдательности и своеобразной духовной остроты человека. Люди стали меньше верить в чудесные возможности, которые таит в себе человеческая природа, в воспитание подлинного мастера, мастера в прекрасном старинном значении этого слова.

В ближайшее воскресенье я решил приостановить полевые работы и подвести итоги своим исследованиям. Разложив снятые карты, я печально смотрел, как посреди огромного рудного поля Ордынских рудников выделялся лишь маленький, мною исследованный участок. Точно так же изученные площади Левских и Смежных рудников были разделены широким промежутком, оставшимся неизвестным. Словом, все эти пробелы портили радость большой и интересной работы минувшего лета.

Мои размышления были прерваны приходом Поленова. В новом рыжем полушубке, в больших сапогах, старик выглядел торжественно и празднично и казался много моложе своих лет. Я сразу заметил, что он чем-то взволнован. В ответ на мое обычное приглашение садиться старый штейгер сбросил полушубок и, усевшись на табурет, спросил:

— Семен болтал, что ты уезжать собираешься, Васильич?

— Собираюсь, Корнилыч, — ответил я. — Жаль, конечно: полюбились мне и рудники и место ваше, но пора заканчивать работу, скоро с меня отчет требуют.

— Рано ты собрался уезжать, Васильич. Хоть и облазил ты много, да самых-то интересных мест еще не посмотрел.

— Знаю, да пробраться к ним не могу. Работы самые старые, сверху все завалено. Придется обойтись тем, что мог посмотреть.

Старый штейгер молчал насупившись. Я исподтишка посматривал на него, ожидая, что он скажет. После недолгого молчания Поленов тряхнул головой и с деланным спокойствием сказал:

— Ладно, Васильич, я тебе помогу немного... Еще несколько рудников, как хочешь, а нужно тебе посмотреть...

— Что ж, Корнилыч, спасибо тебе!.. Но почему же ты раньше не помог мне? Все говорил, что не знаешь, забыл.

— Я, Васильич, по человеку вижу, нужно или не нужно ему помочь,— ответил старик.— Вот пригляделся к тебе, и теперь ты как родной мне. Настоящий рудаш! И в тебе любовь большая к доброй работе... Ну что впустошь болтать! Скажи-ка лучше: в Мясниковском старом был?

— Был, Корнилыч, Мясниковский я хорошо знаю.

— Знаешь, да не все. Ты в верхних работах — Ордынская дача по-нашему — ходил, наверху сырта. А вот в самых нижних, по дну лога, в Казенных-то, не был.

По указанию штейгера я проник в самые низкие горизонты древних Старо-Мясниковских рудников и целую неделю изучал огромные камеры между массивами оставленной руды — меденосного конгломерата.

Я сделал немало новых открытий, которые, впрочем, имеют интерес только для специалистов. Наконец настал знаменательный день, когда Поленов согласился сопровождать меня в моей попытке проникнуть в огромную подземную систему поля Ордынских рудников, расположенную на высоком степном плато, прямо к югу от поселка Горного.

Штейгер настоял, чтобы я никого не брал с собой и никого не посвящал в тайну похода. По его совету я взял лопату, кайлу, длинную крепкую веревку, два толстых бруска, а также запас свечей и продуктов. Поленов обещал довести меня до шахты, «через кото-

рую нужно перепрыгивать», а дальше я должен буду пойти сам и произвести предварительные исследования. Для этого, по его расчетам, мне придется пробыть под землей около двух суток.

В рассветных сумерках, под свистящим в сухой траве ветром мы направились вверх по склону холма, мимо высоких белых отвалов Смежного рудника. Все взятое снаряжение было довольно тяжелым, и я обрадовался, когда старик сказал, что вход недалеко от поселка. Беспредельная, таинственная в сумеречный час степь, озабоченный вид штейгера и наш сделанный украдкой выход создавали несколько приподнятое настроение. Но все оказалось очень простым. Старик в полугоре повернул налево, и, перейдя заросшую густой полынью лощинку, мы оказались вскоре среди множества полузасыпанных шахт, отвалов и обрушенных штолен хорошо знакомого Правого рудника. В жаркие летние дни я много раз бродил по его отвалам, безуспешно пытаясь найти путь в глубоко лежавшие под поверхностью степи выработки.

Штейгер уверенно направился к высокому отвалу в форме ровного конуса. Перед отвалом оказалась воронка плохо засыпанной шахты, заросшая кустарником. Дойдя до нее, Поленов огляделся кругом, хмурясь и отрывисто бормоча себе что-то под нос. Затем он сделал знак остановиться и начал медленно взбираться на отвал. Он долго стоял на отвале, глядя вниз и для чего-то растопыривая и загибая пальцы своих больших рук. Я смотрел на него и думал о том, какие воспоминания проносятся сейчас в голове старого штейгера.

— Ну вот, Васильич, должно быть здесь, — произнес штейгер, спускаясь с отвала.

Он стал на колени, раздвинул руками кусты. За кустами оказалось отверстие небольшой заваленной штольни, в которое мог бы пролезть только ребенок.

— Если в глубине работа не села, пролезем скоро! — сказал Поленов.

Я, не отвечая, сбросил с плеч свой мешок и взялся за лопату. Рыхлая земля, засыпавшая вход, подалась легко, и через полчаса я расширил отверстие на-

столько, что ползком можно было свободно пробраться в него. Приготовив свечу и спички, я растянулся на мягкой сырой земле, нагроможденной у входа, и привычным движением вниз головой скользнул в узкий, трубообразный проход. Несколько метров я полз вниз по склону земли, осыпавшейся в выработку, затем проход сразу расширился. Верхняя его часть была свободна. Дальше можно было уже ползти на коленях. Я остановился и зажег свечу. Сверху приглушенно донесся голос старого штейгера, спрашивающего, как дела.

— Отлично, Корнилыч! — крикнул я. — Пролезай, да и мешок не забудь!

Вскоре я услышал шуршанье мешка, скатывающегося вниз, и старческое побряхтыванье Поленова. Из мешка мы достали фонарь; лопату оставили у начала расширения и вскоре миновали «хвост» земли, намытой сверху в выработку. Можно было идти почти выпрямившись. В штольне было сухо. Свет фонаря бросал желтоватый отблеск на стены, уходившие далеко в черную тьму. Старик медленно шел впереди. Мне это было на руку, так как я успевал на ходу справляться с компасом и записывать направление и расстояние. Штольня была длинна и низка. Спина начала болеть от согнутого положения, когда мы подошли к рудничному двору шахты.

— Ничего не попишешь! — буркнул Поленов. — Начисто засыпали. Придется в юберзихбрехен¹ прокапываться, нечистый его дух!..

Я понял, что старик хочет пробраться через ход, соединяющий большую шахту с соседней, и, не мешкая, приступил к делу. К счастью, в углу потолка рудничного двора земля не насыпалась вплотную к стенке, и мы без особого труда проползли через узкую щель в другой ход. Этот ход привел нас к маленькой шахте, которая не была засыпана полностью. На небольшой глубине от устья шахты было сделано деревянное перекрытие, сверху потом заваленное.

¹ Юберзихбрехен — горизонтальная выработка, соединяющая стволы двух соседних шахт.

Вверх и вниз в черную тьму уходил квадратный колодец около двух метров в поперечнике. К этому времени мы сильно углубились в склон плато, и нависшая над нами толща горных пород была уже большой.

— Теперь куда, Корнилыч? — окликнул я штейгера, склонившегося над шахтой.

Не отвечая, он бросил вниз камень, и вскоре до нас донесся отчетливый всплеск; внизу была вода. Разочарованно я посмотрел на штейгера, но лицо Поленова было спокойно.

— Ну, Васильич, теперь самое трудное начинается — спускаться надо.

— Куда же, в воду?

— Эх, а еще горняк! Или боишься? — поддразнил старик. — Помнишь, я тебе говорил: будет шахта, через которую придется прыгать, — эта самая и есть. Двадцать четыре аршина ниже будет большой штрек среднего горизонта, нам на него выйти надо. Спервоначально я думал спускаться большой шахтой — тогда надо было через эту перепрыгнуть. Ну, а теперь ты спустишься вниз, раскачаешься и заскочишь в рудничный двор второго горизонта. Веревку петелькой за пояскрепи, чтобы не утратить. Да тебя уж учить не надо, практику хорошую прошел. Понял мой план?

— Все понял, Корнилыч. Двадцать четыре аршина — пустяки!

Я достал принесенную веревку, на захваченный с собою крепкий брусок навязал петлю и продел в нее сложенную вдвойне веревку для спуска известным альпинистам способом, называемым дюльфером.

Пока я готовился к спуску, Поленов присел на мешок около шахты и наставлял меня на дальнейший путь. Основной моей задачей было проникнуть в грандиозные выработки глубочайших шахт района — Щербаковский рудник.

— Дай-ка бумаги, я чертеж тебе сделаю, — сказал старик.

Сдвинув головы к фонарю, мы, как два заговорщика, вполголоса совещались на краю черного отверстия старой шахты. Глубочайшая темнота и тишина

окутывали нас. Мы уже настолько привыкли к ним, что когда где-то в конце пройденной нами сбойки возник негромкий звук, он показался оглушительным. Я повернулся, едва не опрокинув фонарь; штейгер приподнялся, упершись руками в песок. Вытянув шею, вглядывался он в беспросветную черноту, заполнявшую другой конец хода. Звук напоминал шуршание большого куска сминаемой бумаги. Усиливаясь, он перешел в заглушенный гул и закончился тупым ударом. Через несколько секунд волна воздуха зашипела по ходу и донеслась до нас, погасив фонарь и свечу. После этого все стихло, и снова беззвучная тьма воцарилась в подземелье. Догадываясь уже, что произошло, я торопливо нащупывал в кармане спички.

— Ну как, Корнилыч? — спросил я штейгера, и голос мой прозвучал хрипло, неуверенно.

Я зажег свечу. Лицо старика было строго, но спокойное. Только сдвинутые брови и сжатые губы говорили о надвинувшейся на нас опасности.

— Эти заваленные шахты всегда... — Он не договорил, быстро поднялся и взял свечу. — Пойдем, Васильич, поглядим... Только потихоньку.

Мы углубились обратно, в недавно пройденный ход, и очень скоро шаги наши заглохли в мягком песке, толстым слоем устлавшем пол выработки. Я посмотрел на Поленова, он кивнул головой. Слой песка все утолщался, в нем показались крупные глыбы породы. Мы сгибались все ниже и ниже, продвигаясь вперед, и, наконец, уперлись в насыпь из песка и камней, закрывшую наглухо отверстие штрека.

Дело было совершенно ясным: осела какая-то пустота в большой заваленной шахте. Сотни тонн земли, обрушившись сверху, отрезали нам путь назад... Мы находились в одном краю огромной, площадью во много километров, системы подземных ходов, уходивших в глубь степного плато. Чем дальше, тем шахты становились всё глубже и все были завалены. Да если бы некоторые из шахт и были открыты, разве можно было бы подняться через них из стометровой глубины? Чувство смертельной опасности, охватившее

меня в тот момент, когда я услышал шорох обвала, не оставляло меня. Быстро пронесся рой мыслей о жизни, работе, близких, о прекрасном, сияющем, солнечном мире, который я больше никогда не увижу... Я закурил папиросу и жадно затянулся. Табачный дым низко стлался в сыром и холодном воздухе. Овладев собой, я повернулся к Поленову. Он был хмур, спокоен и молча следил за мной взглядом.

— Что будем делать, Корнилыч? — как можно спокойнее спросил я.

— Сильно сверху надавило; пожалуй, вся труба земли села, — сердито хмурясь, сказал Поленов. — Это мы растревожили, когда прокапывались. Видно, давно уж на волоске висело. Делать нечего, не прокопаешься, опять засыпать будет... Ну, пойдем назад, к шахте. Что мы здесь корячимся.

Не говоря ни слова, я пошел за стариком. Его спокойствие удивило меня, хотя я и понимал, что за свой долгий рабочий век он много перевидал и не раз испытывал серьезную опасность.

Не знаю, сколько времени мы молча просидели у края шахты: старик — в глубокой задумчивости, я — нервно покуривая. И я невольно вздрогнул, когда Поленов неожиданно нарушил молчание.

— Ну, Васильич, выходит, мне с тобой лезть надо. Мне-то уж помирать не страшно — годом раньше, годом позже, а тебе неохота, да и нельзя: полезный ты нашему делу человек. Свечей сколь прихватил с собой?

— Три целых пачки, — ответил я.

— Это дело! Такого запаса хватит, но для всякого случая, как спустимся, вторую свечу гаси — путь длинный... А меня сумеешь ли спустить? Я ведь тяжел. — И на суровом лице старика чуть мелькнула улыбка.

— Спущу, Корнилыч, будь спокоен, — откликнулся я. — Однако как же мы выберемся из глубин Рождественского или Щербаковского рудника? Здесь-то, может быть, и разыщут...

— Ну, какой шут нас найдет! — жестко оборвал старик. — Ищи иголку в степи! Не сказались ведь,

куда пойдем. А тут дело вот какое: пройдем мы до Старо-Ордынского — это дорога верная; от Горного, почитай, километров шесть будет, но зато по старым сухим выработкам. А дальше был навверх единственный ход через Андреевский Девятый — этим ходом Андрей Шаврин первый прошел. Он его и обнаружил — рудаши потом по его имени этот отвод называли. Кроме него, меня да еще одного, никто там не был, а это ведь семьдесят лет тому назад было. Ну, собирайся: спервоначалу меня опустишь, потом сам. Веревку-то выдерни опосля — пригодится...

Через несколько минут Поленов повис в черном колодце шахты. Медленно выпуская веревку из-под ноги, я следил, как фонарь, прицепленный к груди старика, опускался все ниже.

— Стой! — загудел внизу голос старого штейгера. — Нет, еще аршин выпусти!..

Быстро перекрутив веревку через брусок, я увидел, как штейгер уперся ногами в стенку шахты, раза два качнулся и исчез. Едва заметный след мерцал где-то внизу, на противоположной стенке шахты. Потом веревка ослабла, освобожденная от груза. Я спустил вниз мешок, а затем начал спускаться сам, отталкиваясь ногами от стенок шахты, пока не достиг уровня двора среднего горизонта. Далеко внизу, на нижнем горизонте, плескалась вода, в которую сыпались кусочки породы. Подражая штейгеру, я раскачался и прыгнул в освещенное фонарем начало штрека. Штейгер стоял, прислонившись к песчанику, и тяжело дышал. Только что проделанный спуск отнял у него все силы. Я не спеша освободил и смотал веревку, медленно надел заплечный мешок, приготовил компас и, наконец, закурил, чтобы дать время старику оправиться. Штрек был большого сечения и, не в пример прочим, довольно высок. Мы свободно пошли, не сгибаясь, в далекую дорогу в подземной глубине, отрезав себе всякую возможность возвращения. Я, безусловно, доверял старику. Сложнейший лабиринт разновременных выработок где-то мог вновь приблизиться к поверхности. При знании всех подробностей расположения древних и новых выработок мы

могли спастись. И это знание было у Поленова, последнего из оставшихся в живых мастеров горного дела прошлой эпохи.

Путь был утомителен и долог. Миновав без особых затруднений большие и правильные выработки Александровского рудника, мы долго пробирались ползком в частично обрушенных и низких работах двухсотлетней давности, пока, наконец, не выбрались в длинный штрек английской концессии. Пройдя этот штрек, мы попали в систему больших камер на месте незначительных гнезд сплошь вынутой руды, где должны были разыскать квершлаг — ход, соединяющий эти выработки с выработками соседнего, Щербаковского рудника. Щербаковский рудник отстоял от поселка Горного по поверхности около четырех километров, мы же проделали путь под землей много больший, и к этому времени старый штейгер совершенно выбился из сил. Я постелил на сырой пол камеры свою кожаную куртку, и Поленов в угрюмом молчании опустил на нее. Однако после того как мы поели и я дал старику шоколаду с добрым глотком коньяка, Поленов заметно прибодрился. Я решил не торопить старика, зажег еще одну свечу и с удобством устроился на мешке, покуривая и поглядывая кругом. Потолок камеры едва серел при тусклом свете; неровные, уступчатые стены из плиток голубоватого рудного мергеля были испещрены черными пятнами — обугленными отпечатками древних растений. Здесь было более сыро, чем в выработках, просекавших песчаники, и неподвижная тишина нарушалась мерным, четким падением водяных капель. Местами черные полосы пропластков, обогащенных медным блеском и углистой «сажей» ископаемых растений, резко прочерчивали породу оставленных столбов. Стены были испещрены синими и зелеными полосками окисленной части рудного слоя.

Влево от нас неровный, изборозженный трещинами потолок камеры быстро понижался к изогнутой полукружием галерее. В галерее чернели три низких отверстия. Одно из них должно было служить нам дальнейшей дорогой.

Я докурил вторую папиросу, когда Поленов сказал, что готов отправиться дальше.

— Отдыхай, Корнилыч,— отвечал я,— торопиться некуда, наверху все равно уже ночь.

— И то, пожалуй...— согласился штейгер.— Полпути сделали, а дальше-то хитрее будет.

— А что это за путь, которым мы пойдем, и кто такой Шаврин, открывший его?

— Ну, что за путь — сам увидишь, а про Шаврина могу рассказать — дружок он мой был.

И старик начал свой рассказ под монотонный аккомпанемент капель:

— Дело-то это незадолго перед концом крепостного права было — в пятьдесят девятом году. В ту пору я парнишкой восемнадцатилетним был, однако же по сметке и по выучке горным десятником работал. Андрюшка Шаврин — постарше меня на два года — тоже в горных десятниках ходил. Работали мы оба на Бурановском отводе и в Чебеньках — знаешь, где роща березовая сейчас, на спуске к Уранбашу, где Верхоторская горная контора тогда стояла. Против нее, по ту сторону речки, — Воскресенская горная контора. С Андрюшкой мы дружили, да и кто с ним не ладил — отменный парень был! Ну, не больно красив, но силен да статен, а уж умен да ласков — какой-то прямо особенный! Работу горную очень любил. Еще мальчишкой с моим да со своим отцом все по старым работам ходил: по поручению управляющего смотрели, чтобы потом, что хорошее осталось, взять. Хорошо выучился, книг много разных читал и, не в пример другим, любил вечерами после работы сидеть допоздна в степи и думать о чем-то... Все было бы хорошо. Работал Андрей — не нахвалишься, да только гордый был паренек. Ну, а крепостному-то гордость очень вредная, особо когда управляющий, как наш Афанасьев, строжак был. Графы-то Пашковы, к которым мы были приписаны, в горные дела мало вмешивались. Управляющий и орудовал как хотел. А Шаврин еще с соседями из Воскресенской конторы сдружился. Ихний управляющий — Фомой Рикардом звали — все его хвалил и к себе звал работать. Да

как уйдешь? Кабы государственный был, еще можно бы сделаться... Андрюшка часто у них пропадал и много чего лишнего понахватался — не по чину получилось. И это еще не беда. Нрав у Андрюшки был тихий, да как до Насти дело дошло, тут все перевернулось. Девка тут была одна, плотника Ферапонтова дочка. Ничего себе, красивая, косы длинные, грудь высокая, как сосенка статная. И певунья на редкость — голос на все конторы славился. Андрюшка и втемяшился в нее, она в Андрюшку. Словом, любовь у них такая пошла — сами не свои ходят, как зачарованные. Как вечер, бежит мой Андрюшка на Покровский рудник к своей Настеньке. Узнал про это управляющий и сильно освирипел. Он эту девку давно заметил и то ли для себя, то ли для своего сынка в любовницы прочил. Позвал он Настю к себе. Жил он тогда в большом белом доме на ферме, у Верхоторской конторы. Этот дом не сохранился — в революцию пожгли. Стоял он в большом саду, у пруда. А Шаврину управляющий приказ послал: немедленно собраться и ехать с завтрашним же обозом, что с рудой на завод в Уфимскую губернию пойдет: переводит он, значит, Андрюшку на Ивановский рудник, что недавно Пашковы за Демой купили. Андрюшка узнал — и свету не взвидел. Как же ему с Настей-то расстаться? Словом, побежал Андрюшка к Насте и узнал, что Настю управляющий к себе потребовал. А уж смеркаться начало... Андрей-то недаром умен — сообразил, что неспроста и его отсылают. Пустился он во весь дух на ферму. С Покровского-то хорошо бежать — вся дорога под гору. Уже стемнело, когда добежал. Быстро, никто его не заметил, пробрался в сад и затаился в кустах под окнами управляющего.

А управляющий как раз в это время Настю улежал. Да девка уперлась — ни в какую, хоть в Сибирь ссылай, хоть убей. Афанасьев в конце разъярился — не привык он к непокорству. Кликнул двух баб домашних — здоровенные такие бабищи были, — одежду они с Насти сорвали при нем и заперли голую в темный чулан, чтобы одумалась. Ну, Настя девка сильная,

и пока они с ней управились, шуму много наделала, и Андрюшка услышал этот шум, влез на карниз и заглянул в окно. Увидел он, как Настю бабы из комнаты утаскивают, и все в душе у парня перевернулось. Потом уже рассказывал он мне, что не в себе стал, плохо помнит, что было дальше. Высадил раму, в комнату прыгнул — кабинет этот был Афанасьева — да прямо к двери, в которую Настю утащили. Афанасьев увидел его — и скорей за ружье, что висело на стенке. Только взять он ружье не успел. Андрей схватил со стола какую-то тяжелую штуку да как ахнет управителя по зубам! Зубами Афанасьев всегда гордился — они у него были, как у цыгана, крупные, белые. Андрюшка их одним ударом вышиб. Парень здоровый, да еще осатанел совсем — ну, ясно, управляющий и покатился, обливаясь кровью. Тут бы его Андрюшка и прикончил, да голос Насти услышал. Управителя бросил и кинулся искать ее. Пока то да се, по дому тревога поднялась. Афанасьев тоже крепкий был мужик, быстро очухался и заорал: «На помощь!» Сбежались тут конторские сторожа и его, Афанасьева, охранители-кучера: звери, а не люди. Навалились скопом на Андрюшку, сбили с ног, скрутили. Афанасьев на Андрея глядит, ко рту платок прижимает и слова сказать не может — рычит только. Наконец прохрипел: «В амбар, завтра рассчитаемся!» Заперли Шаврина в крепкий амбар рядом с кузницей, сторожа выставили. А в доме управителя любушка его сидит — тоже запертая, своей участи дожидается. Вот как счастье-то их в один миг перевернулось, сгинуло!.. Ну ладно... Отдохнули мы, пора и дальше, — неожиданно оборвал рассказ Поленов и, покряхтывая, поднялся с земли.

Идти по широким штрекам в обширных Щербаковских выработках было легко. Но зато воздух здесь был тяжел. Огонек нашего фонаря еле мерцал, не давая даже возможности различить дорогу. Здесь, на наибольшей глубине, естественная вентиляция через системы выработок и продухи не полностью заваленных шахт почти отсутствовала. Дышать было трудно, и я серьезно тревожился за старого штейгера. Вскоре

перед нами выросла огромная насыпь крупных глыб и породы, скат которой уходил высоко вверх.

— Наверх, значит, надо лезть по ней,— сказал Поленов.— Только ох как осторожно нужно, Васильич!..

Пробуя, крепко ли лежат куски породы, с глыбы на глыбу, минуя сотни зияющих щелей, поднимались мы метр за метром на горизонт 27-й сажени. Я изо всех сил старался облегчить старику трудный подъем. Поднимались мы очень долго, пока наконец не добрались до желанной цели. Цель эта показалась мне весьма невзрачной. Широкая лавообразная выработка целиком села, от кровли отделились огромные плиты по три-четыре метра толщиной. Между новым потолком и севшими плитами зияла широкая щель, не более полуметра вышины, ведущая в новую неизвестность. Двадцать семь саженей толщины пород отделяли нас от поверхности земли. Но здесь приятно было почувствовать тягу воздуха, вздохнуть как следует. Пламя фонаря вспыхнуло и стало гореть ярче. Долго лежали мы, отдыхая, на гладкой плите, похожей на большую льдину. Движение воздуха колебало огонек фонаря и холодило разгоряченное лицо.

— Тянет здорово, Корнилыч,— нарушил я молчание.— Пожалуй, где-то близко выходные выработки.

— Ближко-то ближко, да не для нас. Это знаешь куда тянет? В большую Покровскую шахту, откуда воду берут в выселке на сырту. Ее второй горизонт примерно с этим сходится, и сбойка была, но нам туда не пробраться — село все, а понизу затоплено. Нет, наша дорога теперь направо, в Верхоторский отвод,— Мясниковский. Новый по-другому называется. Ну, давай полезли понемногу — отдыхался я...

Щель, несмотря на свой зловещий вид, оказалась сравнительно легко проходимой. Из нее мы попали в узкий ход, а дальше — в большие, правильные выработки и через несколько узких восстающих ходов поднялись метров на двенадцать выше. Потом потянулись низкие, неправильной формы, изогнутые ходы. Они неуклонно заворачивали к юго-востоку, пока не перешли в широкую и высокую галерею.

— Вот тебе и Старо-Ордынский! — обрадованно сказал штейгер. — Эта штольня кольцом вокруг пойдёт, а из нее — орты внутрь, как колесные спицы. Посередке большая камера — нам туда и надо... Да вот одна орта, в нее и лезем...

Низкое сводчатое отверстие хода чернело налево у пола галереи. Пришлось снова становиться на четвереньки и, испытывая острую боль в натруженных коленях, продвигаться по слегка наклонному тесному ходу. Внезапно орта кончилась, и мы вышли в огромный, почти круглый зал. Как я ни поднимал фонарь, мне не удалось разглядеть потолок, и только когда я зажег свечу, увидел его изрытую подсечками поверхность на высоте больше десяти метров. Огромные черные бревна столбовой крепи стояли колоннадой, подпирая своими терявшимися в темноте верхушками боковые уступы, косо сбегавшие с потолка к стенам зала. Пол был ровен и чист. Против устья орты виднелись высокие закати — штабели оставленной в выработке бедной руды.

— Ну и чудеса! — воскликнул я в восторге, осматриваясь кругом. — Но как крепи уцелели здесь за сто лет, не понимаю!

— Это дело немудреное. Прежде ведь дубами крепили. А уцелели потому, что не давило здесь. Попробуй-ка крепь — смекнешь сразу.

Я подошел к ближайшему черному столбу и тронул его пальцем. Палец вошел, как в масло, в сырую и черную мякоть, но в глубине нащупывалось твердое дерево. Присмотревшись, я заметил, что древесина окрашена местами в густо-синий, местами в зеленый цвета — значит, насквозь пропитана медными солями.

Мы расположились на отдых у штабелей руды. Часы показывали четыре утра: уже двадцать один час находились мы под землей. Усталость брала свое.

— Много ли осталось, Корнилыч? — обратился я к штейгеру, доставая еду.

— Тут уж пустое. Сейчас в Чебенки выйдем — и в штольню в Ордынском логу, выше ключа, в лесок.

— Ну и далеко же нас завело! Досталось тебе, Корнилыч!

— И то не думал я, что перед смертью здесь еще раз побываю. После Шаврина я был тут с сыном лет пятьдесят назад...

— Вот что: пока будем закусывать да отдыхать, доскажи-ка мне, что дальше с Андреем было,— попросил я.

— Выпивки-то осталось сколь-нибудь? — спросил старик.— Заморился я. А хорош шоколад-то: как поешь, сразу силы прибудет. В наше время мы его не видывали...

Он молчал, закусывая, и, только основательно заправившись, сказал:

— Ну ладно, слушай дальше... Так, значит, Андрюшка валялся в амбаре, скрученный по рукам и ногам, а мы ничего не слышали... Либо его связали не крепко, либо ярость в парне больно велика была, только ночью удалось Андрею от пут освободиться. И хитер же он был! Поразмялся маленько и влез на толстенную балку наверху, прямо над дверью, да как завопит диким голосом! Сторож перепугался, вызвал подмогу. Решили посмотреть, что стряслось с Андрюшкой: то ли ума решился, то ли помирает парень. Дверь отомкнули, вошли с фонарем в амбар... Андрюшка прыгнул сверху на последнего, что с ружьем у двери стоял, сбил его с ног, подхватился — и в степь. Ну тут: «Держи, лови!» — бух, бух в темноту... Где там! Сквозь землю провалился. Да и впрямь ведь в землю ушел — выручай, родная! И выручила...

Утром мне на работу выходить. Встал еще до свету. Мать на стол собирает и говорит, что с Андрюшкой неладное случилось. Уж слух прошел: и как управляющий Настю забрал, и как Шаврин ему зубы вышиб, и как сбежал он ночью куда-то. А что с Настей было, никто не знал. У меня от этих новостей даже дух захватило, и пошел я на работу сам не свой. Все думал, что теперь будет и как бы Андрею помочь. Работали мы в Чебеньках, на самом краю отвода. Полез я шестой забой проверять. Иду по штреку задумавшись, вдруг слышу Андрюшки Шаврина голос. А я все о нем думаю, и так это меня пробрало,

даже обмер я, остановился. Посмотрел туда, сюда — рядом печь старая. Посветил, гляжу — и впрямь Андрюшка меня рукой подманивает. Огляделся я кругом — никого, фонарь притушил — и в печь. А там, в глубине, разбуравлено было, и старый ордынский ход пересекался. Мы с Андрюшкой туда и прошли. Я к нему с расспросами, как да что. Андрей только головой помотал, — некогда, мол: Настю да и себя спасти надо. «Про тебя, говорит, знают, что ты дружок мой, следить будут, так ты долго здесь не задерживайся. Костьке Силаеву (это второй его дружок был) скажи, что я повидать его хочу ночью, чтобы только никто не видел. Принесите в Ордынский лог, к ключу у четырех больших берез, еды побольше — на несколько дней. Там я вас встречу и скажу, что дальше делать надо. И еще: пусть ты или Костя всенепременно перед вечером с кузнецовой Надеждой повидаются. Пусть она постарается передать Насте: жив Андрей и скоро ее освободит. Старому ироду пускай не поддается и ждет от меня известия...» На том и порешили. Харч, что я с собой взял, отдал Андрюшке, и он исчез в ордынской работе. Я потихоньку выбрался из печи — да к себе в забой. Места не нахожу, все думаю, как с Костей повидаться. На счастье, понадобились мне новые клинья, а наша кузница стояла у Верхне-Ордынского, где Костька работал. Я скорее туда. Ну, повезло: Костьку разыскал, перемигнулся, быстро ему все сказал... Сговорились, что Надежду он повидает. А встретимся мы у большого Волковского вывоза; выходить будем порознь. Отлегло у меня от сердца, вернулся я к себе на шахту. А кругом уж только и разговору, что об Андрюшке и Насте. Приказчики да сторожа в степь поскакали — Андрея ловить, да собаки охотничьи спущены были.

Управляющий занемог — видно, здорово его Андрей стукнул, — в постели лежал. Награду назначил большую, кто Шаврина поймает. Нарочный в Каргалу поскакал, полицию уведомить, а оттуда в Оренбург, к полицмейстеру, за приказом ловить Андрюшку и в железо ковать.

Я, как домой вернулся, мешок приготовил да потихоньку от матери насовал в него все, что под руку попало из еды. Подождал, когда все заснули. Наудачу, луны-то как раз не было, ночи теплые да темные. Пошел я, на душе беспокойно: за Андрюшку боюсь, не знаю, что дальше будет. Тихо в степи, пусто. Где-то стороной, слышно, верховые проскочили — должно, дружка моего ищут. По узенькой тропинке подошел я к Волковским вывозам. Чуть забелел на горушке большой вывоз — тут в кустах заворошилось, и Костя как из-под земли появился. И тоже с мешком. Пошли мы потихоньку, как два волка, в темноте непроглядной. Спустились в лог, и не по дороге, а на всякий случай по-за кустами, в полугоре пошли... Костя мне шепотком рассказывает, как был у Нади. Та, говорит, даже в лице изменилась, побледнела, однако же, говорит, сделаю. В сумерках прибежала, отдышаться не может. Настю ни увидеть, ни сказать ей не смогла, держат ее по-прежнему под замком. Из разговоров в доме Надежда узнала, что управляющий сильно занемог, но клянется, как только ему полегчает, непременно самолично сыскать Андрюшку и отомстить за свое уродство сполна...

Пока Костя все это рассказывал, подошли мы к месту. У родника повернули направо; здесь было чистое песчаное место, кругом — кусты чернотала, а выше — гривка небольшая с травой, и на ней четыре старые березы. Сели мы под березами. Тихо кругом. Крикнул я сычом. Послушал, еще раз крикнул. И вдруг, откуда ни возьмись, Андрюшка прямо перед нами. Мы даже перепугались от неожиданности. Рассказали мы ему все. Подумал Андрей и говорит: «Вот что, дружки мои любезные: вы теперь одна у меня надежда. Если вы не поможете — пропал я, а я пропаду — Настя тоже: загубит ее управляющий. Коли хотите помогать, делать это надо не мешкая. Сперва покажу я вам сейчас место, где меня сам черт, а не то что Афанасьев, не найдет. Вы в это место отнесите тулупчик какой или одеяло, посуду для воды да женское платье... Вот эту цидулю снесите в Воскресенскую контору — Рикарду. В собственные руки отдайте и ответа ждите.

Ответ отнесите сюда и положите — покажу, в какое место... Дальше вот еще что: старинный рудничок у самой фермы знаете? Там открытая работа большая, а в ней несколько штолен маленьких, осыпавшихся. Так вот: средняя штольня выведет в подкоп, подкоп пойдет все правее и правее, к ямам от дудок, что уж в самом Ордынском логу, в кустах. Нужно по этому подкопу пролезть и в одну из дудок ход расчистить наружу. Только землю, чур, внутрь отгребать. Надежде скажите, что я вечером послезавтра буду ее ждать в роще на Заовражном — ей туда добежать пустяк, а вы туда же приходите, как все обделаете. Только записку мою Рикарду обязательно завтра на свету снесите, а вечером — ответ». Шаврин вдруг замолчал, прислушался. Прислушались и мы с Костей. Внизу, по логу, слышен конский топот. «Ну, други, прятаться надо, это ведь меня ищут», — шепнул Андрюшка. Взял меня за руку, я — Костьку, и пошли мы в кусты, прихватив мешки. За кустами была большая старинная штольня — Ордынской звали. Устье широченное, высокое, верхом въехать можно. А сама штольня короткая, и выхода из нее нет. «Куда ты, Андрюшка? — говорю я Шаврину шепотом. — Ведь они беспрерывно в штольню заглянут — за тем, наверно, и едут...» — «Ладно. Конечно, заглянут... Да ты поспедай, а то мы их поздно заметили, заболтались...» И верно, под землей слышно — конские копыта уж совсем близко топают... В штольне — я знал хорошо — было три хода. Средний — самый длинный, сажен восемь. Андрюшка нас туда и повел. В конце — орта небольшая; туда и сюда печи слепыми забоями. Вот мы в левую печь заскочили. Андрюшка и шепчет: «Вверху, выше роста, подсечка узкая, всего два аршина в глубину и меньше аршина в ширину. В конце подсечки — ход вверх, ордынская выработка смыкается. Руки вперед суй, перегнешься туда вверх, ноги подтянешь — и хоть во весь рост вставай». Так и сделали, и в самое время — голоса уже по логу слышны. Тут, видишь, какое дело: ход-то, он прямо под подсечкой, вверх идет и назад над штольней поворачивает, узко очень, и как ни смотри — внизу ничего не уви-

дишь. Влезли мы все. Андрюшка подвинул два больших куска породы, опустил в подсечку и конец ее во все закрыл. И знать будешь, так не пролезешь. Назад от подсечки ход шире шел; сели мы втроем над самым отверстием и слушаем. Верно, в штольню идут, шарят везде, ближе к нашему забою подходят. Вот чуть-чуть засветило между камнями — это кто-то свечу прямо к забою поднес «Так нигде ходу нет?» — слышу, спрашивает, не узнал по голосу кто. А ему Рыбин, штейгер с Покровского, отвечает: «Посмотри сам. Мы ведь каждую печь знаем, — не видишь, что ли?» А мы сидим, притаились, друг друга локтем в бок подталкиваем. Ну, ушли незваные гости; высекли мы огонь, запалили свечу. Андрей нас и повел в свое убежище. Тут, оказывается, большие ордынские работы были. И никто о них ничего не знал. Знаешь, как у ордынцев-то было — ходы узкие, без крепей, трубами, стоят вечно. Труба за трубой спускаются наклонно вниз до большой выработки, где ордынцы богатое гнездо брали. Здесь Андрюшка-то и основался. Показал он нам оттуда путь в Старо-Ордынский рудник — в эту вот большущую залу, где мы с тобой сейчас сидим.

Большая ордынская выработка с хорошую горницу величиной была, только пониже малость. Посередине гладкие плиты крепкого песчаника были теми ордынцами положены. На них мы сложили припас из мешков, свечи оставили, огниво; сюда же уговорились записку положить. На том и покончили. Поползли по трубам наверх, добрались до штольни, камни вытащили и вылезли. Андрюшка ход за нами опять закрыл. Послушали — никого. Ну и дернули домой без оглядки! Пришли ночью и выспаться еще успели... Ну, а мы с тобой, Васильич, успели отдохнуть. Хватит сказки-то сказывать, давай выбираться...

Штабель у южной стены зала, где мы сидели, постепенно повышался. С него можно было забраться на уступ стены. Выше шла узкая просечка, по которой я, упираясь в стенки спиной и ногами, забрался на второй уступ, почти под самым потолком камеры. Этот уступ, вернее — карниз, был очень узок. Пришлось лечь на бок, лицом к стене, и проползти три-

четыре метра налево, к выходу доисторической трубообразной выработки. В ней я наконец твердо закрепился и втащил Поленова на веревке. Развернуться уже было нельзя, и я так полз дальше, ногами вперед. Следом за мной, отдуваясь, полз Поленов. Проклятая выработка упорно поднималась вверх, и казалось, ей не будет конца. Я уже начал было думать, что кости на моих локтях вылезли наружу, но вот ноги потеряли опору, и я лягушкой выскочил на ровный пол. Это и была та самая подземная горница, где скрывался семьдесят лет тому назад Шаврин. Гладкие стены, характерные для доисторической выработки бронзового века, имели овальные очертания, потолок поднимался куполом, а пол углублялся в виде чаши. Я увидел гладкие камни посередине камеры, о которых рассказывал штейгер. Осмотрев камеру, я нашел две источенные бронзовые кайлы и несколько медных слитков. Кайлы, один слиток, черепки какой-то посуды и череп, найденный в смежной орте, были впоследствии отосланы мною в Русский музей в Ленинграде. Штейгер шарил с фонарем по полу, бормоча что-то.

— Вот смотри, Васильич,— сказал он и направил свет фонаря за один из больших камней. Я увидел почерневшую, но хорошо сохранившуюся дубовую кадучку.— Бадейка для воды, ее Костька приволок, а вот и нож Андрюшки...— Старик поднял с полу ржавый обломок ножа и бережно сунул его в карман.— Как есть все так лежит, будто только год назад было...— Даже при скудном свете фонаря видно было, как молодо заблестели глаза старика.— Эх, жизнь рабочая! Прошла, как один день.

Поленову не хотелось, видно, торопиться. Он обошел с фонарем всю выработку кругом, посидел на камне, не обращая на меня внимания. Я воспользовался этим для подробного осмотра выработки и нескольких ходов из нее. Поленов позвал меня идти дальше, и снова началось ползание по трубообразным, узким ходам. Мы поднимались постепенно выше и выше, в то же время неуклонно направляясь на юго-юго-восток. Странно было увидеть впереди голубое об-

лачко отраженного света, резко отличавшегося от красноватого пламени свечей, долго светившего нам в подземном мраке. Свет усиливался. И вот с чувством несказанного облегчения я погасил и спрятал в карман свечу.

Столб неяркого света поднимался над квадратным отверстием в конце хода. Свесив ноги в отверстие, я решительно скользнул в него и остановился на ступеньке верхнего вруба забоя, повернулся, второй раз проделал то же самое и очутился на почве забоя. Я помог спуститься штейгеру, и оба мы, торопясь и спотыкаясь, пробежали оставшиеся пятнадцать метров навстречу нарастающей яркости голубого дня. Я нетерпеливо раздвинул густой кустарник у входа и, упиваясь морем свежего, теплого воздуха, ослепленный светом до боли в глазах, не мог удержаться от радостного крика. Обернувшись к Поленову, я подумал, что суровый старик будет смеяться надо мной. Однако и на его лице светилась счастливая улыбка, он тоже радовался красоте просторного солнечного мира. Высокое полдненное солнце встретило нас ласковым теплом. Тихий шелест осеннего ветерка звучал в наших ушах приветствием. Двадцать девять часов провели мы во мраке и тишине подземных выработок!

— Ну, Васильич, погреемся маленько, отдохнем, да и в Уранбаш пойдем, на ферму, бывшую Пашковскую, тут близко. Там и лошадь достанем, а то домой-то далеко, не дойду я. Выручил нас Андрюшка! Не знаю ведь я, что с ним потом случилось...

— Доскажи мне, Корнилыч, про Шаврина,— попросил я, раскладывая на солнцепеке отсыревшие папиросы.

— Да уж и рассказывать-то почти нечего. Сделали мы все, что Андрюшка сказал. Следующей же ночью мы с Костькой опять в ордынскую работу забрались, принесли тулуп старый, бадейку, еще хлеба да ответ от Рикарда. К нему я сам ходил украдкой. Прочитал он записку, усмехнулся и ушел куда-то, а я в конторе ждал. Вернулся, посвистал, походил по комнате, написал что-то на бумаге и мне отдал. Я сунул бумагу за пазуху да со всех ног домой, даже спа-

собо не сказал. Все боялся — заприметит кто-нибудь, что в Воскресенку ходил.

Назавтра мы с Костей узнали: управляющий Афанасьев маленько оправился, полиция приехала, сидят в его кабинете, пьют, совет держат, как им Шаврина изловить. Едва только смерклось, мы, как кошки, — из дому. Я топор несу — Андрюшка просил, Костя еще свечей добыл. На холмике, что против фермы, в кустах залегли — ждем, когда Надька побежит по столбовой тропке мимо. Слышим — пробежала, а сами ждем да слушаем, не следит ли кто сзади. Долго лежали — не слышать никого. Тогда и сами — шасть вниз, в рощу Заовражную. Я опять сычом крикнул: Андрюшка ответил тихим свистом. Подошли, смотрим — тут же, у березки, и Надежда стоит.

«Так непременно, Надюшка, сделай», — говорил ей Андрей. «Все сделаю», — отвечает. «Ну, спасибо тебе, родная, прощай, не поминай лихом». Надежда обняла его, крепко поцеловала и быстро так ушла... Андрей повел нас в лог, по дороге рассказывает, что мы делать должны. Завтра управляющий самолично поедет по рудникам — выслеживать Андрюшку. Догадался старый волк, что беглец скрывается в подземных работах. Как уедут все, нам с Костькой удрать на ферму и непременно подпалить дальний амбар, что у конюшни, на горке. А как подпалим — бежать что есть духу на Бурановский, смотреть с горы, что будет, и потом неприметно вернуться домой. А приходить Андрюшку проводить не раньше чем через пару дней — после пожара-то крепко следить будут за всеми и уж в Ордынском логу станут шарить всенепременно. Ну, сговорились мы, попрощались и разошлись.

Утром Афанасьев с полицией, подручными да с любимыми борзыми уехал в Богоявленскую контору — это где Горный наш сейчас стоит, — а в обед мы с Костькой пробрались огородами по-над речкой на ферму, на зады к конюшне. Смотрим — у амбара зарод¹ сена клеверного стоит, для лошадей управляющего. Мы подожгли амбар да заодно и зарод подпа-

¹ Зарод — стог.

лили — и ну бежать низом что было мочи!.. Уж порядочно отбежали — слышим крик, сполох поднялся. Мы еще ходу прибавили и Федоровским оврагом на сырт выбрались, дорогу перебежали и еле живы пошли на Бурановский. У самих сердце-то так и екает: что-то теперь будет и удастся ли Андрюшке задуманное. Дым высоко поднялся, большущий, шум да рев издалека доносится...

Вернулись мы на работу удачно, в срок. Сидим каждый в своей шахте тихо, как мыши, — знать ничего не знаем... А тут только и разговору, что о пожаре на ферме. Загорелся, мол, амбар, да быстро потушили... После работы пошли мы с Костькой вместе домой. А дома нас встречают: «Как, вы ничего не знаете?» — «Что такое?» — спрашиваем. «Как же, на деревне-то Андрюшка Шаврин объявился, поджег амбар да зарод сена. Когда все побежали туда, он кинулся в дом управляющего с топором — страшный, глаза, как у волка, горят. Бабы, что за Настей смотрели, бежать. Андрюшка-то знал, где Настя сидит, дверь мигом высадил, схватил Настю за руку, и побежали они через сад и потом за Верхоторскую контору — и в степь. Тут их было нагнали. В степи-то куда скроешься? Вот уж совсем их настигли, но они до первых вывозов старого рудника добежали и как сквозь землю провалились. Пока за штейгером в контору побежали, да за свечками, да за огнем, Андрюшки с Настей и след простыл. Искали их, искали, по всему логу шарили: знают, Афанасьев приедет — беда будет, но так и не нашли. Атут и Афанасьев вернулся. Потемнел он, когда приказчик доложил ему о пожаре да о побеге. Собрал народу многое множество и кинулся сам по логу искать, а оттуда на Среднюю Каргалку уехал. Ездил, ездил и вернулся ни с чем...

Обрадовались мы с Костей: вышло у Андрея все как по-писаному. День выждали — все спокойно. На второй уж уговорились ночью к Андрюшке пробраться, как вдруг зовут нас в контору. Собрали в конторе всех, кто с Андрюшкой дружил, его да Настину семьи пригнали и допытывают, кто ему помогал да кто знает, где он укрывается... Никто ничего не знает, и

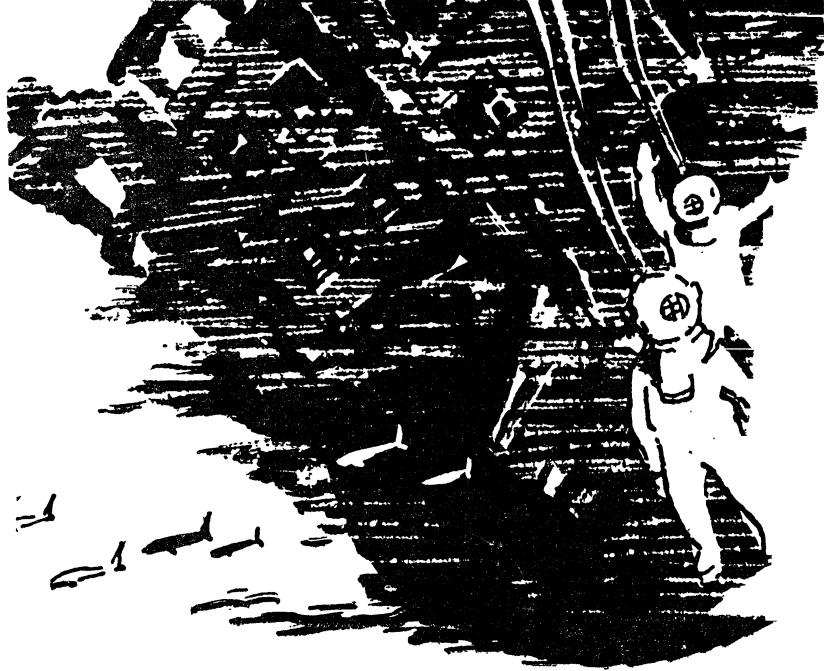
мы с Костей молчим. Сильно нас подозревали, кричали, Сибирью грозили, да ведь не пойман — не вор, ничего не поделаешь... Все же посадили нас в холодную и три дня в ней продержали, и без толку; уперлись мы: ничего, мол, не знаем, спросите у кого хотите — работали мы в шахте, каждый вечер дома были. Отпустили нас. Мы еще две ночи выждали — хотели увериться, что не следят за нами, и пошли в Ордынский лог знакомой дорогой, прямо в Андриюшкину подземную горницу. Смотрим — никого, припасов и платья нет; только бадейка и тулуп оставлены. А на камне письмо нам с Костей лежит: прощайте, друзья, век мы с Настей будем вас помнить; уезжаем далеко, не придется уже свидеться.

И с тех пор ни об Андриюшке, ни о Насте никто ничего не слышал. И сколько Афанасьев ни рыскал по степи, куда соглядатаев своих ни запускать, ничего не добился. Года полтора прошло, и крепостному праву наступил конец.

Стал я ждать от Андриюшки писем, но так и не дождался. Потом, позднее, спросил у Рикарда, не знает ли он чего про Андрея. Тот долго отнекивался и только года через три сказал, что это он Андрею помог. Случилось так, что как раз ихний ревизор в то время в Самару должен был ехать. Спрятал он беглецов в своем экипаже — большой такой рыдван, кони хорошие, — и к рассвету Андрей с Настей уж далеко от нашей степи были. До самой Самары довез их ревизор, снабдил деньгами и письмом, рассказал, как дальше быть. Волга — всем беглецам помога. Уехали они в Астрахань. А что дальше случилось с обоими, не знаю; знаю только, что от нашей неволи они ушли...

— Вот, собственно, и все, что я могу рассказать о приключении, которое неизгладимо врезалось мне в память. На следующий год я приехал на рудники позднее обычного. В поселке Горном я узнал, чтоштейгер Поленов умер в начале лета. «Все вас поджидал, да вот не дождался», — говорили мне знакомые из поселка.

Лет пять спустя на большом совещании по цветным металлам в Москве я обратил внимание на высокого хорошо одетого инженера, выступавшего с критикой организации горных работ одного большого рудного района в Сибири. Я пришел в восхищение от умного и дельного доклада и спросил одного из сибиряков, кто это такой. «Это Шаврин,— отвечал инженер.— Очень дельный работник и потомственный горняк...» Я стал искать встречи с Шавриным, но оказалось, что он на следующий день уехал в Сибирь...



ВСТРЕЧА НАД ТУСКАРОРОЙ

Немало лет тому назад я плавал старпомом на вольно большом пароходе «Коминтерн» — в пять сян тонн, добротной английской постройки. Ходил между Владивостоком и Камчаткой, изредка на в в Шанхай или поближе — в Гензан и Хакодате.

В июле 1926 года мы шли очередным рейсом в ропавловск, с заходом в Хакодате — следовательно, через Цугарский пролив. Вышли из Хакодате к вечеру, а через сутки привалил бешеный шторм — на стоящий тайфун от зюйд-веста. Поднялось такое волнение, что, когда мы проходили траверз Немуро, волны стали закрывать судно. У нас был ценный груз на па-

лубе, а кроме того, разные хрупкие машины в трюме. Наш капитан Бегунов, очень славный, хотя и суровый старик, после короткого совещания со мной на мостике решил повернуть полнее бакштага, почти на фордевинд. Судно сразу перестало брать на себя воду и, невзирая на адскую волну, пошло спокойнее. Пришлось мне проложить новый курс вместо обычного: я оставил остров Сикотан к норду и пошел восточнее Курильских островов...

Штормом колотило нас всю ночь, и только на следующее утро стало стихать. Но ветер был очень свеж до самого вечера. К ночи же стихло, и я рано завалился спать, так как устал за последние сутки отчаянно.

Ночь выдалась совершенно необычная в этих местах — безветрие, полный штиль, — ясная и безлунная. Я спал очень крепко, но, по прочно укоренившейся привычке, проснулся со звоном склянок. Хотя я и не сосчитал ударов, но знал, что до моей вахты полчаса. И действительно, почти сейчас же явился буфетчик с огромной кружкой горячего какао. Эту привычку я всем могу посоветовать — перед вахтой выпить горячего какао, тогда холод и сырость не страшны и ко сну сразу же перестает клонить. Я вскочил, быстро оделся, выпил какао и, закутив трубку, снова растянулся на койке. Как хороши эти десять — пятнадцать минут перед выходом на ночную вахту, в холод, мрак, сырость и туман!

Затягиваясь душистым, крепким табаком, я вслушивался в неравномерный всплеск волн и четкую работу машины. Ее мощный шум и легкое сотрясение всего огромного корпуса судна действовали успокоительно, вроде тихой музыкальной мелодии. В каюте было тепло, яркий свет лампы падал на столик с лежащей на нем интересной книгой — наслаждение, которое я предвкушал после вахты. Я с удовольствием осмотрел свою каюту — крошечный «особняк», несущийся на двадцатифутовой высоте над страшной зеленой глубиной Тихого океана, и подумал, что профессия моряка увлекла меня прежде всего тем, что она оставляла мне много времени на размышления, к которым я всегда был склонен.

Мои мысли были прерваны стуком в дверь. Дверь распахнулась, и на пороге появилась массивная фигура капитана.

— Что вы бродите в такую рань, Семен Митрофанович? — спросил я, поворачивая к нему тяжелое кресло. — Еще, наверно, не рассвело.

— Ну, как не рассвело! Скоро огни гасить можно... Эх, и погода же редкостная!..

— Вот в такую-то погоду только и спать, — сказал я. — Ну, я-то, конечно, страдалец — мне на вахту, — а вы что?

— Эх, молодежь! Вам бы только понежиться! — добродушно отвечал капитан. — А мне, старику, много спать не нужно. Я уже палубу обошел, убытки от шторма посчитал... Кстати, Евгений Николаевич, вы ортодромию вашу днем проверьте, чтобы не только по счислению было, — добавил он, в то время как я обматывал шею шарфом и натягивал пальто.

— Обязательно, Семен Митрофанович, трасса у нас новая, — ответил я капитану и чиркнул спичку, закуривая трубку.

Резкий толчок и последовавший за ним глухой удар потрясли корпус судна. Почти одновременно раздался грохот где-то в кормовой части, и шум машины прервался. Несколько секунд мы с капитаном молча глядели друг на друга, прислушиваясь. Вот машина возобновила работу — и снова тот же грохот, сменившийся тишиной. Горящая спичка, которую я продолжал держать в руке, обожгла палец, и я, опередив капитана, кинулся из каюты...

Все, кто много плавал, поймут мои чувства в те минуты, зная, с каким невольным страхом воспринимается остановка машины в открытом море. Мощное сердце корабля своим биением сообщает ему жизнь и силу для борьбы со стихией. Но вот оно остановилось, и корабль мертв, теперь он игрушка океана...

Повернув к трапу, я поскользнулся и тут только заметил, что судно имеет крен на левый борт. В этот момент меня догнал капитан. Прерывистое дыхание выдавало его волнение, но поседевший на море старик не произнес ни слова.

На палубе было темно. Едва обозначавшийся расцвет отмечал только общие контуры судна. Дверь штурманской рубки была раскрыта, и из нее падала полоса света. С мостика слышался встревоженный голос третьего помощника:

— Беда, Семен Митрофанович! Налетели на риф... Винт, кажется, разбит, руль заклинило...

Капитан сердито крикнул:

— Какой, к черту, риф?! Здесь глубочайшая пучина океана!

«Ну конечно, Тускарорская впадина», — немного успокаиваясь, сообразил я.

Капитан поднялся на мостик. Мое место было на палубе.

— Боцман, подвахтенных наверх, приготовить лот! — приказал я.

Напрягая зрение, я видел, как капитан склонился к переговорной трубе. «Говорит с механиком», — подумал я. Слабо зазвенел телеграф. Снова слышался грохот под кормой. Звонок телеграфа совпал с прекращением работы машины.

— Евгений Николаевич, давайте лотом по правому борту, — донесся голос капитана.

Я отдал команду. Боцман откликнулся из темноты:

— Нет дна!

— Ближе к носу у крамбола! — скомандовал капитан.

— Две марки и две! — отозвался боцман.

— Четырнадцать футов? Что за черт! — воскликнул я.

По левому борту глубина оказалась от двенадцати до восемнадцати футов, за кормой — двадцать футов.

Рассветало. Я перегнулся через борт, стараясь что-нибудь рассмотреть в темной воде, плескавшейся внизу. Было то тяжелое и медлительное дыхание моря, которое зовется мертвой зыбью. С удивлением я воспринял мерное покачивание парохода на крупной и длинной волне. Это покачивание не сопровождалось ударами, что было бы неизбежно при посадке на риф. Капитан позвал меня на мостик. Перегнувшись через перила, он упорно всматривался в волны с левого

борта. Вспыхнул прожектор. Серая мгла рассветных сумерек отошла дальше от корабля. Я заметил, что под левым бортом корабля волны были меньше, чем кругом,—короткие и плоские.

— Евгений Николаевич, давайте скорее место судна по счислению!

— Есть, Семен Митрофанович! — ответил я и направился в штурманскую рубку.

— Шлюпку спустить! — слышался голос капитана.— Петя (так звали трегового помощника), вы с лотом в шлюпке.

Мое уважение к капитану, без лишней суеты выяснявшему аварию, еще более возросло. «Молодец, старик!» — думал я, накладывая транспорты на карту, и слышал шаги капитана за спиной.

— Ну что? — спокойно спросил он, едва взглянув на карту, где наколотая точка легла вдали от Курильских островов, над страшными глубинами Тускароры.

Внезапная догадка молнией пронеслась в моем мозгу.

— Я, кажется, понял, Семен Митрофанович,— проговорил я.

— Что поняли?

— На судно затонувшее налетели.

— Так оно и есть,— подтвердил капитан.— Шансов один на миллион, а вот повезло же нам, нечего сказать... Ну, что там Петины промеры?

Мы вышли на мостик.

Шлюпка уже пристала к левому борту. Как мы и ожидали, даже в небольшом удалении от корабля дна не было.

Наступило ясное утро. Из трюмов вернулись ревизор и боцман, доложившие, что течи нет. В это время к нам поднялся начальник водолазной спасательной партии, которую мы везли для снятия с мели японского судна «Америкамару», — опытный морской инженер.

Он обошел судно, потом поднялся на мостик.

— Начнем, командир? — спросил инженер.

— Ладно, давайте скорей, — согласился капитан.

— Везли вас японца спасать, да и сами в спасаемых очутились.

Два водолаза, широкие, как комоды,— по-видимому, огромной силы люди — приступили к сборам. Я сам несколько раз совершал короткие спуски под воду, но еще ни разу не видел работы водолазов в открытом море и с интересом наблюдал за ними.

Промерами на шлюпке была установлена приблизительная ширина потонувшего судна. С левого борта укрепили выстрел, с которого сбросили узкий трап. Водолаз вооружился длинным шестом и начал спуск прямо в волны, время от времени упираясь шестом в борт парохода и раскачиваясь на трапе. Вдруг он отпустил лестницу и сразу скрылся под водой, оставив на поверхности тысячи воздушных пузырьков.

Начальник водолазной партии стоял на борту у телефона. Он помахал нам рукой, подзывая к себе.

Мне показалось, что в лучах поднявшегося над горизонтом солнца под кораблем смутно очерчивается какая-то темная масса.

— Пройдите назад! — закричал в телефон инженер.— Да... Ну, проползите!.. А дальше? Хорошо...

— Что хорошо-то? — не утерпел капитан.

Но инженер ничего не ответил. Прошло, как мне показалось, много минут напряженного ожидания. Мембраны телефона время от времени глухо гудели.

— Попробуйте проникнуть в кормовое помещение или в трюм,— сказал инженер и передал телефон второму водолазу.— Ну, вот что, командир,— сказал он, поворачиваясь к капитану,— чудеса, да и только! Навстречу нам под водой шел какой-то затонувший корабль. Мы с размаху налетели на него. Наш «Коминтерн» отличается очень острыми обводами — он и вошел в корпус погибшего судна, как топор в бревно, и, видимо, крепко завяз. Потонувший корабль — очень старый деревянный большой парусник. Мачты обломаны, конечно. Форштевень «Коминтерна» сидит в кормовом помещении парусника, а винт и руль находятся как раз над обломком бушприта. Они, слава богу, целы. Когда пробовали провертывать машину, винт бьет о бушприт. Крепок же этот старинный парусник — вот что удивления достойно!

— Объясните-ка мне, товарищ инженер,— спросил капитан,— как мог потонувший корабль столько времени плавать, да еще под водой, на манер подводной лодки?

— Очень просто: судно-то деревянное, да, наверно, и груз у него легкий. Я послал водолаза в трюм посмотреть, что там. А под воду это вы его своим пароходом загнали — он, наверно, чуть-чуть над водой высывался... Да, конечно, пусть поднимется,— прервал свои объяснения инженер, обращаясь к водолазу у телефона.

Собравшаяся у борта команда, да и мы с капитаном смотрели на поднимавшегося водолаза, как на вестника из неизвестной страны. Этот человек смело опустился в воду посреди океана и глубоко под пароходом ходил по погибшему кораблю, много лет носившемуся в морских просторах. Веселые, слегка озорные глаза снявшего скафандр водолаза ничем не выдавали утомления, которое он, несомненно, должен был испытывать. На совещании в штурманской рубке водолаз начертил примерный корпус потонувшего корабля, удививший нас своими старинными очертаниями. Зная, что я интересовался всегда историей флота и особенно парусных кораблей, капитан спросил меня, не могу ли я определить класс и возраст судна. По грубым контурам, набросанным водолазом, разумеется, было очень трудно решить что-нибудь. Во всяком случае, это был трехмачтовый корабль весьма больших размеров, с широким корпусом и приподнятой кормой. Я решил, что ему не менее ста лет со времени постройки. Водолаз сообщил, что корпус корабля построен из очень плотного дерева. Трюм, по-видимому, забит доверху легкими пластинами пробки.

Немного подумав, инженер решил попробовать подорвать правый борт парусника, с тем чтобы плавающий груз вывалился. Тогда тяжелый, пропитанный водой деревянный корпус корабля пойдет ко дну собственным весом, и мы освободимся.

— Ну что же, давайте освобождайте, ради всего святого! — воскликнул капитан.

Инженер снова задумался.

— Какие еще затруднения? — с тревогой спросил капитан.

— Дело в том, что для этой работы нужно два человека — будет скорее и, главное, безопаснее. Если через трюм не проникнуть к борту, то придется снаружи долбить, а с течением очень тяжело справляться. Еще счастье, что так необыкновенно тихо, а то совсем плохо было бы.

— Но ведь у вас два водолаза,— сказал я.

— Водолазов-то два, но один должен быть наверху, у насоса,— ведь часть наших специалистов вперед на «Лозовском» уехала. Вот и думаю, как быть...

Тут я вспомнил о своем небольшом водолажном опыте и подумал: «А что, если мне спуститься?» Конечно, страшновато было спускаться в открытом море, но я был уверен, что как вспомогательная сила пригожусь. Я предложил инженеру свои услуги в качестве второго водолаза и в ответ на его недоверчивую улыбку рассказал о своих возможностях.

— Ну уж пусть сам водолаз решит, берет он вас в помощники или нет,— сказал инженер.

Водолаз оглядел меня оценивающим взглядом и задал несколько вопросов о работе в скафандре. Мои ответы как будто удовлетворили его, и он согласился взять меня помощником, предупредив, что если меня как следует долбанет о корпус, чтобы я обижался только на самого себя.

Я выслушал внимательно все наставления, думая в то же время, что если «долбанет о корпус», то вряд ли я вспомню советы водолаза...

Команда отнеслась к моему погружению с дружеским и веселым энтузиазмом, и пока одевали меня в скафандр, я успел наслушаться немало острых словечек, на которые моряки мастера.

Наконец все приготовления были закончены. Надетый шлем как-то сразу отделил меня от привычного мира. Водолаз уже скрылся под кораблем, когда я, не особенно ловко передвигая пудовые ноги, стал спускаться по трапу. Все мое внимание было поглощено качавшейся подо мною темно-зеленой поверхностью

воды. Я должен был одновременно надавить затылком на выпускной клапан, вытравить побольше воздуха и поднырнуть под волну в момент ее отдачи назад. Я проделал это, и через несколько секунд густой сумрак окутало окошечко шлема. Вода действительно была меня с левой стороны, и, только напрягая все силы, я удержался на чем-то наклонно поднимавшемся вверх справа от меня и смог оглядеться. Яркое светившее над морем солнце давало достаточно света. Сначала я различал только общие контуры потонувшего корабля, пересеченные косой черной тенью, падавшей от борта «Коминтерна». Затем я увидел квадратный выступ — остаток какой-то палубной постройки, а за ней — толстый обрубок, как я понял потом — обломок мачты, прислонившись к которому стоял водолаз. Я немедленно добрался до него и направился следом за ним к борту парусника.

Это был трудный спуск по скользкой, покрытой водорослями, раковинами и слизью наклонной поверхности. Но вода, давя навстречу, хорошо поддерживала нас. Как было условлено еще наверху, мы решили проникнуть в трюм через разбитое кормовое помещение.

Борт погибшего судна обозначался четкой линией, за которой прекращалось отражение слабого света, падавшего сверху.

Дальше была темнота — обрыв в чудовищную пучину абсолютно черной воды, и я внутренне содрогнулся, представив себе, что борт судна висит над восьмикилометровой глубиной...

Вместе с колыханием волн по палубе потонувшего судна бежали пятна солнечного света. Следя за тусклыми и зеленоватыми бликами солнца, я старался воссоздать облик корабля. Тренированная на очертаниях старых парусников память помогла мне в этом. Сквозь толщу наросших раковин и извивающиеся хвосты водорослей я скорее угадал, чем увидел трехмачтовый корабль с широким корпусом, весьма массивной постройки. Низкий и тупой нос, высокая корма говорили о XVIII столетии. По очень толстому обломку бушприта угадывалась его значительная длина, что было

также типично для судов XVIII века. В общем корпус сохранился великолепно, даже крышка трюмного люка была налицо. Немного впереди грот-мачты начиналась большая вмятина. Продавленная килем нашего судна палуба просела, карленсы перекошились, торчали переломанные бимсы, придавая этой части судна вид мрачного разрушения, усиленного глубокой чернотой, царившей в проломах и щелях.

Я застыл в недоумении перед хаосом изломанных балок и досок, но мой спутник включил сильный электрический фонарь и сразу же повернул налево. Здесь действительно, как я и предполагал «теоретически», чернел правый коридор юта, уцелевший от разрушения при столкновении судов. Я тоже включил свой фонарь, и плечом к плечу с водолазом мы вошли в густой мрак, осторожно нащупывая ногами доски палубного настила. Направо от нас чуть серел свет, проходивший, как я догадался, в задние кормовые окна, или, вернее, в то, что от них уцелело. Несомненно, люки в трюм, если они и были, остались позади нас, наверно несколько правее, и мы миновали их, проникнув глубоко внутрь кормы. Подталкиваемый жгучим любопытством, я быстро сообразил, что свет должен проходить через кают-компанию, а напротив нее, по обыкновению, должна быть каюта капитана. На правой от меня стенке, где сейчас колыхалось чуть заметное серое пятно света, должен быть вход в каюту, которая, возможно, хранит тайну этого корабля. Я решительно двинулся направо. Красноватый в воде свет электрического фонаря скользнул по черно-бурой стене без признаков каких-либо отверстий. Я положил на стену руку в резиновой перчатке и, ведя ее по осклизлым доскам, вскоре нащупал ребро дверной рамы.

«По-видимому, дверь здесь», — решил я и начал толкать стену плечом. Но она не поддавалась. Я ударил по стене ломом, который на четвертом ударе пробил дерево и чуть было не выскользнул из моих рук, проникнув в пустоту — вернее, в воду за дверью. Еще и еще нажимал я на дверь, когда за моей спиной расплылся световой круг фонаря водолаза. Он прибли-

зил свой шлем к моему, и я увидел в полутьме его удивленное и встревоженное лицо. Я указал ему на дверь. Он согласно кивнул. В это самое время до моего сознания дошел голос инженера, настойчиво повторявший: «Товарищ старпом, что с вами, почему не отвечаете?» Я коротко сообщил, что пробрался в кормовое помещение, все в порядке, сейчас будем пробираться в трюм.

Голос в телефоне успокоенно замолк, и я снова обратился всеми помыслами к двери в капитанскую каюту. В том, что за этой дверью была именно каюта капитана, я был безотчетно и совершенно уверен.

Водолаз провел рукой по краю дверной ниши и всунул свой ломик между дверью и дверной коробкой. «Черт возьми! Наверно, дверь открывается наружу»,— осенило меня, и я присоединил свои усилия к медвежьей силе водолаза. Не прошло и двух минут, как мы стояли в непроглядной тьме того помещения, которое когда-то служило капитану. Наши фонари не давали много света, помещение было большое, и я так и не мог себе представить точного вида капитанской каюты. Пол под нами был ровен и скользок. Какие-то куски дерева—должно быть, остатки мебели—постоянно попадались нам. Носок моего тяжелого ботинка стукнулся обо что-то. Свет фонаря вырвал из темноты угол квадратного ящика, лежавшего на боку у левой стены каюты.

— Ага! — обрадованно вскричал я.

И сейчас же совсем из другого мира возник голос инженера:

— Что «ага»?

— Ничего, все в порядке,—поспешил ответить я и нагнулся за ящиком.

Он был не тяжел, но мне, и без того обремененному инструментами и уставшему от непривычной работы, было очень трудно нести эту дополнительную ношу.

Водолаз тем временем обошел каюту по правой стороне и тоже нашел два небольших ящика, которые нес, зажав под мышкой. Он удовлетворенно кивнул,

увидев мою находку. Не обнаружив больше в каюте ничего примечательного, мы приступили к «совещанию». Переговорив через верхние телефоны, то есть через судно, мы вынесли наши находки на палубу и положили в укромное место. Затем снова вернулись в коридор и как-то очень быстро разыскали проход в трюм.

О дальнейшем я вряд ли сумею рассказать сколько-нибудь связно и подробно. Это был тяжелый труд в бесконечной черноте узких, загроможденных проходов. Наконец мы с водолазом выполнили нашу задачу и заложили несколько зарядов на участке днища и правого борта судна. Когда все кончилось и соединения проводов были проверены, я почувствовал, что измотался окончательно, и без сил прислонился к массивному пиллерсу в трюме близ кормы. Водолаз понимал мое состояние и дал мне немного отдышаться. Поднимаясь снова на палубу, что оказалось совсем не легким делом, я тупо обрадовался тусклому мерцанию солнечного света и в последний раз обвел взглядом необыкновенную картину палубы потонувшего судна — резко очерченную в мутном свете правую скулу корабля и торчащий обломок бушприта.

Я подал сигнал «поднимайте». Нарастающая масса света хлынула на меня, волны снова грозили ударами, блеск поверхности моря был неожидан и радостен... Пока ловкие руки снимали с меня шлем и освобождали от тяжести скафандра, был поднят и мой спутник.

Устало опустившись на колен, я с восхищением смотрел на водолаза, казалось несколько не потерявшего своей задорной бодрости и после второго спуска.

— Ну, молодец ваш старпом, — обратился водолаз к капитану, — справился что надо! Мы с ним — вернее, он — еще исследовательский поход проделали и в командирской каюте что-то нашарили. — И он кивнул в сторону нашей добычи, уже поднятой на палубу.

— С этим потом, — сказал инженер, — сейчас палить будем.

Глаза всех собравшихся на палубе людей в напряженном ожидании были прикованы к маленькому

коричневому ящику индуктора, перед которым на коленях стоял инженер, закручивая рукоятку. Вращение рукоятки все убыстрялось, маленькая машинка мелодично жужжала. Все слушали, затаив дыхание. Было очень тихо, только плеск волн доносился из-за высокого борта. Достаточно было едва уловимого нажима тонких пальцев инженера на кнопке замыкателя, как глухой гул подводного взрыва ударил по нервам. «Коминтерн» покачнулся, его железный корпус загудел, как гигантский рояль. С левого борта плеснула высокая волна. В откатившейся массе воды замелькали куски темного дерева, еще через несколько секунд поверхность воды покрылась массой почерневших пластин пробки — это выплыл на поверхность груз из трюма корабля. Все моряки, от капитана до кока, с одинаковым жадным вниманием ждали, что будет дальше.

Послышался сильный, но приглушенный скрип, за скрипом последовал легкий толчок, как бы поддавший пароход снизу. Мы продолжали ждать, но больше ничего не было слышно, только по-прежнему плескали волны и глухо стучали о борт обломки, всплывшие после взрыва.

Общее молчание нарушил спокойный голос инженера:

— Ну что же, командир, давайте ход.

— Как, разве уже все? — встрепенулся капитан.

— Ну конечно!

Капитан кинулся на мостик, зазвенел телеграф, и внезапно возникший шум машин не сопровождался уже более жутким грохотом. Корабль ожил и двинулся. Под носом зашумели волны. Когда «Коминтерн» повернул, ложась на курс, все мы дружно крикнули:

— Инженеру — ура!..

— По местам! — послышалась команда капитана, против обыкновения закутившего на мостике, и палуба опустела.

Я с неохотой поднялся с кнехта, подошел к водлазу, своему товарищу по подводным приключениям, и крепко пожал ему руку. Потом я заглянул через

борт назад, где в отдалении колыхались на волнах обломки, вырванные взрывом из парусного судна, и с неприятным чувством какого-то совершенного мной убийства представил себе, что судно, так долго странствовавшее после своей гибели, сопротивляясь времени и океану, сейчас медленно погружается в глубочайшую пучину... Сильный нервный подъем, владевший мною все время, ослаб, а затем и совсем исчез. Вместо него телом и мозгом завладела неодолимая усталость. Я сказал матросу, чтобы он отнес наши находки в штурманскую рубку, а сам поплелся на мостик.

Капитан увидел меня и протянул мне обе руки:

— Ну и молодец вы, Евгений Николаевич, ну и молодец! Спасибо вам. Баночку первосортного рома разопьем вечерком с главным спасителем нашим. — Жест в сторону инженера. — А вы идите-ка отдохните — вижу, как устали!..

Я быстро спустился с мостика и, ополоснувшись под душем, отправился в свою каюту. Бросившись в постель, я еще некоторое время видел то мутный подводный свет, то колыханье солнечных бликов, то черноту трюма... Каютa равномерно подрагивала от движения машины, пароход спокойно шел своим курсом. Все происшедшее отодвинулось в небытие... Через минуту я уже крепко спал.

Был вечер, когда я проснулся с ощущением чего-то необычного, что ждет меня, и сразу вспомнил о своих находках. Одевшись и наскоро поев, я сразу же направился в капитанскую каюту, где встретил оживленное общество, подогретое первоклассным ромом, до которого я и сам большой охотник. Как только я пришел, капитан распорядился расстелить на ковре брезент, и мы приступили к вскрытию найденных ящиков. Большой ящик, не поддававшийся долоту — он был сделан из крепкого дерева, — раскрылся только после нескольких добрых ударов топором. По каюте разнесся странный, острый запах. К нашему разочарованию, в ящике мы обнаружили только кашу с лоскутами кожи — все что осталось от судового журнала. Капитан, инженер и механик невольно рассмеялись, увидев, как вытянулись наши физиономии — моя и водолаза. Мы вскрыли

один из двух маленьких ящиков, найденных водолазом. В нем оказался старинный бронзовый секстант. Оттерев слой зелени с одной стороны, я смог прочесть латинскую надпись. Смысл ее был в том, что секстант «сделал механик Даниэль...» — фамилию забыл, — «в Глазго, 1784 года». Эти данные, по существу, ничего не значили, так как английские инструменты могли находиться на любом судне, а пользоваться ими могли много лет, при необыкновенной прочности старинных английских приборов.

Однако третий ящик принес нам радость, хорошо знакомую всякому добившемуся желанной цели. Ветхий наружный футляр из дерева при первой же попытке его открыть легко распался в наших руках, обнажив тускло заблестевшую в ярком электрическом свете оловянную банку, покрытую крупными каплями воды. Банка была закрыта надвигавшейся сверху толстой крышкой, очень туго забитой. Крышку снять было невозможно, и мы срезали ее по верхней кромке принесенной механиком ножовкой. Под ней оказалась вторая крышка, плоская, завинчивающаяся, с кольцом посередине. Мы отвинтили ее сравнительно легко и с торжеством извлекли из банки, внутренность которой только отсырела, но не содержала ни капли воды, свернутую трубкой пачку бумаг.

Второй раз в этот день раздалось дружное «ура».

Небрежно свернутая, слегка измятая пачка плотной бумаги, серой и очень легко рвавшейся, сделалась центром внимания в круге склоненных над нею голов. Какие-то химические процессы или сырость в банке уничтожили все написанное на верхней и нижней частях каждого листа. Точно так же очень сильно пострадали листы, составлявшие наружную часть свертка. Уцелели только немногие страницы, составлявшие среднюю часть пачки листов, а также отдельный, сложенный вчетверо лист светло-желтой плотной бумаги, вложенный в пачку. Этот лист и дал нам ключ к пониманию всего происшедшего.

Крупные, неровные буквы покрывали немного вкось четыре желтые странички. Старинный английский язык несколько затруднял чтение. Написанное разбирали

мы с инженером, остальные помогали в затруднительных случаях. На отдельном листе было написано примерно следующее:

«12 марта 1793 года, 6 часов пополудни, широта 38°20' южная, долгота 28°45' восточная, по утреннему счислению. Воля Всевышнего Творца да будет надомной. Примите же, неизвестные люди, мой последний привет и прочтите важные сообщения, мною прилагаемые к сему. Я, Эфраим Джессельтон, владелец и капитан прекрасного корабля «Святая Анна», считаю свои последние минуты в этом мире и тороплюсь сообщить обстоятельства своей гибели.

Я вышел из Капштадта рано утром 10 марта, имея направление на Бомбей, с заходом в Занзибар. Днем миновал мыс Бурь, за которым был встречен необычайно большим волнением, очень сильно бросавшим корабль. К ночи от северо-востока налетел сильный ураган, заставивший дрейфовать, склоняясь к зюйду, под передними топовыми парусами. Весь следующий день «Святая Анна» лежала в дрейфе, борясь с нарастающей силой урагана. К утру буря еще усилилась, достигнув невиданной, невообразимой силы. Я потерял одну за другой все мачты. Мужество экипажа не раз спасало корабль от верной гибели. Но посланная нам судьбой чаша страданий не была исчерпана. Ряд исполтинских волн беспощадно обрушился на корабль, который, как и его команда, изнемог в дикой борьбе. Течь в носу и на палубе лишила «Святую Анну» остойчивости, и в 5 часов пополудни корабль нырнул носом, затем лег набок и стал погружаться. В момент этой последней, непоправимой катастрофы я находился в своей каюте. Только что я вошел и старался достать...» Далее следовал очень неразборчивый кусок записи, затем снова можно было прочесть: «...страшный треск и крен корабля, вопли и богохульные ругательства пересилили неистовый рев бури и грохот волн. Я упал и сильно разбил себе голову, потом откатился на внутреннюю стену каюты, поднялся и сделал попытку выбраться через дверь, очутившуюся теперь наверху, посередине стены. Но толстая дверь была, по-видимому, чем-то завалена и не поддавалась моим усилиям. За-

дыхаясь, весь в поту, я упал на пол в полном изнеможении, безразличный к близкой смерти. Немного оправившись, я снова попытался выломать дверь, ударяя в нее креслом, потом ножкой стола, но лишь изломал мебель, даже не повредив двери. Я стучал и кричал до полной потери сил, но никто не пришел мне на помощь, и я уверился в гибели своих людей и стал ждать своей кончины. Прошло много времени, однако вода прибывала в каюту очень медленно: за час ее набралось не более фута. Потрясенный катастрофой до глубины души, я не сразу сообразил, что очень легкий груз моего корабля — мы везли пробку из Португалии — и прославленная крепость корпуса «Святой Анны» не дадут кораблю сразу пойти ко дну. Таким образом, я имею некоторое время для того, чтобы вспомнить, прежде чем погибнуть, о своих открытиях. Я хочу попытаться передать их людям, так как, по беспечности и неутолимой жажде пополнить их, не успел этого сделать ранее.

Необработанные записи моих исследований морских пучин между Австралией и Африкой хранятся в особой банке. Сюда же я вкладываю и эту свою последнюю запись в надежде, что остатки моего корабля, несомые на поверхности океана, будут или прибиты к берегу, или осмотрены кем-нибудь в море: я знаю, что ценности и документы корабля всегда ищут в каюте капитана... Масло уцелевшего каким-то чудом фонаря догорает, в каюте уже три фута воды. Сатанинский рев урагана и качка не ослабевают. Я слышу, как огромные волны прокатываются сверху по корпусу «Святой Анны». Вот оно — крушение всех моих замыслов и жалкая гибель взаперти, внутри уже мертвого корабля. Но как ни слаб, как ни ничтожен человек, луч надежды озаряет меня. И если я не спасусь сам, то, быть может, моя рукопись будет прочитана и дело мое не пропадет..

Больше медлить нельзя. Вода прибывает все быстрее и скоро зальет шкаф, на котором я пишу стоя и держу банку с записями. Прощайте, неизвестные друзья! И не берегите моей тайны, как сделал это я, жалкий безумец. Поведайте о ней миру. Да свершится воля Господа. Аминь».

Инженер закончил последние слова перевода, и все мы долго молчали, подавленные этим простым рассказом об ужасной катастрофе и мужестве давно погибшего человека.

Первым нарушил молчание механик:

— Представляете себе, как он писал это при тусклом свете старинного фонаря, запертый в каюте погибающего корабля. Твердые люди были в старину...

— Ну, такие, положим, есть и сейчас,— перебил капитан.— Давайте-ка высчитаем: он писал в тысяча семьсот девяносто третьем—это значит, что корабль плавал до встречи с нами сто тридцать три года!

— Меня другое удивляет,— сказал инженер,— посмотрите широту и долготу катастрофы. Она произошла где-то у Южной Африки, а мы столкнулись со «Святой Анной» у Курильских островов...

— Ну, этому легко найти объяснение,— ответил капитан и достал большую карту морских течений. — Вот, смотрите сами. — Толстый палец капитана скользнул по синим, черным и красным полосам на голубом фоне морей. — Вот очень мощное течение южных широт. Безусловно, катастрофа произошла в его пределах, к зюйд-осту от Капа. Оно идет на восток, почти до западных берегов Южной Америки, где заворачивает к северу. Тут оно смыкается с очень сильным южным экваториальным течением, идущим на запад, почти до Филиппинских островов. А вот тут, против Минданао, сложный круговорот, поскольку тут еще разные противотечения. Отдельные течения идут отсюда на север и попадают в Куро-Сиво. Вот уже и ясен путь этого плавающего гроба...

Сидевший около меня водолаз взволнованно обратился к инженеру:

— Товарищ начальник, значит, он так и погиб в своей каюте?

— Ну конечно.

— А как же мы с товарищем старпомом его костей не нашли?

— Что же тут удивительного? — сказал инженер. — Разве вы не знаете, что кости в морской воде со време-

нем растворяются? А сто тридцать три года — срок достаточный для этого...

— Злое море! — произнес ревизор. — Доконало моряка, да и костей не оставило.

— Почему злое? — возразил я. — Наоборот, приняло в себя еще лучше, чем земля. Разве это плохо — раствориться в необъятном океане, от Австралии до Сахалина?..

— Вы только послушайте его! — попробовал пошутить капитан. — Пойдешь и сам утопишься.

Но никто не улыбнулся его шутке. В сосредоточенном молчании мы обратились к уцелевшим листам рукописи.

Почерк был тот же, но более мелкий и ровный. Должно быть, эта рукопись была написана в спокойные минуты раздумья, а не в лапах надвигавшейся смерти. К общему разочарованию, оказалось невозможным прочитать даже те страницы, которые не были полностью испорчены сыростью. Чернила побледнели и расплылись. Разбирать чужой язык, да еще с незнакомыми старинными оборотами речи и терминами, было для нас непосильным делом. Мы отделили те страницы, которые можно было прочесть. Их оказалось совсем мало, но, к счастью, они шли одна за другой. Сохранились они только потому, что находились в самой середине пачки. Таким образом, мы имели целый, хотя и незначительный кусок рукописи. Я до сих пор довольно точно помню его содержание.

«...Четвертый промер оказался самым трудным. Кран-балка трещала и гнулась. Все пятьдесят человек экипажа выбились из сил, работая у брашпиля. Я радовался прочности бимсов, да и вообще тому, что так много положил труда на постройку корабля исключительной прочности для долгих плаваний в бурных широтах. Четыре часа упорного труда — и над волнами показался бронзовый цилиндр: мое изобретение для взятия проб воды и других веществ со дна океана. Помощник быстро повернул кран-балку, и массивный цилиндр повис, качаясь, над палубой. Из-под затвора очень тонкой струйкой брызгала вода, выжимаемая огромным давлением. В этот момент боцман

перекинул рычаг задержателя, но так неудачно, что задел матроса Линхэма, наклонившегося, чтобы подобрать последнее кольцо перлиня. Удар пришелся по виску над ухом, и матрос упал как подкошенный. Кровь брызнула из раны. Его закатившиеся глаза и побелевшие, закушенные губы показывали, что ранение тяжелое. Линхэм упал прямо под водопроводный цилиндр, и вода, брызгавшая струйкой из цилиндра, потекла на рану. Когда мы подбежали и подняли матроса, кровь уже почему-то перестала течь. Не прошло и часа, как Линхэм, перенесенный в лазарет, очнулся. Он поправился необыкновенно быстро, хотя впоследствии и страдал головными болями, по-видимому от сотрясения мозга. Рана же закрылась и зарубцевалась уже на следующий день.

Вначале я не догадался сопоставить неслыханно быстрое заживление раны с тем, что на нее попала вода, добытая из глубины океана. Однако матросы немедленно сделали такой вывод, и по судну разнеслась молва о живой воде, добытой капитаном со дна океана...

Утром ко мне явился матрос Смит и попросил полечить чудесной водой гнойную язву у него на руке. Я намочил платок в добытой вчера пробе воды и отдал ему, а сам занялся изучением пробы. Ее удельный вес был довольно велик — тяжелее обычной морской воды. Цвет воды, налитой в прозрачный стакан, был необычаен — голубовато-серого оттенка. В остальном я не мог обнаружить ничего особенного, даже на вкус. Я налил всю пробу в бутыль, чтобы отвезти своему другу, ученому-химику в Эбердине. Окончив работу, я ощутил необычайный прилив сил, бодрости, какой-то особенной жизненной радости. Я приписал это действию выпитой мной глубинной воды и, по-видимому, не ошибся. Что касается язвы Смита, то через два дня она совершенно зажила. С тех пор на все время нашего пути до Англии я держал в каюте небольшой пузырек с чудесной водой и очень успешно лечил ею раны и даже желудочные заболевания.

Мы взяли эту пробу с самого глубокого места — из большой круглой впадины на дне океана, на 40°22' юж-

ной широты и 39°30' восточной долготы, с глубины 19 тысяч футов.

Это было моим вторым большим открытием в океанских глубинах. До этого я считал самым замечательным находку необычайно едких красных кристаллов на глубине семнадцати тысяч футов, к северо-западу от мыса Бурь...

Я мечтал о том, что сделаю еще два срочных рейса с грузом для денег — проклятых денег! — и после этого смогу исследовать глубины океана выше сороковой широты на юг от Капа, где капитан Этебридж обнаружил огромные впадины на большом протяжении. Я думал, что найду в этих таинственных пучинах древние вещества, сохранившиеся в глубине, где нет ни течений, ни волн, и никогда не появлявшиеся на поверхности...

Как обрадовался бы моим открытиям великий Лаперуз, который рассказывал мне о своих догадках и, собственно, повернул мои размышления к глубинам южных широт! Но смерть рано унесла от нас этого гениального человека, я же считаю преждевременным сообщать миру о своих открытиях и не сделаю этого, пока не исследую пучин Этебриджа...»

На последней сохранившейся странице была подчеркнута дата «20 августа 1791 года», далее шли слова: «...в 100 милях к востоку от восточного берега Каффрикской земли мы встретили голландский бриг, капитан которого сообщил, что шел из Ост-Индии в Капштадт, но вынужден был склониться к западу, уходя от урагана. Три дня назад он натолкнулся на место в море, покрытое высокими стоячими волнами, как будто бы вода была замкнута в огромном невидимом кольце. Эти волны начали так бросать его судно, что капитан испугался за целостность швов и обтяжку такелажа, и действительно вскоре бриг дал течь. По счастью, это место было всего несколько миль в ширину, и бриг довольно быстро под свежим бакштагом миновал эту площадь стоячих волн. Мне было интересно узнать, что очень редкое и почти никому не известное явление наблюдалось этим далеким от всяких выдумок простым моряком. Я тоже видел это явление и догадался, что

появление таких волн всегда на круглой площади обозначает...»

На этом кончалась страница, и с нею все записи, которые мы смогли разобрать...

Вернувшись из этого рейса с «Коминтерном» во Владивосток, я вскоре получил назначение на «Енисей» — новый пароход, купленный в Японии. Этот грузовик в девять тысяч тонн перегонялся в Ленинград, и я был назначен на него старпомом — в виде, так сказать, премии за активное участие в спасении «Коминтерна». Мне очень не хотелось расставаться с «Коминтерном», его капитаном и командой, с которыми я свылся за два года совместного плавания, но интерес нового большого рейса все же взял перевес над всеми другими соображениями. Я с болью в сердце расцеловался на прощальной выпивке со старым капитаном и со всеми своими товарищами по пароходу.

По дороге «Енисей» вез лес в Шанхай. Оттуда он должен был идти в Сингапур за оловом. Затем предстоял заход на Гвинейский берег, в Пуэнт-Нуар, за дешевой африканской медью, только что начавшей поступать на рынок. Следовательно, нам предстояло идти не через Суэц, а через Кап, вокруг Африки, то есть побывать как раз в местах гибели «Святой Анны». Короче говоря, этот рейс интересовал меня как нельзя более. Я перенес свой необъемистый скарб, в том числе и оловянную банку с драгоценной рукописью капитана Джессельтона, в отличную каюту старпома на «Енисее» и с головой погрузился в бесконечные и сложные мелочи приемки корабля. Мне нечего рассказать вам о самом плавании, проходившем, как и на множестве других судов, днем и ночью идущих по морям всего мира. Немало пришлось мне повозиться вместе с капитаном над прокладкой курсов в незнакомых местах и с грузовыми операциями. Бурные воды сороковых широт помиловали нас и не задали нам крепкой штормовой трепки, но все же к моменту прихода в Кейптаун я порядочно устал. Было очень приятно, что, в силу необходимости снестись с нашими представителями, в Кейптауне получилась задержка, и я смог около трех

дней полностью провести на берегу, бродя по этому очаровательному городу и его окрестностям.

Я не последовал обычному стандарту моряков и променял разноплеменную суету Эддерлей-стрит на одинокое любование этим удаленным от моей родины уголком земли. Величественная красота окрестностей Кейптауна навсегда запала мне в душу. Поднявшись на вершину Столовой горы, я любовался с высоты огромной белой дугой города, окаймляющей широкую Столовую бухту. Налево, далеко к югу, вдоль плоских крутых гор полуострова уходили фестончатые, сияющие на ярком солнце бухты. Ослепительная белая полоса пены прибоя окаймляла золотые серпы прибрежных песков. Позади, к северу, тянулись ряды голубых огромных гор. Хребтистая масса остроконечной Львиной горы отделяла полумесяц Кейптауна от приморской части Си-Пойнт, где даже с высоты была видна сила прибоя открытого океана. Я съездил на ту сторону полуострова, в Мейзенберг, и испытал ласкающую негу теплых синих волн Игольного течения.

По дороге, на знаменитом винограднике Вандерштеля в Вейнберге, я пил превосходное столетнее вино и не уставал восхищаться, сидя в машине, старинной архитектурой голландских домов под огромными дубами и как-то особенно благоухающими соснами. В последний день своего пребывания в городе я взял с утра такси и поехал на Морскую аллею — высеченную в скалах дорогу к югу от Си-Пойнта. Красные обрывы скал пика Чапман тонули в пене ревущего прибоя. Ветер обдавал лицо солеными брызгами. Овеянный ветром, взбодренный мощью океана, я миновал склоны Двенадцати Апостолов и бухту Камп и решил задержаться на вечер, продолжая уединение на берегу открытого океана в предместье Си-Пойнт, известном мне попрежнему посещению Кейптауна своим уютным кабачком. Стемнело. Невидимое море давало знать о себе низким гулом. Я миновал окаймленный асфальтом бульварчик и повернул направо, к знакомой светло-зеленой двери, освещенной матовыми шарами на двух столбиках. Нижний зал, облюбованный моряками, тонул в табачном дыму, был полон запахом

вина и гулом веселых голосов. Хозяин знал, что сильнее всего трогает сердце моряка, и вот искусная скрипка несла с эстрады нежные звуки Брамса.

Тихая и неосознанная приятная печаль расставания охватила меня в этот вечер. Кому из нас не приходилось переживать эту печаль разлуки с очень понравившимся, но совершенно чужим местом! Вот завтра утром ваш корабль уйдет, и вы, наверно, навсегда проститесь с прекрасным городом — городом, через который вы прошли как чужой, ничем не связанный и свободный в этом отчуждении. Вы наблюдали незнакомую жизнь, и она всегда кажется почему-то теплой, красивой, чего, наверно, нет на самом деле...

В таком ясном и грустном настроении я уселся за столик, стоявший у выступа стены. Официант, привлеченный блеском моих нашивок, услужливо подскочил ко мне и принял заказ на основательную порцию выпивки, которой я хотел отметить свой отъезд. Я разжег трубку и стал наблюдать за оживленными, раскрасневшимися лицами моряков и нарядных девушек. Хорошая порция рома, разбавленного апельсиновым соком, дала желаемое направление моим мыслям, и я погрузился в неторопливые размышления о чужой жизни и о том восхитительном праве неучастия в ней, которое всегда ставит зоркого странника на какую-то высшую, в сравнении с окружающими людьми, ступень.

Скрипка снова запела, на этот раз цыганские напевы Сарасате. Я всегда любил их и всей душой отдался звукам, говорящим о стремлении вдаль, печали расставания и неясной тоске о непонятном... Мелодия оборвалась. Я очнулся и полез в карман за спичками. В это время на эстраду вышла невысокая девушка. Я ощутил, как говорят французы, сердечный укол — такой неожиданной и неподходящей к этому кабачку показалась мне светлая красота девушки. Мне трудно описать ее, да и не к чему, пожалуй. Встреченная одобрительным гулом, девушка быстро подошла к краю сцены и запела. Ее голос был слаб, но приятен. Пение ее, по-видимому, любили, так как в зале быстро воцарилась тишина. Она спела несколько песен, насколько

я понял — любовно-грустного содержания. Мне понравилась какая-то тонкая, особенная обработка мотива, характерная для ее исполнения. Когда она скрылась за кулисами, гром рукоплесканий и восторженные вопли вызвали ее обратно. Она появилась снова, на этот раз в довольно откровенном костюме. Начался танец с прищелкиванием каблучков и повторением каких-то задорных куплетов под одобрительный смех присутствующих. И так не вязалась тонкая красота девушки с этой пляской и куплетами, что я ощутил подобие легкой обиды и отвернулся от эстрады, наливая себе вино... Затем я занялся тщательным раскуриванием трубки, вынул часы... И вдруг быстро повернулся к эстраде, так и не посмотрев, который же час. Девушка, оказывается, снова переменила костюм. На этот раз она была в черном бархатном платье с кружевным воротничком, что придавало ей какой-то старинный и трогательный облик. Занятый трубкой, я прослушал начальные слова песенки, которую она пела теперь. Но когда до моего сознания сквозь звуки рокочущей мелодии дошло название корабля «Святая Анна», я напряг слух и внимание, чтобы следить за быстрым темпом песни. Действительно, в песне говорилось о бесстрашном капитане Джессельтоне, избородившем южные моря, о высоких мачтах корабля «Святая Анна» и — представьте себе мое удивление! — о том, что капитан на пути около острова Тайн зачерпнул живой воды, веселящей живых и оживляющей мертвых, но вслед за тем исчез без следа со своим кораблем. Песенка кончилась, девушка поклонилась и повернулась уходить. Я стряхнул с себя невольное оцепенение, вскочил и стал так громко кричать «бис», что удивил соседей.

Девушка посмотрела в мою сторону, как будто бы удивившись, улыбнулась, отрицательно покачала головой и быстро ушла со сцены. Опомнившись, я немного смутился, потому что сам не терплю бурных проявлений чувств. Но песенка девушки не позволяла мне думать ни о чем другом. Я ломал голову, стараясь разгадать связь погибшего корабля с певичкой в кейптаунском кабачке. Желание разыскать девушку и рас-

спросить ее обо всем выросло и окрепло. И в ту же минуту, подняв глаза, я увидел ее прямо перед собой.

— Добрый вечер,— негромко сказала она.— Вам понравилась моя песенка?

Я встал и пригласил ее за свой столик. Подозвав официанта, я заказал для нее коктейль и только после этого взглянул ей в лицо. Усталая бледность проступала на нем, говоря о нездоровой жизни. Забавная манера презрительно вздергивать вверх свой красивый носик скрашивалась милой и как бы смущенной улыбкой. Гладкое бархатное платье облегалo ее фигуру, обозначая высокую грудь.

— Вы немногословны, капитан,— сказала насмешливо девушка, повышая меня в чине.— Кто вы, где ваша родина?

Узнав, что я из Советской России, девушка стала смотреть на меня с нескрываемым интересом. Я, в свою очередь, спросил, как ее зовут, и мое сердце невольно забилось сильнее, когда она ответила:

— Энн (Анна) Джессельтон.

Она принялась расспрашивать меня о моей далекой родине. Но я отвечал ей односложно, целиком поглощенный мыслью о протянувшихся через годы нитях судьбы, так странно связавших эту девушку с моей находкой на затонувшем корабле. Наконец, улучив момент, я спросил ее о родных и об отношении ее к капитану, о котором она пела в песенке. Выразительное личико Энн стало вдруг замкнутым и высокомерным, и она ничего не ответила мне. Я продолжал настаивать, сделав в то же время намек на то, что интересуюсь капитаном Джессельтоном неспроста и что, в силу особых обстоятельств, имею право на это.

Девушка резко выпрямилась, и большие ее глаза посмотрели на меня с явным недоброжелательством.

— Я слышала, что русские — чуткие люди,— с расстановкой произнесла она.— Но вы... вы такой, как все.— И ее маленькая рука обвела кругом шумный и дымный зал.

— Послушайте, Энн,— пробовал протестовать я,— если бы вы знали, чем вызвано мое любопытство, вы...

— Все равно,— перебила она,— я не хочу и не

могу говорить с вами о важном, о своем здесь и когда я...— Энн запнулась, потом продолжала снова: — А если вы думаете, что ваши деньги дают вам право лезть ко мне в душу, то спокойной ночи, я сегодня не в настроении!

Она встала. Встал и я, раздосадованный нелепым оборотом дела.

Энн посмотрела на мое огорченное лицо, глаза ее смягчились, и с милостивым видом она попросила проводить ее домой. Я расплатился, и мы вышли вместе. Запах и шум близкого моря сразу охватили нас. Пересекая широкую пустынную улицу, я взял Энн под руку. Вправо, вдаль, темной массой сбегал в море мыс Си; налево, за освещенными электрическим заревом крышами домов и темной зеленью Грин-Пойнта, блестел маяк на Сигнальном холме. Мы углубились в тень аллеи небольших деревьев, и я начал без всяких предисловий рассказывать о последнем своем плавании на «Коминтерне» и о приключении с потонувшим кораблем. В заключение я сказал, что записки капитана Джессельтона находятся сейчас в моей каюте. Энн слушала не перебивая. Рассказ, как видно, всецело захватил ее. Потом она внезапно остановилась у калитки в ограде небольшого садика, перед темным домом. Свет фонаря на высоком столбе проникал через кроны низких деревьев, и я хорошо видел большие печальные глаза девушки. Она пристально смотрела на меня, и выражение ее глаз совсем не соответствовало насмешливому тону голоса:

— Да, вы, без сомнения, настоящий моряк, если можете так здорово выдумывать...

Энн тихонько рассмеялась, взялась за пуговицу моего кителя и, легко поднявшись на носках, поцеловала меня... В ту же минуту она скрылась за калиткой, в тени деревьев, куда не доходил свет фонаря.

— Энн!.. Одну минуту! — вскричал я, охваченный волнением.

Никто не ответил мне. Я постоял с полминуты с неопределенным чувством разочарования. Затем повернулся и только сделал несколько шагов обратно по аллее, как был остановлен голосом Энн:

— Капитан, когда уходит ваше судно?

Я посмотрел на светящийся циферблат часов и сухо ответил:

— Через четыре часа... Чего вы хотите от меня, Энн?..

Ответа не последовало. Я услышал лишь легкий стук захлопнувшейся двери...

Ехать на корабль было еще рано, возвращаться в кабачок не хотелось. Я медленно пошел пешком вдоль моря по направлению к яркой затухающей звезде Сигнального холма. Вокруг горы до порта было не больше четырех километров. Весь этот путь я прошел со смутным ощущением какой-то утраты... На подъеме к Грин-Пойнту ветер, налетев с простора открытого океана, обнял меня. И, как много раз до этого, мелкими показались мне все мои огорчения перед лицом океана... С рассветом я вышел на широкую аллею между доком Виктории и мысом Муйл, а еще через полчаса спокойно рассматривал багряные верхушки волн в бухте, поджидая катер. «Енисей» еще вчера отошел на рейд, готовый к выходу в дальний путь.

Я вернулся на корабль, спустился в свою каюту и лег на диван. Выходная вахта была капитана, но мне не хотелось спать. Я сунул голову под кран, потом выпил горячего кофе и вышел на верхний мостик — полюбоваться городом, очарование которого за два посещения крепко запало мне в душу. Мне захотелось подольше пожить здесь, у подножия фантастических гор, в тесной близости к океану. Синева бухты, прорезанная прямыми линиями двух волнорезов, окаймлялась амфитеатром белых домов города. Еще выше шла полоса густой зелени огромных деревьев, над которой поднимались синевато-серые кручи Пика Дьявола и Столовой горы, составлявшие исполинскую верхнюю часть амфитеатра. Направо, за крутой дугой берега, скрывался Си-Пойнт.

Громкий удар колокола на баке возвестил панер¹. Свисток корабля, работа брашпиля, привычные слова:

¹ Панер — момент, когда якорцепь становится вертикально и пускается шпиль.

«Якорь чист!» — и «Енисей», разворачиваясь и сигналив, начал набирать ход.

Время шло, и ослепительное солнце сильно жгло палубу, когда «Енисей» изменил курс, склоняясь к норду. Очертания трех гор Кейптауна постепенно погрузились в море, скрывшись за волнами. Сменив капитана, я стоял на мостике. Широко улыбаясь, ко мне подошел капитан с какой-то бумажкой в руке: «Я получил вот это, но, наверно, оно адресовано вам — не даром вы столько времени в городе пропадали».

Недоумевая, я взял у него телеграмму, только что принятую радистом: «Капитану русского корабля. Жалею о вчерашнем, нам нужно увидеться, обязательно ищите меня, когда будете снова. Энн». На одно мгновение я увидел перед собой обаятельное лицо девушки... Ощущение утраты снова охватило меня. Но я преодолел его и спокойно сложил телеграмму. Я был уверен, что расстался с Кейптауном на многие годы, если не навсегда. И даже ответить ей я не смогу, так как она не догадалась дать мне свой адрес... Я поднял руку вверх и разжал пальцы. Свежий морской ветер мгновенно подхватил телеграмму и, крутя, опустил ее в пенный след винта...

Едва я попал в Ленинград, как сразу же принялся за дело. Морские специалисты, с которыми я говорил об открытии Джессельтона, только недоумевали и сомневались. Но, по совету приятеля, я обратился к знаменитому геохимику, академику Верескову. Старик чрезвычайно воодушевился моим рассказом и объяснил, что в океанских впадинах, образовавшихся в древние времена, мы, безусловно, можем найти в глубинах давно исчезнувшие с поверхности земли вещества — минералы и газы с сильно отличными от ныне известных физическими и химическими свойствами. Но их надо искать в древних пучинах, очень редких в мировом океане и известных как раз в области южных широт между Австралией и Африкой. Однако на мой вопрос о непосредственном значении для науки найденной мною рукописи академик ограничился неопределенным замечанием, что указание широты и долготы имеет некоторое значение. Потом ученый сказал мне, что на

основании данных, добытых столь необыкновенным путем, никто не возьмется сделать какое-либо заключение. Проверку открытий Джессельтона могла бы сделать специальная экспедиция, но опять-таки: кто же возьмется снарядить дорогостоящую далекую экспедицию, пользуясь столь сомнительными указаниями?.. Уходя от ученого, я ощутил такую же грусть разочарования и утраты, как в далеком Кейптауне. То, что казалось мне безусловно ярким и важным, как-то сразу потускнело, и я понял, что чем невероятнее и чудеснее встреченная в жизни случайность, тем труднее убедительно рассказать о ней...



АТОЛЛ ФАКАОФО

Небольшой светлый зал был переполнен. Среди разнообразия штатских костюмов выделялись синие кители моряков. Неторопливо осмотрев зал, капитан-лейтенант Ганешин заметил чьи-то энергичные жесты из дальнего ряда — знакомые приглашали на свободное место. Ганешин стал пробираться к ним между рядами стульев.

— Даже вы прибыли! — сказал капитан второго ранга Исаченко, пожимая ему руку. — Весь флот, что ли, собирается?

— А что? — удивился Ганешин.

— Ткачев выступает с докладом.

— Это какой Ткачев? Тот, что по непотопляемости?

— Наоборот, по потопляемости,— сострил Исаченко.— Командир сторожевого корабля Северного флота.

— Вот как,— равнодушно отозвался Ганешин.— А что за доклад?

— Так он ни шута не знает! — воскликнул Исаченко.

Окружавшие собеседников моряки рассмеялись.

— Ну-ну, просветите,— добродушно улыбнулся Ганешин.

— Сегодня ведь заключительное заседание сессии Академии наук, посвященной морским делам. Ну, а Ткачев выловил необыкновенного гада; командующий приказал ему обязательно довести об этом до сведения ученых. Ткачев — командир смелый, но расчет докладов не любитель... Впрочем, начинается,— оборвал разговор Исаченко,— следственно, сами узнаете.

Раздался звонок председательствующего. На кафедре решительно поднялся среднего роста светловолосый офицер с острым лицом. Орден Нахимова украшал его тщательно отглаженный китель. Моряк обвел глазами притихший зал и заговорил, в волнении часто и осторожно притрагиваясь к верхнему крючку воротника. Но вскоре докладчик овладел собой.

Ганешин не раз плавал в тех местах, о которых говорил докладчик, и поэтому слушал Ткачева с особенным интересом. Едва только Ткачев произнес: «Мой корабль пять суток патрулировал далеко в открытом море, около тридцать второго меридиана, по нашему — в четвертом районе», как перед внутренним взором Ганешина встало хмурое, свинцовое море...

Водный простор не чувствовался в холодном, мутном от влажности воздухе. Горизонт был близок и потому таил в себе опасные неожиданности... Появление германской подводной лодки, шедшей полным ходом в надводном положении, было совершенно внезапным. Очевидно, немцы не предполагали встретить советский сторожевой корабль так далеко от берегов,

и пока лодка погружалась, Ткачеву удалось сблизиться с неприятелем.

Над морем пронеслись подобные ударам в гигантский бубен выстрелы, и немного впереди того места, где только что скрылась рубка подводной лодки, встали столбы воды с проблесками красных молний и облачками черного дыма. Это рвались глубинные бомбы, поставленные на небольшое углубление. Опытный истребитель лодок, Ткачев мгновенно определил вероятный сектор нахождения врага и начал забрасывать его бомбами.

Тем временем корабль достиг места, где скрылась подводная лодка. Ткачев приказал прекратить сбрасывание бомб и застопорил машину. Лейтенант Малютин подал Ткачеву наушники гидрофонов, одной рукой продолжая поворачивать рычажок усилителя. Неопределенный шум моря, отдававшийся в гидрофонах, не выдавал присутствия подводного врага. Ткачев понял, что подводная лодка услышала прекращение работы винтов над собой и тоже застопорила моторы.

Кивнув лейтенанту, Ткачев рванул ручку машинного телеграфа, машина заработала полным ходом, винты зашумели в гидрофонах, как водопады. Снова раздался звонок телеграфа. Машина мгновенно остановилась, и в отзвуках движения корабля Ткачев уловил ускользящий, казалось очень далекий, шум винтов подводной лодки.

— Лево на борт!

По-прежнему из глубины неслись равномерные глухие шумы. Ткачев представил себе подводную лодку там, внизу, украдкой пытающуюся ускользнуть, вливая на ходу и стопоря свои электромоторы. Через несколько секунд подводная лодка опять остановила моторы. Шум винтов смолк. Но Ткачев уже знал пеленг, примерную глубину и направление бегства противника. Быстрые руки минеров установили гидростатические взрыватели на глубину девяноста метров: взрыв тяжелых глубинных бомб эффективнее по направлению вверх, чем в глубину. Ткачев поставил ручку телеграфа «на полный вперед», судно рванулось с места, мощные машины взбили за кормой огромный пенистый вал.

Когда скорость корабля достигла пятнадцати узлов, Ткачев стал поочередно нажимать спусковые рычаги правого и левого лотков. Каждая глубинная бомба, похожая на бензиновую бочку, мягко шлепалась своей многопудовой тяжестью в пенящуюся за кормой воду, и на ее место важно и медленно подкатывалась другая. А сверху по лотку непрерывной цепью катились всё новые черные гладкие бочки, такие безобидные с виду.

Строжевой корабль прошелся по широкой дуге, оставляя за кормой зеленые водяные столбы, уже без огненных проблесков и более низкие. Ткачев следил за распределением взрывов, не переставая рассчитывать размеры завесы и площадь накрытия. «Еще одну, последнюю, для верности,— подумал Ткачев, нажимая правый рычаг бомбосбрасывателя. — Все равно никуда не денется. На дно ей не лечь, глубина здесь почти в километр. Попалась!»

Лейтенант, следивший по секундомеру, удивленно пожал плечами. Уже прошло необходимое для погружения бомбы время, а разрыва не было. Ткачев приказал повернуть корабль обратно, чтобы прослушать лодку в покрытой бомбами зоне.

— Гавриленко! — окликнул лейтенант минного старшину. — Вы как поставили взрыватель у последней?

— Точно как у всех: девяносто метров, товарищ лейтенант!

— Должно быть, взрыватель отказал. Странно, это у меня первый случай... — произнес удивленно Ткачев.

В этот момент в полукабельтове справа по носу встал низкий водяной бугор. Едва слышный удар донесся из глубины, сейчас же заглушенный громким всплеском накатившейся на нос волны. Корабль качнуло. Ткачев ухватился за поручень, отрывисто бросив:

— Время, лейтенант?

— Две минуты сорок пять секунд, — ответил Малютин.

— Ого! Значит, утонула чуть не на полкилометра, оттого и взрыв такой слабый. Ясно, во взрывателе де-

фект... Ага, попались! — вдруг вскричал Ткачев, впиваясь глазами туда, где по скатам невысоких волн расплывалось огромное масляное пятно.

Машина затихла, и снова чуткие подводные уши гидрофонов насторожились, следя за борьбой уже подбитой вражеской лодки. Послышался шум винтов, уже не ровный, а прерывистый, смолк, опять возник. «Ну и нырнули! Наверно, заклепки текут», — подумал Ткачев и послал по новому пеленгу еще две бомбы, продолжая следить в бинокль за вспененной поверхностью воды.

— Слева за кормой предмет! — раздался позади голос краснофлотца.

Измученный несоответствием только что взятого пеленга и местом всплытия, Ткачев резко повернулся, направил бинокль на смутное красное пятно близ места падения последней бомбы и чуть не отшатнулся от неожиданности. Хрустальный круг бинокля в опаловой дымке приблизил к его глазам очертания гигантского красно-бурого тела среди равномерного колыхания волн. Это было какое-то животное невиданных размеров и цвета. Ткачеву показалось, что у него широкое тело, огромные плавники и могучая круглая шея: голову и хвост скрывали волны. Всего удивительнее была гладкая кожа, местами изборожденная морщинами и складками густо-красного цвета, переходившего в темно-бурый.

— Справа по носу пузыри!

Голос сигнальщика вернул командира к действительности, и Ткачев снова сосредоточился на борьбе с подводным врагом. Тысячи воздушных пузырьков усеяли поверхность волн. Минуту спустя корабль стоял уже над местом выхода воздуха, вслушиваясь в глубину.

Вдруг вода заклокотала от большого количества воздуха, сразу пришедшего снизу. Одновременно в гидрофонах возник короткий, тупой и невнятный гул. Люди молча смотрели. Корабль уже потерял ход и становился лагом к волне. Прошло несколько минут. Последние пузырьки воздуха исчезли. Ни одного звука не доносилось из глубины в гидрофон. Только масля-

ное пятно расплывалось все шире, выравнивая заостренные гребни валов.

Где-то далеко внизу, под поверхностью моря, разбитая лодка, не смогая всплыть, проваливалась все глубже в пучину, и беспощадное давление воды выжимало из нее воздух и масло. Ткачев дал ход кораблю и подошел к снимавшему наушники Малютину.

— Запишем еще одну, лейтенант, но чтобы окончательно убедиться, подождем немного, послушаем... Да, а как же чудовище? — вспомнил он. — Скорее к нему!

На месте всплытия неведомого животного моряков ожидало разочарование: никакого следа красного чудовища не было уже видно. Холодные волны были пустынно насколько хватал глаз.

Ткачев досадливо потер заслезившиеся от напряжения глаза: «Неужели почудилось? Ну нет...»

— Товарищи, кто еще видел этого... как его... ну всплывшего зверя? — обратился он к команде корабля.

Откликнулись сразу несколько краснофлотцев и старшина Гавриленко, который клялся, что это не что иное, как морской змей, оглушенный нашей бомбой.

— Нет, не змей, — перебил сигнальщик Епифанов, — я видел: туловище у него толстое, широкое и лапы есть — какой же змей?

— Ну все равно не рыба и не зверь морской, а гад подводный, — стоял на своем Гавриленко.

Гавриленко предупредил собственную догадку Ткачева, что животное было оглушено или убито бомбой и всплыло на поверхность. «Эх, досадно, что потонул! Поймать бы такое чудо, — подумал Ткачев. — А теперь кто поверит?..»

Словно угадывая невысказанный вопрос командира, лейтенант Малютин отозвался:

— Этот гад из глубины — глубоководное животное, и хлопнула его наша последняя бомба, та, что с испорченным взрывателем. Она ушла на глубину метров в пятьсот, да и всплыл-то зверь около этого места. Может быть, он потонул, а может, и очнулся... Впрочем, я все-таки успел... — И Малютин вытащил из

кармана «лейку». — За качество не ручаюсь, а пять раз щелкнул: уж очень занятная зверюга! Удачно, что телеобъектив был ввинчен.

Ткачев восхитился находчивостью лейтенанта, не подозревая, что из-за этих снимков ему придется выступать с докладом в Москве...

Снимки лейтенанта Малютина были проявлены со всей возможной тщательностью, но все же они не получились достаточно отчетливыми: серый день, малая выдержка и красный цвет гада были неблагоприятными совпадениями. Ткачев был вызван к командующему, изложил все обстоятельства дела, показал снимки и получил распоряжение ехать в Москву, на морскую сессию Академии наук.

— Это не важно, — возразил командующий на уверения Ткачева, что никто не поверит. — Мы должны изучать море, мы обязаны оповестить ученых о таком необыкновенном происшествии. Если же ученые не поверят тому, что целая группа моряков видела, нечего тогда на их авторитет полагаться...

Этими шутливыми словами адмирала, под одобрительный гул, закончил офицер свой короткий доклад и приступил к демонстрации снимков. Свет потух, и на высоком экране появилось неясное изображение.

Медленно прошли один за другим все пять снимков, но Ганешин так и не смог представить себе зверя: впечатление было ускользающим, неопределенным. Вспыхнул свет. Десятки людей, старавшихся определить животное в зыбких очертаниях снимков, шепотом делились впечатлениями. Исчезло живое, общее всем людям очарование неизвестного, но осталось что-то. Это что-то, как определил Ганешин, было сознание реальности происшедшего — схваченной, но ускользнувшей тайны моря. Ганешин с удовольствием отметил, как молодо заблестели глаза у сидевших в его ряду почтенных ученых и суровых командиров. Словно в зале пронеслась мечта, приподнявшая и соединившая самых различных людей.

В президиуме собрания произошло движение. На кафедру поднялся огромного роста старик с широкой

седой бородой. Зал стих: многие узнали знаменитого океанографа, прославившего русскую науку о море.

Ученый нагнул голову, показал два глубоких зализа над массивным лбом, обрамленным серебром густых волос, и исподлобья оглядел зал. Затем положил здоровенный кулак на край кафедры, и мощный бас раскатился, достигнув отдаленных уголков зала.

— Вот он, наш Георгий Максимович! — шепнул Ганешину Исаченко. — С таким голосом линкором в шторм командовать, а не лекции читать.

— Так ведь он и командовал, — бросил Ганешин.

— Товарищи, — говорил тем временем океанограф, — я очень рад, что мне удалось услышать изумительное сообщение капитана Ткачева. Как нельзя более кстати его доклад пришелся на заключительное заседание нашей сессии. Мы слишком привыкли к существованию неразгаданных тайн моря, многие вопросы океанографии считаются пока неразрешенными. Но, я думаю, всем присутствующим знакомо сообщение отважного американца, профессора Биба, спустившегося в стальном шаре — батисфере — на глубину километра. Биб наблюдал огромных животных, проплывавших в невообразимой тьме перед окнами его батисферы, слишком больших для ничтожного освещения, которое давал его прожектор, и для маленького поля зрения кварцевых иллюминаторов. Известно ли вам, что незадолго до войны у восточных берегов Африки была выловлена огромная рыба — латимерия — из породы, давно исчезнувшей с лица земли и считавшейся вымершей уже в древнюю геологическую эпоху, чуть ли не сто миллионов лет тому назад? И вот теперь неведомый гад, обнаруженный в Баренцевом море капитаном Ткачевым, дает нам еще одно подтверждение таинственной жизни морских глубин. Это еще тень, только мелькнувшая перед нами, но от реального, действительно существующего.

Несмотря на войну, флот и наши ученые продолжают расширять знания о море. Но победа уже близка, товарищи, и я надеюсь вскоре увидеть вас на послевоенной морской сессии, когда наши возможности неизмеримо возрастут.

Я обращаюсь к вам, товарищи моряки, от имени науки. Нашему флоту предстоит большое будущее. Вы, вооруженные техническими познаниями и великой производственной мощью нашей страны, после войны, в спокойных условиях работы, можете оказать огромную по своему значению помощь науке...— Ученый остановился, шумно вздохнул и загремел сильнее прежнего: — Многие думают, что мы знаем море. О да, конечно, мы хорошо изучили его поверхность. Всем нам известно, например, что в Индийском океане встречаются наиболее крутые волны. Южный Ледовитый океан отличается гигантскими волнами с необычайно длинными фронтами, а Атлантический дает самую высокую волну. Мне незачем перечислять вам успехи океанографии — вы знаете их не хуже меня. Но как только от поверхности океана мы обращаемся к его глубинам, сразу же чувствуется наша слабость.

Конечно, мы знаем общее распределение осадков на дне океана. Изобретение эхолота сразу двинуло вперед изучение рельефа морского дна, и недалеко то время, когда мы будем знать этот рельеф не хуже рельефа суши. Но все дело в том, что само дно океана, строение и состав его коренных пород нам совершенно неизвестны. Я не преувеличу, если скажу, что поверхность Луны мы изучили гораздо лучше. Представьте себе океан в виде каменной чаши, налитой водой. Так вот, самую чашу мы совершенно не знаем и не в силах пока осуществить ее изучение.

Моря и океаны занимают семьдесят один процент поверхности нашей планеты. Поэтому геология в своем изучении земной коры вынуждена пока ограничиться только двадцатью девятью процентами этой поверхности. Неудивительно, что первейшие, основные вопросы геологии, познание которых даст нам подлинную власть над богатствами земных недр, не могут быть решены без исследования геологии морского дна. Нам нужны глаза и руки в самых страшных глубинах морей. Вы, молодые командиры и инженеры, подумайте над этим!

Я позволю себе задержать еще на пять минут ваше внимание. В центре Тихого океана, к северу от остро-

вов Самоа, есть группа коралловых островов Токелау, часть которых представлена низкими атоллами — кольцеобразными коралловыми островами, часто слагуной в центре. Среди вас много молодежи, и я не думаю, чтобы ей приходилось видеть настоящие атоллы. А низкий атолл, то есть остров, очень мало выступающий над поверхностью моря, — это незабываемое зрелище. Как метко выразился один из старых капитанов, низкий атолл — это кольцо непрерывного грохота, тумана и пены от волн, неистово бьющихся вокруг. Белое кольцо пены, покрытое радужной блистающей шапкой преломленных в водяной пыли солнечных лучей, удивительно красиво издали на сияющей голубой глади моря. Но поблизости такой атолл выглядит сурово, а в часы прилива, пожалуй, и страшно. Ровные волны, колеблющие вокруг поверхность океана, у самого атолла вдруг вырастают, с гулом мчатся и с потрясающим грохотом обрушиваются на атолл. Если же вам придется побывать на низких атоллах в ураган, запаситесь мужеством. Густые облака погасят солнечный свет, и море сразу станет темным и грозным, изборожденным, словно гневными морщинами, черными провалами огромных валов. Волны, поднимаясь все выше, ринутся на атолл, затопляя и сокрушая все на своем пути. Лишь один-два небольших участка кораллового кольца останутся незатопленными, и на них, полузадушенный ветром, оглушенный грохотом, ослепленный брызгами, человек будет искать спасения. Ужас наполняет и неробкие души при виде острова, словно тонущего в страшном одиночестве посреди беснующегося океана.

Так вот, среди низких атоллов Токелау есть атолл Факаофо — небольшой остров, около трехсот метров в диаметре; однако населения на нем шестьсот человек. В прилив от Факаофо над поверхностью моря виден только плотный серо-зеленый купол густой рощи кокосовых пальм. Атолл Факаофо лежит в девяти градусах к югу от экватора, на пути постоянных ураганов. В то время как ураганы затопляют соседние островки, обитатели Факаофо чувствуют себя в безопасности. Бронзовокожие прирожденные моряки-полине-

зийцы обнесли остров стеной из крупных кусков кораллового рифа и сделали насыпь в середине, подняв поверхность своего острова почти на пять метров над уровнем прилива. Таким образом, туземцы, лишённые всяких механизмов, создали себе безопасный приют. Какое бесстрашие и глубокое вековое знание океана нужно было иметь, чтобы противопоставить грозной мощи стихии слабые силы простых человеческих рук!

Атолл Факаофо всегда служит для меня примером могущества человека и его власти над морем. И я рассказывал об этом атолле, чтобы показать, чего можно добиться самыми простыми средствами. Неужели же мы, вооружённые всей мощью современной науки и техники, не добьёмся окончательной победы над океаном — власти над его глубинами!

Вот все, что я хотел вам сказать. Позвольте мне остаться с надеждой, что некоторые из вас унесут хотя бы мечту о покорении глубин океана. А мечта умного и сильного человека — это уже очень много.

* * *

Мелкий дождь, разгоняемый ветром, порывами налетал на корабль. Горизонт быстро приближался. Свет мерк, словно в воздух сразу вытряхнули огромное количество пепла. Наступала ночь.

Корабль плавно покачивался, равномерно вздрагивая от работы машины. Один из вахтенных задрал иллюминаторы штурманской рубки. Ярко вспыхнул топовый огонь. Ганешин медленно расхаживал по мостику. Головная боль стихала, как бы растворяясь в сыром и холодном океанском ветре. Эти боли, последствия ранения в Великую Отечественную войну, повторялись ещё и теперь, спустя несколько лет. Ганешин прислонился к поручням, вглядываясь во тьму. В неясном смещении мрака и судовых огней выступали белые надстройки корабля.

Стукнула дверь. Настил мостика рассекла широкая полоса света и исчезла. Вышедший из рубки, очевидно, приглядывался к темноте. Он нашел Ганешина и обратился к нему:

— Товарищ капитан первого ранга, опять острая зазубрина. Хотите посмотреть...

— Слушайте, капитан второго ранга, то есть Федор Григорьевич,— перебил Ганешин,— хватит тебе меня величать, говорил уже не раз!..

— Верно, Леонид Степанович, верно! — рассмеялся Щитов, командир гидрографического судна.— Все еще живы привычки военного времени...

Офицеры вошли в ярко освещенную рубку, блестящую полированным деревом, приборами, зеркальными стеклами окон. Переход от холодной темноты и безграничности моря к теплomu уюту помещения был приятен. Ощущение усиливалось тихими звуками скрипичной мелодии, доносившейся из репродуктора в углу рубки. Мичман, стоявший перед большим циферблатом эхолота, оглянулся на входивших и при виде Ганешина вытянулся. Ганешин опять усмехнулся: он никак не мог привыкнуть к почтительному вниманию к себе товарищей по работе. Теперь, в мирной обстановке, это казалось ему излишним.

— Продолжайте ваше дело, мичман! — Ганешин сбросил дождевик, зюйдвестку и вынул трубку.

Мичман смутился, тихо ответил:

— Я... я, собственно... просто любовался на него...

— Ага, так вам нравится наш новый эхолот,— одобрительно посмотрел на юношу Ганешин.— А чем, по-вашему, он лучше хьюзовского, последней модели?

— Да как же можно сравнивать! — воскликнул мичман.— Во-первых, диапазон глубин — наш берет любую без всяких угловых смещений; огромная чувствительность; очень точная автоматическая выборка поправок, а главное, главное... сухая запись эхографа, и тут же на ленте курсовые отметки...

— Очень хорошо! Я вижу, что вы уже вполне ознакомились с нашим прибором.

— Товарищ Соколов — энтузиаст глубоководных измерений,— вмешался Щитов.— Однако зубчик нужно посмотреть, а то лента уйдет.

Ганешин вынул трубку изо рта и шагнул к большому диску, где в центре горел оранжевый глазок и дрожала тонкая стрелка, окруженная тройным коль-

цом делений и цифр. Это был указатель глубин эхолота, а под ним, в черной прямоугольной рамке, за блестящим стеклом, медленно, почти незаметно ползла голубоватая лента эхографа — прибора, вычерчивающего непрерывный профиль дна на пути следования корабля.

Звуковые колебания высокой частоты, излучаемые из днища судна, летели вниз, в недоступные глубины океана, и, возвращаясь через сложную систему усилителей, заставляли стрелку колебаться, вычерчивая профильную линию. Мичман поспешил указать соответствующее место ленты. Здесь, между толстой чертой дна судна и косыми жирными отметками пройденного расстояния и изменений курса, шла плавная линия пологого дна, вдруг прерывавшаяся резким изломом: заостренная подводная вершина поднималась почти на два километра из четырехкилометровой плоскодонной впадины океана.

Ганешин удовлетворенно улыбался:

— За рейс четырнадцать «зубчиков» уже нашли! Не зря я пошел с вами...

— Леонид Степанович, признайся мне по чистой совести, — начал командир судна. — Эти подводные «зубчики» тебе для нового прибора нужны?

— Угадал, угадал, Федор Григорьевич! — обернулся к Щитову Ганешин. — Сядем-ка, а то я по мостику километров двадцать отшагал. Мой новый прибор уже прошел все испытания, и мы с тобой будем его пробовать на работе, сразу как вернемся. Могу сейчас рассказать, пусть и мичман послушает — из принципа устройства прибора мы тайны не делаем. Мой прибор приспособлен для того, чтобы видеть под водой на самых больших глубинах, по принципу телевизора. Главная трудность задачи заключалась в освещении достаточно больших пространств, чтобы из-за огромного поглощения световых лучей в богатой кислородом глубинной воде телевизор не был подобен глазу очень близорукого человека. Я добился хороших результатов тем, что создал «ночной глаз» — прибор, который настолько чувствителен к световым лучам, что ничтожных количеств света ему достаточно

для получения изображения. Далее я применил двойной прожектор с двумя совпадающими пучками лучей: одним — богатым красными и инфракрасными лучами, другим — синими и ультрафиолетовыми. Вы знаете, что вода скорее всего поглощает красные длинноволновые лучи; лучи коротковолновые идут значительно глубже (ультрафиолетовые доходят до тысячи метров от поверхности океана). Но зато вода с мутью рассеивает свет, и коротковолновые лучи в этом случае легко поглощаются, в то время как длинноволновые лучше пробивают толщу такой воды. Соответственные комбинации самых коротких и самых длинноволновых лучей в пучке света моего прожектора пригодны для разных условий, могущих встретиться на глубине. Такой аппарат, опущенный в глубину, передает по кабелю вверх электрическими волнами изображение, которое превращается в видимое на специальном экране. Угол освещения и угол зрения моего аппарата очень широки; двойные объективы, раздвигаемые, как в дальномере, дают глубокое стереоскопическое изображение. Прибор видит шире и резче человеческих глаз... Что-то у тебя вид разочарованный, Федор Григорьевич, — улыбнулся Ганешин. — Ты думал, мое изобретение в другом роде?

— Нет, нет! — с виноватым видом стал оправдываться Щитов. — Я только не совсем понимаю, что им можно сделать на больших глубинах. Для всяких спасательных работ такой «глаз», разумеется, важен, но в этих случаях глубины невелики и такая сложность ни к чему... Ну, опустили, посмотрели скалу какую-нибудь или рыбищу, и всё.

— Для начала и этого много, Федор Григорьевич.

— Так то так, а дальше?

— А дальше — руки.

— Что такое? — не понял капитан.

— Сперва глаза, а потом и руки, говорю, — повторил Ганешин.

— Но рук-то еще нет?

— Нет, есть, но пока в чертежах еще...

— Эге, — обрадовался Щитов, — хорошо иметь такой клотик, как твой! И я бы не отказался.

— Не знаю, Федор Григорьевич, иногда тяжело, когда бьешься годами над выполнением...— задумчиво ответил Ганешин, вставая и потягиваясь.—Задумать — одно, а выполнить... Подчас пустяковина с ума сводит... Ну, я пошел.—Ганешин набросил высохший плащ.

— Минутку, Леонид Степанович! — остановил его Щитов.— Скоро Ближние острова, а ты хотел захватить западный край Алеутской пучины. Остров Агатту уже близко. Где же поворачивать?

— Сейчас не помню,— подумав, ответил Ганешин,— где у них береговой огонь. На мысе Дог, кажется? Видимость его...

— ...восемь миль,— подсказал Щитов.

— Ну, это близко... Тогда по счислению, не доходя двадцати пяти миль.

Дверь за Ганешиным захлопнулась. Щитов и мичман остались вдвоем. Прошло около часа. Лента эхолота неторопливо ползла. Дно постепенно понижалось: уже пять километров глубины было под килем судна. Механики с точностью часов держали ход, от равномерности которого зависела точность получаемого профиля дна.

Щитов долго курил, размышляя о личной судьбе группы людей, когда-то спаянных великой войной. То ли был слишком крепок табак, то ли он курил очень жестоко, но скоро Щитов ощутил знакомую боль в груди и вышел на мостик. Дождь все еще не кончился, порывы ветра по-прежнему поднимали и вспенивали гребни волн. Вдруг Щитову показалось, что далеко впереди, прямо перед носом корабля, что-то блеснуло, мгновенно исчезнув. Почти одновременно послышался хриплый голос вахтенного: «Огонь прямо по носу!»

Понадобилось добрых пять минут, чтобы слабое мерцание превратилось в белую звездочку — встречающее судно. Минуты шли, но никакого признака бортовых огней. Не больше двух миль разделяло сближающиеся корабли, когда Щитов скомандовал:

— Внимание, впереди гакабортный огонь!

— Будем обгонять, товарищ капитан второго ранга? — спросил вахтенный помощник.

— Обязательно. Оно едва плетется.

— А как же курс на промере?

— Не беда, немного отклонимся.

Корабли сближались, продолжая находиться в створе кильватера. Помощник взялся за цепочку гудка — два коротких низких и сильных звука пронеслись над темным морем, рулевой привод застучал, и нос корабля покати́лся влево.

В просторной каюте Ганешина горела слабая ночная лампочка. Ганешин сбросил китель, сапоги и улегся на диван. Раздеваться и забираться на койку не хотелось, да и вставать скоро... Ганешин думал о своем новом аппарате. Глубинный телевизор готов, за результаты окончательных испытаний изобретатель не беспокоился. Этим выполнена первая часть когда-то поставленной им себе задачи. Несколько лет назад старый ученый, которого сейчас уже нет в живых, говорил о победе над океаном, об атолле Факаофо. Он говорил не только о «глазах», но и о «руках»; значит, теперь дело за «руками». Возник образ сложного механизма, всверливающегося, как буровой станок, в океанское дно под наблюдением телевизора и управляемого телемеханически. Основной принцип — работа без всяких герметических закупорок; уже давно изобретены низковольтные, высокоамперные электромоторы, прекрасно работающие в воде. Вода должна быть для этих механизмов такой же естественной средой, как воздух для наших земных машин: тогда не страшно огромное давление — вот в чем весь секрет успеха!

Отрывистые гудки заставили задрожать переборку. Ганешин машинально прислушался: два коротких — поворот влево. «Кого-то обгоняем...» Встреча судов в открытом море всегда волнует душу моряка. Ганешин вскочил и стал натягивать сапоги.

На мостике Щитов и помощник увидели красный бортовой огонь и выше топового огня — еще более сильный красный свет.

— Тралящее судно, — негромко сказал помощник. — Это не гакабортный был огонь, а круговой топовый, и выше — трехцветный фонарь.

— Вижу, вижу,— отозвался Щитов.— А это видите?.. Вахтенный сигнальщик, ко мне!

На неразличимом еще борту неизвестного судна замелькал огонек. Короткие вспышки чередовались с острыми долгими лучами, вызывающими ощущение протяжного крика «а-а-а-а».

— Вызывают нас,— буркнул Щитов.— Эге, вот оно в чем дело!

Три короткие вспышки сменились одной долгой: в темноту ночи летели одна за другой латинские буквы — просьба о помощи.

На мостике появился запыхавшийся сигнальщик с ратьеровским фонарем. Одновременно поднялся на мостик Ганешин.

— Скажите Соколову, чтобы остановил эхолот! — распорядился капитан.

Два корабля в океанской ночи некоторое время перемигивались световыми вспышками: «РикOVERи», Сан-Франциско» — «Аметист», Владивосток».

— У меня есть километр троса кабельной свивки,— пробурчал Ганешину Щитов,— могу им одолжить...

— Очень хорошо! Давайте подходить, может быть, еще чем-нибудь полезны будем...

— Прожектор! — скомандовал Щитов.

По палубе затопали проворные ноги. Мощный прожектор «Аметиста» пробил в темноте широкий светящийся канал. В конце его возникло черное низкое судно с далеко отнесенной назад трубой. «Пусть стоит на месте, подходить буду я,— подумал капитан.— Не знаю, как они ловки...» Прожектор потух, сигнальщик быстро выполнил распоряжение, затем «Аметист» снова зажег свет и начал сближаться с неуклюжим на вид «американцем».

— Любопытно! Тоже океанографы, как и мы,— оживленно заговорил Ганешин («американец» передал световым сигналом, что на нем океанографическая экспедиция). — Что у них стряслось?

«Аметист» подошел к кораблю, насколько позволяло волнение, развернулся лагом, и хорошо говоривший по-английски Ганешин взялся за рупор. Из отрывистых слов, заглушаемых плеском волн в борта и по-

свистом ветра, советские моряки быстро уяснили себе трагическую суть происшедшего. Батисфера — стальной шар, недавно построенный для изучения больших глубин, — с успехом сделала несколько спусков. При последнем спуске оборвался подъемный канат вместе с электрическим кабелем, и стальной шар остался на глубине около трех тысяч метров — наибольшей, на какую он был рассчитан. Батисфера снабжена парафиновым поплавком и должна всплыть самостоятельно при обрыве кабеля, как только прекратится ток, питающий электромагниты. Магниты перестают притягивать тяжелый железный груз, и батисфера всплывает. На этот раз не всплыла. В ней два человека: инженер, построивший батисферу, Джон Миллс, и ученый-зоолог Норман Нурс. Запас воздуха — на шестьдесят часов. Уже сорок восемь часов идут безуспешные попытки нащупать батисферу и зацепить гаками за специально сделанные на ней скобы. Если шар цел и исследователи в нем живы, им осталось воздуха на двенадцать — пятнадцать часов...

Советские моряки молча стояли на мостике. Большая грузовая стрела американского судна, вынесенная за борт, кивала своим носом, как будто показывая на волны, поглотившие стальной шар.

— Похоже, их дело труба, Леонид Степанович, — тихо сказал Щитов. — Разве нашупаешь на трех километрах в открытом море! Без берегов пеленговаться не на что... Да, не хотел бы я быть там ..

Ганешин, не отвечая, хмурился, поглядывая на «Риквери».

— Федор Григорьевич, дайте мне шлюпку, — неожиданно сказал он.

Щитов увидел его тяжелый, настойчивый взгляд.

Американцы заметили танцующую на волнах шлюпку и быстро спустили трап. На мостике Ганешина окружили. Его спокойные и решительные глаза, смотревшие из-под козырька военной фуражки, прикрытой желтым капюшоном, притягивали к себе измученных борьбой людей.

— Кто начальник? — негромко спросил Ганешин.

— Я помощник начальника, капитан судна Пен-

ланд, — ответил стоявший против Ганешина американец. — Начальник там. — Пенланд указал на море.

— Разрешите задать несколько вопросов, — продолжал Ганешин. — Извините за краткость, нужно спешить, если мы хотим...

— Вы хотите помочь нам? — звонким голосом спросил кто-то.

— Да. Но не перебивайте меня, — сухо добавил Ганешин, — я говорю с командиром.

— Слушаю вас, — быстро ответил американский капитан.

— Сколько у вас тралящих тросов?

— Два.

— Какой длины трос остался на батисфере?

— В том-то и несчастье, сэр, что канат оборвался около самого места своего прикрепления на шаре. Захватить за него нечего рассчитывать, только за скобы.

— На батисфере есть радио?

— Есть, но не работает, питание было только от кабеля.

— По вашим расчетам, у них воздуха еще на двенадцать часов?

— На двенадцать — пятнадцать. Это все, сколько они могут протянуть при самой жесткой экономии.

— Да, положение очень серьезное. А что вы делаете дальше?

— Продолжать теми же средствами — пока ничего не поделаешь. В бухту Макдональд, на Агатту, прилетят два самолета. Утром они будут здесь и привезут усовершенствованные захватные приспособления. В день катастрофы по радио вызвано военное судно, оборудованное тралом-индикатором для отыскания батисферы электромагнитным способом. Оно идет со всей возможной скоростью и может быть здесь завтра. Это, собственно, наша последняя надежда, — заключил капитан Пенланд, зачем-то понижая голос и приближаясь к Ганешину. — Вместе с нами тралили еще два военных судна, сейчас они ушли в бухту Макдональд.

— Благодарю вас, капитан. Надеюсь, нам удастся помочь вам. Будьте любезны показать ваши лебедки и подъемные приспособления.

Ганешин с Пенландом спустились на обширную палубу, загроможденную бухтами тросов, с огромной лебедкой в центре. Качающаяся вместе с мачтой электрическая лампа освещала нагромождение самых разнообразных предметов.

— Мне кажется, положение безнадежно, сэр,— быстро сказал капитан Пенланд, едва они удалились от мостика. — Посудите сами: чудовищная глубина, открытое море, никакой возможности ни пеленговать, ни бросить буюк... Я делаю что могу, двое суток не уходил с палубы. Там, на мостике, жена Милльса, гидрохимик нашей экспедиции. Я не хотел при ней высказывать свое мнение.

Ганешин вспомнил стремительный вопрос, почти вскрик на мостике.

— Это она спрашивала меня? — И, получив утвердительный ответ, пожалел о резкости, с которой оборвал говорившую. — Наметим с мостика примерный район нахождения батисферы, и я буду благодарен вам за полную информацию... Еще вопрос, капитан, — помолчав, сказал Ганешин, в то время как они осторожно пробирались по заваленной палубе. — Зачем вашим исследователям понадобилось опускаться здесь, в открытом море?

— Видите ли, здесь одно из редких мест, оно изобилует крутыми скалами, и коренные породы совершенно обнажены от наносов. Одной из задач наших исследований является изучение коренных пород в глубинах океана. Только пока что-то не получается.

Ганешин ничего не ответил. Он легко взбежал по ступенькам на мостик.

— Сейчас мы примемся искать, поставим буюк...

— Как — буюк? — сразу послышалось несколько голосов.

— Увидите! — Ганешин скупой улыбнулся и поднял руку, но был остановлен маленькой рукой, притронувшейся к его рукаву.

Моряк обернулся и увидел огромные, сильно блевшие глаза, смотревшие с мучительным напряжением.

— Сэр капитан, скажите мне прямо: есть надежда спасти их? Вы сможете это сделать?

Ганешин серьезно ответил:

— Если батисфера цела, надежда есть.

— Боже мой!.. — воскликнула американка.

Но Ганешин мягко перебил:

— Простите меня, время не ждет, — и обратился ко всем стоявшим на мостике: — Советское гидрографическое судно «Аметист» немедленно примет меры для спасения. Это, разумеется, не исключает вашей работы, но сейчас, если вы согласны довериться нам, я прошу на время отойти от места погружения батисферы. Я располагаю приборами, крайне важными для настоящего случая, однако основной прибор находится во Владивостоке. Я вызову скоростной самолет. Раньше чем через пять-шесть часов он не сможет прибыть — слишком велико расстояние. За это время попытаемся найти батисферу и отметить ее место буйком, что сильно облегчит спасательную работу по прибытии самолета, когда времени у нас будет всего семь часов. Поднимать батисферу придется вам, у нас нет таких мощных лебедок и тросов. Всё. Дайте сигнал нашему судну, чтобы погасили прожектор, и зажгите свой. Я возвращаюсь на «Аметист».

В прожекторе «РикOVERи» невидимый раньше за ослепительным сиянием «Аметист» вдруг показался во всем своем белоснежном великолепии. Острый очерк корпуса, легкость надстроек сочетались с мощностью отогнутых назад труб — признаком силы машины.

— Это гидрографическое судно? — вскричал капитан Пенланд. — Да это лебеды!

Действительно, белый, блестящий огнями корабль походил на громадного лебедя, распростершегося на воде перед взлетом.

— Это военное гидрографическое судно, — подчеркнул Ганешин, поднес руку к козырьку и пошел с мостика.

Его шлюпка быстро понеслась по широкому световому коридору. Американские моряки молча смотрели ей вслед, слегка озадаченные как появлением Ганешина, так и его уверенными распоряжениями.

— Это, должно быть, важное лицо у русских, сэр,— проговорил наконец помощник капитана.— И если он сумеет спасти батисферу...

— Не знаю, спасет ли,— сказал Пенланд.— Но вы посмотрите на их корабль!

Прежнее молчание воцарилось на «Риковери», только настроение было уже другим. Безотчетно верилось, что белый прекрасный корабль, так неожиданно выплывший из океанской ночи, и этот человек с умными, упрямыми глазами, дружески протянувший руку помощи, действительно сумеет помочь.

Между тем Ганешин, не теряя времени, вместе с Щитовым направился в радиорубку. Взыл унформер, замелькали огоньки неоновых ламп, над тысячами километров океана понеслись условные позывные. Долго-долго стучал ключ, пока радист не повернул к офицерам вспотевшее лицо:

— Владивосток отвечает.

— Ну, сейчас решится судьба тех двух бедняг,— обернулся к Щитову Ганешин.— Если удастся вызвать командующего... А вдруг он в отъезде?

Ключ стучал, умолкал, в ответ слышался характерный треск морзе, снова радист работал ключом, и снова Ганешин напряженно прислушивался к скачущему сухому языку аппарата. Ждал и покачивающийся рядом корабль, и те двое, запертые в стальном гробу на дне океана, и уже загоревшийся желанием спасти американцев экипаж «Аметиста»...

В штабе сообщили, что адмирал в море, на своем корабле. В безмерную даль полетели позывные мощного нового линкора. Где-то в пространстве они нашли антенны грозного корабля.

— Наконц-то! — облегченно вздохнул Ганешин.

Ключ коротко, точно и ясно простучал просьбу и замолк. Несколько минут напряженного ожидания — и в треске тире и точек моряки услышали: «Даю распоряжение, желаю успеха».

Теперь все было просто.

Щитов повел свой корабль на противоположный край района предполагаемого нахождения батисферы.

— Приготовить глубоководный буй, две тысячи семьсот метров! — скомандовал помощник.

Мгновенно зацепили гак и вывалили за борт тускло блестящий снаряд, похожий на авиационную бомбу. Матрос дернул линь, гак выложился, и снаряд почти без всплеска исчез в зеленоватой черноте моря. Через четверть часа и пятьдесят секунд, по секундомеру помощника, над волнами в свете прожектора «Аметиста» выскочил слегка дымящийся предмет, раскрылся, подобно зонту, и маленький белый купол лег на воду. Советский корабль просигналил «американцу» просьбу держаться на плавучем якоре и застопорить машину.

— Я хочу избежать малейшего резонанса их винтов, — пояснил Ганешин мичману, становясь сам у эхолота и неторопливо поворачивая различные верньеры регулировки.

— Разрешите спросить... — робко начал мичман. — Неужели вы думаете эхолотом нащупать батисферу?

— Конечно. Разве вы не знаете, что еще довоенные чувствительные эхолоты обнаруживали потонувшие корабли? Например, хьюзовский эхолот так прямо и вычертил эхографом контур «Лузитании», даже вышло расположение надстроек. И это на глубине в пятьдесят фатомов... Размеры батисферы, сообщенные мне американцами, конечно несравнимы с «Лузитанией»: шар три метра, сверху грибовидный поплавок в четыре метра высоты. Но ведь наш эхолот гораздо чувствительнее и излучает поляризованно...

— А... глубина? — осторожно возразил мичман.

— А точность регулировки? — в тон ему ответил шутливо Ганешин и снова склонился над шкалой, заглядывая в таблицы океанографических разрезов.

Американцы, непрерывно следившие за советским кораблем, видели, как он то появлялся в полосе света, то снова исчезал, показывая красный или зеленый огонь.

— Смотрите, они ставят буи! — оживленно заговорил помощник, когда на втором повороте «Аметиста» перед носом «Риквери» закачался белый грибок.

— Очевидно, изобрели буй для глубин. Такие шту-

ки давно употреблялись в подводной войне, и тут все дело в прочности линия. Они добились этой прочности, вот и все. Очень просто.

— Все вещи просты, когда знаешь, как их сделать! — буркнул помощник в ответ своему капитану.

Час за часом белый корабль бороздил небольшую площадь моря между четырьмя накрест поставленными буйками. Ветер стих, поверхность воды стала маслянистой, гладкой. У запертых в батисфере осталось воздуха на десять часов. Снова тяжелая безнадежность нависла над американским кораблем. Но все собравшиеся на мостике и на палубе не отрывали глаз от «Аметиста», как будто само их горячее желание могло помочь ему в поисках. Вот «Аметист», показал зеленый огонь, опять повернулся к «Риковери» и пошел у самого левого края обозначенной буйками площади. Советский корабль все приближался, острый нос его вырастал, еще сотня метров — и опять безнадежный поворот к северу. Вдруг едва внятный шум машины на «Аметисте» прекратился. В безмолвии ночи было слышно даже, как прозвенел телеграф, донесся громкий голос капитана, отдавшего какую-то команду. В незнакомой плавности русской речи было понятно одно слово: «буй».

— Нашли... они нашли! — вскрикнула, вся затрепетав, жена инженера Милльса.

На американском судне заспорили, и это как нельзя лучше показывало оживление смертельно уставших людей. Но тут, поднимая, как на крыльях, и обещая так много, уже знакомый им голос с «Аметиста» спокойно сообщил в мегафон:

— Батисфера найдена!

Полсотни человек на палубе «Риковери» ответили радостным криком.

В штурманской рубке Ганешин набивал трубку, полузакрыв перенапряженные глаза. За четыре часа поисков лента эхографа покрылась серией кривых, сменявших одна другую, но ни один выступ не нарушал гладкой линии скального профиля. Корабль двигался очень медленно, однообразие получаемых результатов усыпляло внимание, и нужно было все время

поддерживать бдительность волей. Недалеко от очередного поворота перо эхографа, до сих пор шедшее плавно, подскочило, и крошечная дужка едва приподнялась над ровной линией.

— Есть! — радостно вскрикнул Ганешин.

Помощник стрелой метнулся к мостику. Звякнул два раза телеграф — «стоп» и «назад». Щитов прокричал:

— Буй, две тысячи восемьсот метров!

И тяжелая бомба рухнула с левого борта.

— Ура, повезло! — поздравил изобретателя Щитов, зайдя несколько минут спустя в рубку.

— Ну, не очень, — устало отозвался Ганешин, — четыре часа крутились... Времени осталось мало, но нужно ждать. Я тут на диване поваляюсь, пока самолет...

В дверях появился помощник:

— Американцы спрашивают: может быть, им начать попытки зацепить батисферу сейчас же?

Щитов посмотрел на Ганешина. Тот, не открывая глаз, ответил:

— Конечно. В таком положении нельзя пренебрегать ни одним шансом.

«Аметист» уступил свое место у буя американскому судну. Отойдя на несколько кабельтовых, он плавно покачивался, будто отдыхая. И в самом деле, уставшие моряки разошлись по каютам, оба командира устроились в рубке. Только вахтенные смотрели в сторону американского судна. Там слышался лязг лебедок, свист пара и скрежет тросов: американцы снова действовали, зараженные удачей советских моряков.

Ганешин и Щитов проснулись одновременно от шума самолетов.

— Нет, не наш, — определил Щитов.

Светало. Сырость и холод забирались под одежду, подбодряя невыспавшегося капитана. С мостика море казалось необычайно оживленным: у бортов «Риковери» ныряли, качаясь, два самолета, а немного поодаль стояли два военных судна — длинный высоконосный крейсер и приземистый сторожевой корабль.

— Население увеличивается,— усмехнулся Ганешин.— Сейчас должны быть и наши. Проедусь-ка я к американцам, посмотрю, что и как...

На этот раз еще при подходе шлюпки с борта «Риковери» раздались приветственные крики. Однако лица встретивших Ганешина людей были серы и невеселы. В течение трех часов работы захватить батисферу так и не удалось, не удалось даже ни разу зацепить ее тросом. Для спасения находившихся в глубине океана осталось семь часов.

— Судно с тралом-индикатором еще не пришло,— говорил капитан Пенланд Ганешину,— но оно сейчас уже менее нужно после вашего замечательного вмешательства. Как захватить батисферу на этой проклятой, немыслимой глубине? Тросы, должно быть, отклоняются... возможно, какое-нибудь течение в глубоких слоях воды. Бук ведь тоже не дает точного места...

— Может отклоняться,— поддержал Ганешин, покосившись на приближавшуюся к нему жену Милльса.

Он повернулся к молодой женщине, приложив руку к фуражке. Глаза американки под страдальчески сдвинутыми бровями встретили его взгляд с такой надеждой, что Ганешин нахмурился.

— Мы работали все это время...— Слезы и боль звучали в словах молодой женщины.— Но ужасная глубина сильнее нас. Теперь я надеюсь только на ваше вмешательство...— Она тяжело перевела дыхание.— Когда же вы ждете ваш самолет?

Ганешин поднял руку, чтобы взглянуть на часы, и вдруг громко и весело сказал:

— Самолет? Он здесь!

Все подняли вверх головы. Самолет, вначале неслышный за грохотом работающей лебедки, снижался, потрясая небо и море ревом моторов. «Пикирует для скорости»,— сообразил Ганешин.

Узкая машина, несшая высокие крылья, взбила водяную пыль, повернулась и вскоре, смиренная и безмолвная, покачивалась возле «Аметиста». Утренний туман, словно испуганный самолетом, расходился. Высоко вознесся голубой небосвод. Солнце заиграло на

тяжелых, масленистых волнах, осветило белоснежный корпус «Аметиста», засверкало сотнями огоньков на медных, ослепительно надраенных частях. Ганешин перевел взгляд с самолета на «Аметист» и, улыбаясь, сказал американцам:

— Сейчас мы увидим батисферу.

Женщина, подавив восклицание, сделала шаг к Ганешину. Тот, угадывая ее мысли, добавил:

— Если хотите, я с большим удовольствием... Сейчас поедем.

Ганешин попросил капитана Пенланда подождать установки телевизора, а после нахождения батисферы немедленно сближаться с советским кораблем и действовать по его сигналам.

В это время на «Аметисте» механик, размахивая ключом, держал речь к машинистам и монтерам.

— От скорости установки привезенной машины,— говорил он,— зависит спасение людей, у которых на шесть часов воздуха. И еще: если мы их спасем — это будет чудо, сделанное руками советских моряков.

— Еще бы не чудо! Я водолазом работал, понимаю, что значит с трех километров такую козьявку достать,— ответил один из машинистов.— Справимся, я так думаю...

Капитан Щитов не удивился появлению гостя. Ее пригласили в рубку, и Щитов немедленно прикомандировал к ней мичмана, владевшего английским языком. Жена инженера Милльса рассеянно слушала его объяснения и часто поглядывала в окно рубки, откуда можно было видеть кипевшую на палубе работу: там свинчивали какие-то станины, тащили провода, выгружали из самолета ящики.

На минуту в рубку заглянул Ганешин. Молодая женщина сейчас же бросилась ему навстречу:

— О, простите меня, но ваш прибор, кажется, очень сложен. Его могут не успеть собрать ведь...— И она молча показала на большие часы, ввинченные в переборку.

— Еще шесть с половиной часов в нашем распоряжении,— ответил Ганешин.— Прибор действительно сложен, но наши моряки, если захотят, сделают эту —

не скрою — невероятно трудную работу. А они хотят... Верьте нашим морякам, миссис Милльс, вы можете им довериться.

Для молодой женщины снова потянулось мучительное ожидание. Если бы она могла помочь в приготовлении этого таинственного аппарата... Страшный рев оглушил ее. Для натянутых нервов молодой женщины это было слишком.

— Боже мой, что это такое? — В изнеможении она грислонилась к переборке.

— Гудок. Он у нас в самом деле очень силен, — деловито пояснил мичман. — Это «Аметист» дает сигнал, что аппарат готов и поиски начинаются.

Мичман не ошибся. Сейчас же явился Щитов и пригласил жену Милльса вниз. Телевизор был временно установлен в темной лаборатории. Глубоководная часть аппарата раскачивалась на вынесенной за борт стреле, огромная катушка троса и кабеля была вставлена в лебедку. Корабль медленно шел к буйку, обозначавшему место батисферы.

— Опускать? — обратился Щитов к показавшемуся на палубе Ганешину.

— Пожалуй, пора.

— А ты не боишься?

— Чего?

— Ну, мало ли чего... Аппарат только что собран, наскоро установлен — вдруг откажет! Я и то волнуюсь...

— Нет, много раз испробован, испытан. Спускай смело, побыстрее...

Телевизор быстро скрылся в волнах, а кабель сбегал еще долго через счетчик катушки, пока чудесный «глаз» не достиг наконец нужной глубины. Трос присоединили к амортизатору, смягчавшему качку судна, и в тот же момент в темноте лаборатории Ганешин включил ток. Жена Милльса, вне себя от волнения, смотрела на овальную пластинку экрана, которая вдруг из черной превратилась в прозрачную, пронизанную голубоватым сиянием. Ганешин бросал непонятные американке отрывистые слова Щитову, от него команда передавалась на палубу, к лебедке.

Как только телевизор был установлен на высоте пятнадцати метров над дном, Ганешин стал нажимать две белые кнопки справа от экрана. Там, внизу, маленькие винты заработали, поворачивая аппарат. В голубом свете экрана показалась черная тень, и сразу стало понятным, что эта светящаяся голубизна — прозрачная глубинная вода, в которой тончайшая мусть осадка носилась роем крошечных серебристых точек, отражая и рассеивая свет. Вид океанского дна на экране телевизора был необычаен. Человек, попавший на другую планету, наверно, был бы так же поражен и не способен понимать видимое. Один Ганешин, освоившийся с видом океанских глубин при прежних испытаниях своего «глаза», осторожно направлял аппарат. Черный, слегка клубящийся от мути горб слева был плоским выступом скалистого дна. Дальше к северу дно чуть-чуть понижалось, потому что красноватый отсвет дна впереди исчезал, отрезанный тем же серебристым голубым сиянием.

Манипулируя разными рычажками, Ганешин менял границу резкого изображения, одновременно медленно поворачивая прибор, и соответственно менялось изображение на экране. Сначала вдали возникла черная стена, которая приобретала красный оттенок под усиленным светом прожектора, затем в ней начали выделяться подробности: косая огромная трещина, выпуклый выступ... Но тут телевизор повернулся, и мрачные скалы утонули в сияющей голубизне прежнего освещения. В глубине экрана показались туманные острые зубцы, они стали резче, но, приближаясь и становясь отчетливее, терялись своим основанием в сине-черной темноте заднего плана.

— Предел освещения, — пояснил Ганешин, — около километра.

Высокие зубцы подводной каменистой гряды смотрели мрачно, едва выделяясь среди вечной тьмы подводного мира. Телевизор обошел полный круг — везде простиралось бугристое скальное дно, прикрытое слоем ила, блестящего в лучах осветителя, как алюминиевая пудра. Вид океанских глубин вызывал ощущение чего-то враждебного, таившегося в глубочай-

шем мраке, окружавшем поле зрения телевизора. Это был чуждый земной поверхности грозный мир безмолвия, тьмы и холода, неподвижный, неизменный, лишенный надежды и красоты.

Батисферы нигде не было видно. «Неужели промахнулись буюм так сильно? — мелькнуло в голове Ганешина. — На полкилометра! Ясно же, она должна лежать в этой впадине!» Ганешин стал наклонять объективы аппарата вниз. Смутное темное пятно появилось с края рамки. Ганешин быстро повернул рычажок. Пятно передвинулось в середину, приблизилось и вытянулось. Неясные края его стали резкими. Черный цвет опять стал казаться красным... Молодая женщина за спиной Ганешина слабо вскрикнула, сейчас же зажав рот рукой. Яйцеобразный аппарат, наклонившись, стоял в центре рамки, казавшейся теперь прозрачным стеклом. Четкость изображения была настолько велика, что ясно виден был свисавший сверху кусок оборванного троса, толстые петли спасательных скоб и отсвет на иллюминаторе, который смотрел на моряков, как блестящий гранатово-красный загадочный глаз.

— Иллюминаторы у батисферы со всех четырех сторон, значит они уже видят нас, — объяснил Ганешин жене Милльса. — Сейчас самое главное — посмотрим, живы ли... — Ганешин поспешно поправился: — ...попробуем поговорить с ними.

Он щелкнул чем-то и положил длинные пальцы на кнопку. Соответственно движениям пальцев экран гас и вспыхивал снова. Присутствующие сообразили, что, гася и вновь зажигая осветитель, Ганешин посылал в окно батисферы световые сигналы морзе. Много раз повторив один и тот же вопрос, Ганешин выключил свет и замер в ожидании ответа перед погасшим экраном. Все собравшиеся в тесной каюте затаили дыхание, сдерживая волнение решающей минуты. Она прошла — экран оставался черным. Медлительно и зловеще потянулась вторая минута, и тут в темноте экрана возник яркий бирюзовый огонек, исчез, вспыхнул ярче и разлился широким синим кругом — безмолвный ответ, принесенный светом со дна океана.

— Живы! Передайте на «Риковери», пусть подойдут зацеплять батисферу! — радостно закричал Ганешин. В это время синий свет замигал подобно сигнальному фонарю. — Они говорят... — обернулся Ганешин к жене Милльса, но услышал вздох и мягкое падение тела.

— Отнесите в рубку, врача к ней! — обратился Щитов к подбежавшим людям. — Не выдержала, бедняжка. Почти трое суток... Ну что там? — обратился он к Ганешину.

— Передают, что оба живы, экономят кислород как могут, но больше двух часов не протянут. Батисфера в порядке, не отделился груз... — читал мелькавшие на экране вспышки Ганешин. — «Не можем понять, как...» Не поймете, подождите, — вслух отозвался моряк и услышал гудок американского судна.

Спуск тросов с захватами уже начался. Синий круг на экране погас, и сейчас же замигал прожектор телевизора. Ганешин передал запертым в батисфере людям о принимаемых мерах к спасению.

Еще час прошел в непрерывном наблюдении в окно телевизора. Свистки, крики в мегафон, шум машины американского судна, шипенье пара и грохот лебедек разносились над морем. А людям в батисфере оставался еще час жизни — шестьдесят минут, — когда уже почти шестьдесят часов усилия сотни людей не дали результата.

Незаметно и внезапно подошла победа. Огромные хrapцы, опускавшиеся с «Риковери» по указаниям Ганешина, ухватили за боковую скобу, громко рявкнул гудок «Аметиста», и в тот же миг машинист на лебедке «Риковери» переставил муфту на обратный ход. Медленно вышла слабина громадного, в руку толщиной, троса, барабан закрипел от напряжения; гибкий стальной канат, сплетенный из двухсот двадцати двух проволок, вместе с батисферой весил шестьдесят тонн — в три раза больше допустимой рабочей нагрузки.

Трос выдержал. В голубом сиянии экрана телевизора батисфера качнулась, выпрямилась, дернулась

вверх и медленно начала подниматься. Ганешин, вращая объективы, некоторое время следил за ней, пока она не скрылась, выключил ток, зажег свет в лаборатории и, постояв немного, чтобы привыкли глаза, вышел на палубу. Телевизор был более не нужен. Все внимание сосредоточилось теперь на лебедке «Риковери», медленно извлекавшей из глубины непомерную тяжесть. Капитан Пенланд неотрывно смотрел на аккуратно ложившиеся на барабан витки, вычисляя в уме скорость подъема — сорок минут оставалось до рокового срока. «Не успеем, задохнутся...»

Взяв на свои плечи смертельный риск, Пенланд приказал ускорить подъем. В напряженном молчании лебедка застучала чаще, барабан стал вращаться быстрее. Прошло еще несколько минут. Острый свист пара рассек вдруг однообразный шум лебедки. Лебедка сделала несколько быстрых оборотов; мгновенно побледневший машинист перебросил рычаг на «стоп». «Трос!..» — испуганно выкрикнул кто-то. Ужас приковал людей на обоих судах к месту и заставил одним движением вытянуть шеи, вглядываясь за борт. Пенланд мгновенно вспотел, во рту пересохло, мысли разбежались. Он не мог командовать, да и не знал, что скомандовать. Но тут из медленного колыхания волн быстро выскочил огромный голубой яйцеобразный предмет, исчез в столбе брызг и через секунду плавно закачался в белом кольце пены.

Это внезапно отделился груз батисферы, она рванулась кверху, и храпцы автоматически раскрылись, освободив аппарат от тяжести троса. Люди разразились победными кликами, сейчас же покрытыми могучим ревом четырех гудков. Суда бросали в простор океана весть о новой победе человеческого разума и воли.

Ганешин стоял, расставив ноги, и пристально смотрел на спасенную им батисферу. Щитов положил свою тяжелую руку на его плечо:

— Леонид Степанович, адмирал запрашивает о результатах.

— Сейчас иду. Ты распорядись поднимать телевизор... А как наша гостья?

— Я отправил ее назад, там она нужнее,— улыбнулся Щитов.— Она так и смотрела во все стороны, видимо искала тебя — благодарить.

Ганешин слабо махнул рукой и направился в радиорубку. Батисферу уже буксировали к «РикOVERи». Выходя из радиорубки, Ганешин снова угидел Щитова.

— Я тебе вот что хочу сказать,— строго и серьезно произнес Щитов,— насчет твоего телевизора. Я его напрасно ругал...— Дальнейшие слова его были заглушены ревом моторов нашего самолета, взмывшего в высоту.

Ганешин крепко пожал протянутую руку приятеля.

— Что дальше будем делать? — спросил Щитов.

— Как что? — удивился Ганешин.— Закончим подъем телевизора и пойдем своей дорогой.

— А разве ты к ним не поедешь? — воскликнул капитан.— Я и шлюпку приказал не поднимать.

— Нет, не поеду.

— Вот диво! Разве не интересно посмотреть на спасенных, расспросить? Они ведь тоже изучают дно...

— Конечно, интересно, но понимаешь...— Ганешин шутливо сморщился.— Ведь будут благодарить... Жена инженера смотрела такими глазами... А мы сейчас дадим ход и удерем.

На судне американской экспедиции были заняты подъемом и открыванием батисферы и не заметили, как советский корабль быстро поднял шлюпку и телевизор. «Аметист» запросил о здоровье спасенных, получил ответ, что «слабы, но вне опасности», развернулся и начал набирать ход. Американцы с недоумением смотрели на действия «Аметиста» и только тогда, когда на фалах нашего судна взвился сигнал традиционного прощания, поняли, в чем дело. Сигнальщик с «РикOVERи» отчаянно замахал флажками, но «Аметист» увеличил ход, и только мощный гудок и махавшие бескозырками матросы посылали дружеский прощальный привет. Спасенные исследователи, офицеры и матросы, как один человек, смотрели вслед белому кораблю, становившемуся все меньше и меньше в солнечной дали. Внезапно гулкий грохот орудий раскатился над зелеными волнами: крейсер дал салют

удалявшемуся «Аметисту». Опять и опять гремели орудия. В ответ на «Аметисте» взвились звезды и полосы Америки.

Советское судно как ни в чем не бывало шумело винтами, рассекая тихоокеанские волны. Ганешин наблюдал за уборкой телевизора, мечтая о мягкой койке: спасение американской батисферы далось ему не даром. С мостика послышался голос Щитова:

— Леонид Степанович, иди-ка, вызывают американцы.— В словах капитана звучала дружеская насмешка: — Техника тебя все равно достанет, даже из глубины океана.

Американцы вызывали «Аметист» по имени, без позывных, и название драгоценного камня настойчиво звучало в эфире. Радиоаппарат выстукивал любезные слова благодарности, просьбу сообщить фамилию командира, руководившего спасением, восхищение беспримерной работой русских моряков, чудесным изобретением. В сухое потрескивание радио с «Риковери» вдруг вмешалось резкое щелканье позывных «Аметиста», характерное для мощной радиостанции нового линкора. Радист простучал ответ, и Ганешин выслушал четкие сигналы, славшие привет американской экспедиции и поздравления личному составу «Аметиста». Особенное удовольствие адмирал выражал Ганешину. Ответив командующему, Ганешин приказал радисту:

— Передайте на «Риковери» начальнику американской океанографической экспедиции Милльсу: «Командующий советским Тихоокеанским флотом только что передал вам поздравление со спасением и пожелания дальнейших успехов в вашей отважной работе».

Через пять минут Ганешин крепко спал у себя в каюте.

* * *

Осенний владивостокский дождь лил нескончаемыми потоками, хлестал в высокое окно кабинета Ганешина. Моряк перечитывал, собираясь отвечать,

письмо от обоих спасенных им полтора месяца назад американских ученых. Догадливые люди направили письмо на имя командующего с просьбой передать Ганешину, разыскать которого не составило для адмирала затруднения.

«Только тот, кто провел в безнадежности и отчаянии шестьдесят часов на недоступном дне океана, может понять, что сделали вы,— писали ученые.— Несколько часов изо всех сил мы пытались отделить с помощью винтового пресса присосавшийся груз, задыхаясь и обливаясь потом в ледящем холоде батисферы. Нельзя передать, что пережили мы, уже впадая в тупое безразличие перед лицом неотвратимой судьбы, когда увидели свет в иллюминаторах и поняли ваши сигналы. С этой незабываемой минуты мы живем с твердой верой в безграничную силу человека, в его светлое будущее, в то, что нет одиночества даже в самых смелых, еще не понятых миром исканиях...»

Перечитав письмо, Ганешин начал писать ответ. «На вопрос, как я достиг таких результатов в завоевании океанских глубин, мне трудно ответить. Пожалуй, главное здесь было в точной направленности поставленных задач и, конечно, в огромных материальных возможностях. Первое дал мне наш старый ученый, который несколько лет назад призывал нас, моряков, помочь науке найти «глаза» и «руки», которые могли бы достать океанское дно. Он же показал нам, на что способен человек в борьбе с морем, рассказав о замечательном атолле Факаофо. Второе дала мне родная страна.

Я только развил идею, отказавшись пока от необходимости опускать человека в пучины океана и заменив его прибором, не нуждающимся в воздухе и не боящимся страшного давления. Так возник мой телевизор — «глаз» человека, опущенный на дно, таковы будут мои бурильные приборы для взятия коренных пород со дна океана — эти протянутые на дно «руки». Вспомните глубоководных животных. Некоторые из них обладают глазами на длинных стебельках; вот что натолкнуло меня на мысль использовать телевизор...»

Ганешин писал еще некоторое время, задумался, потом быстро закончил: «Поэтому я считаю, что ваша благодарность должна быть направлена не мне лично, а моей стране, моему народу. Поддержка, помощь правительства, огромного коллектива флота, разных людей, от ученого до слесаря,— всего, одним словом, что является для меня моей родиной,— привели к тем достижениям, которые показались вам почти сверхъестественным могуществом. И это только начало, мы будем продолжать...»

Ганешин кончил письмо, встал и подошел к окну. По стеклам струилась вода, сквозь которую, будто очень далекий, виднелся поросший дубами скалистый мыс.



БУХТА РАДУЖНЫХ СТРУЙ

Покинув библиотеку, профессор Кондрашев поднялся на следующий этаж и направился в свою лабораторию. Длинный коридор со множеством белых дверей по обеим сторонам был полуосвещен и тих. Лишь несколько сотрудников задержались в институте, оканчивая срочную работу.

Профессор прошел к столу, втиснутому между двумя химическими стойками, и устало опустил в кресло. Газовые горелки едва слышно шипели, колбы и стаканы сияли химической чистотой, наводящей трепет на непосвященных. Безупречность помещения, приспособленного к размышлениям и опытам, успо-

каивала, и горьковатый осадок в душе профессора после прочитанного отзыва о своей работе исчез. Он еще раз мысленно перебрал основные положения своей последней опубликованной книги, стараясь беспристрастно оценить сделанные ему критические замечания.

В этой книге профессор Кондрашев отстаивал необходимость широкого изучения скрытых свойств различных растений, в особенности древних форм растений, являющихся пережитками, реликтами еще более древних эпох существования Земли. Подобные растения, живущие сейчас в тропических и субтропических странах, могут оказаться носителями очень важных и ценных свойств, выработавшихся в приспособлении к иным условиям существования десятки миллионов лет назад. В качестве примера профессор приводил растения, обладающие очень ценной древесиной и являющиеся пережитками древнетретичной эпохи (шестьдесят миллионов лет назад): у нас, в Закавказье, — самшит и «железняк», в южных странах — тик, гринхирт, черное африканское дерево, японское гингко с его еще не изученными целебными свойствами, существовавшее более ста миллионов лет назад.

Эта работа профессора Кондрашева подверглась резкой критике со стороны авторитетных ученых, и сейчас в угрюмом молчании профессор признался себе, что его критики во многом правы. Положения работы основывались больше на горячем убеждении, а фактического материала, требуемого железными законами научного мышления, увы, было маловато.

В то же время профессор Кондрашев был уверен в правильности своих положений. Да, больше убедительных фактов... Вот если бы иметь в руках доказательства действительного существования «дерева жизни» средних веков! В шестнадцатом и даже в семнадцатом веках еще было известно это дерево, обладавшее чудесными, необъяснимыми свойствами. Чаши или бокалы, сделанные из него, превращали налитую в них воду в чудесный голубой или огненно-золотистый напиток, излечивавший многие болезни. Происхождение этого дерева и вид растения оставались

неясными. Тайной дерева владели иезуиты, дарившие волшебные деревянные чаши королям, добываясь от них пожертвований и привилегий.

Дерево это в старинных сочинениях Монардеса, изданных в Севилье в 1754 году, а также у Атаназия Кирхериуса называется по-латыни «лигнум вите» или «лигнум нефритикум», что значит «дерево жизни» или «почечное дерево».

По одним сведениям, оно происходило из Мексики, по другим — с Филиппинских островов. Действительно, у ацтеков было известно чудесное целебное дерево под названием «коатль» («змеиная вода»). Профессор вспомнил опубликованные опыты с чашей из почечного дерева, проделанные знаменитым Бойлем, описавшим явления голубого свечения налитой в чашу воды и тогда же отметившим, что это не краска, а какое-то еще необъяснимое физическое явление.

— Можно, Константин Аркадьевич? — раздался знакомый женский голос, и в двери мелькнули светлые кудряшки и вздернутый носик Жени Пановой.

Способный научный работник и в то же время хорошенькая женщина, Панова имела успех не только у молодежи, но и у более почтенных по возрасту сотрудников института. Профессор Кондрашев, сам не зная по каким обстоятельствам, пользовался ее особой симпатией.

— Послушайте, дорогой Константин Аркадьевич, не огорчайтесь... Я знаю, чем вы опечалены... Но, мне кажется, вы слишком обгоняете тот уровень науки, который определяется наличным фактическим материалом.

— Я знаю сам, что нетерпелив! — буркнул Кондрашев, слегка задетый замечанием и недовольный вмешательством. — Вы-то можете ждать, но мне уже маловато времени осталось. А чудес, внезапных открытий в мире не бывает. Только один медленный труд познания, подчас тоскливый...

Желая переменить разговор, Панова вытащила из сумочки два билета.

— Константин Аркадьевич, поедemте в Филармонию. Там сегодня Чайковский — моя любимая «Бе-

резка». Вы ее тоже любите. А Сергей Семенович нас подвезет, он сейчас едет. Я и побежала за вами...— Она дружески улыбнулась.

В девять часов они были в Филармонии. Скрипки пели о русской беспредельной природе, о покое медленных и широких рек, обрамленных темными лесами, под низко стелющимися хмурыми облаками, о трепетании свежей, как радостное обещание, зелени стройных берез... И Кондрашев, смирившись в своем нетерпении, думал о неотвратимой безудержности знания, которое все шире и дальше распространяется по беспредельным равнинам неизвестного, захватывая все большие массы людей...

— Я всегда убегаю слушать музыку, если на душе нелегко,— шепнула Панова.

Профессор улыбнулся и уже с удовольствием посмотрел на нее. В антракте, когда они шли по коридору, из встречного потока людей выделился загорелый человек в морской форме. Кондрашев заметил необычный загар его энергичного лица и весело блестящие глаза. Моряк — вернее, морской летчик, судя по крыльям, нашитым на его рукаве,— увидев Панову, мгновенно очутился перед ними, восклицая:

— Женя, Женя!

Девушка вспыхнула и рванулась к нему, но тут же сдержалась, подала ему обе руки:

— Борис! Откуда ты взялся?

Профессор почувствовал себя лишним и направился в курительную. Он успел докурить папиросу, прежде чем Панова с летчиком разыскали его.

— Познакомьтесь, это Борис Андреевич, мой большой, большой друг. И знаете, Константин Аркадьевич, он летал очень далеко, только что вернулся и видел нечто необычайное. Как бы чудо, которое вы сегодня отрицали, действительно не случилось... Но это замечательно — разыскать меня здесь!.. Всего три часа, как приехал...— торопясь и несколько бессвязно говорила девушка.

Профессор с удовольствием пожал руку моряку, приятный вид которого... да, он безусловно производил приятное впечатление.

Они обменялись обычными при первом знакомстве незначительными словами, но девушка нетерпеливо перебила:

— Борис, вы не понимаете... если есть у нас хоть один человек, который может объяснить ваше необыкновенное открытие, то это только Константин Аркадьевич!

Все трое оказались у профессора на квартире, и здесь летчик подробно и обстоятельно рассказал о своем путешествии. Уже начало рассказа заставило профессора радостно насторожиться.

Всего два с половиной месяца назад молодой, но уже занимающий крупный командный пост морской летчик Борис Андреевич Сергиевский получил очень важное задание. Позднее, когда станет возможным предать огласке то, что мы сейчас должны хранить в тайне, подобные предприятия войдут в историю как примеры беззаветного мужества исполнителей и мудрой дальновидности руководства.

Борис Андреевич был назначен в дальний беспосадочный полет для доставки ценного груза, от скорости прибытия которого зависело многое в сложных судьбах войны с фашистами.

Мутный день соответствовал унылой картине окружающего. Низенькие дома поселка терялись среди больших темных елей. Повсюду торчали пни свежеспиленных деревьев. Беспросветные облака застилали все кругом и, осаждаясь, расплывались у самых вершушек леса редкими бесформенными клочьями. Остро пахло лесной прелью, под ногами хлюпала размокшая болотистая почва, и с неприятной бесшумной податливостью оседал толстый слой мха. Шаги приобретали четкость лишь на грязно-серой ленте бетонной дорожки, испещренной там и сям радужными кольцами масляных пятен.

Сергиевский с радостью окинул взглядом свою машину, уже вырулившую на старт. Самолет был высотный, пассажирского типа, по бокам его толстого фюзеляжа виднелись небольшие окна. Спереди фюзе-

ляж заканчивался сплошным металлическим конусом, в верхней части перерезанным застекленной полосой. Длинные приподнятые крылья несли каждое по два мотора, защищенных широкими кольцами полированного дюралья. Их трехлопастные винты медленно вращались. Позади резко выделялся очень высокий руль. В своем обнаженном серебряном сверкании самолет был вызывающе красив, подобный дерзкому альбатросу.

Командование аэродрома явилось на проводы. Сергиевский оглянулся на торжественные и серьезные лица провожающих и с улыбкой посмотрел на часы. Все было готово. Последние, жадные затяжки — и папироса полетела в лужу. Сергиевский решительно подошел к самолету.

Тревожное напряжение долгой и тщательной подготовки отошло, настало время действовать. Облегченно вздохнув, летчик бросил взгляд на хмурое небо. Там, за тучами, на огромной высоте, на которой он поведет своего «альбатроса», сияет яркое летнее солнце...

Несколько четких команд, герметические двери захлопнулись, мягко зашипел проверяемый радистом кран уравнивателя воздушного давления, затем все потонуло в реве тысячесильных моторов.

Двадцатитонный серебряный «альбатрос» легко оторвался от земли, повинувшись едва заметному движению руки пилота, и почти мгновенно исчез в непроницаемой облачной мгле. Гирогоризонт в серой панели автопилота показал крутой наклон; стрелки альтиметров неуклонно ползли вверх. Застывший окна туман вдруг начал розоветь, перешел в палевую дымку, и, наконец, яркий свет хлынул через наклонные стекла. Толща облаков осталась под самолетом. Верхушки хаотических нагромождений облаков по белизне не уступали горному снегу, глубокие впадины и «провалы» тускло серели. На высоте семи тысяч метров Сергиевский лег на курс, перевел моторы на крейсерские обороты и включил автопилот.

Второй летчик, Емельянов, занимавший правое сиденье, снял наушники и, хмурая высокий залысый

лоб, пытался ослабить слишком тугую пружину. Сидевший позади Емельянова штурман неторопливо шелестел справочником.

Сергиевский откинулся в мягком кресле, изредка взглядывая на приборы. Перед самолетом лежали тысячи миль пути над океаном, прежде чем снова ляжет под его крыльями чужая, но гостеприимная земля. Часы над просветом центрального стекла показывали восемь. Еще полчаса — и начнется опасный район. Там, в синеве безмятежного неба, рыскают вражеские воздушные хищники. Хотя высотный «альбатрос» и был оборудован четырьмя пулеметами, встреча с проворными «мессерами» представляла грозную опасность...

Сергиевский думал не о себе, а о драгоценном грузе, лежавшем за его спиной в кабине. Между тем товарищи Сергиевского спокойно занимались своими обязанностями, не разговаривая и даже не обмениваясь жестами. Все будто молчаливо условились, что до того, как опасный район останется позади, рассуждать, собственно, не о чем. Наиболее озабоченный вид был у механика, следившего за бесчисленными стрелками своих приборов.

Серебряный «альбатрос» несся с огромной скоростью. Успокоительно и ровно гудели моторы. Толстый слой облаков по-прежнему висел между землей и самолетом. Изредка в нем темнели глубокие провалы с рваными краями. В них мелькала далекая и безразличная к людям в самолете земля, с высоты полета казавшаяся плоским темным полем без всяких подробностей.

Так прошел час, кончался второй. Самолет находился уже глубоко внутри опасного района, размеры которого были, увы, слишком велики. Стрелки до боли в глазах вглядывались в чистую синь неба и белизну облаков. В двадцать минут одиннадцатого Сергиевский выпрямился в кресле, твердо сжав штурвал:

— Внимание! Три неприятельских самолета!

Далеко впереди, перед кудрявившимся белым облачным скатом, возникли три маленькие черные чер-

точки. Воля к борьбе соединила в одно целое маленькую группу людей, наглухо замкнутых в просторной кабине. Емельянов, смотревший в бинокль, вдруг громко и презрительно сказал:

— Эти нам не страшны, Борис!

Снова тысячи сил и тысячи оборотов сотрясли самолет. Метнулась направо стрелка указателя скорости подъема, спидометр качнулся налево. Самолеты врага приблизились, расходясь в стороны. Сергиевский наконец прекратил подъем, и машина устремилась вперед с прежней скоростью, оставив внизу мрачных преследователей, напрасно пытавшихся достичь ее потолка.

Белая равнина облаков, сгладившаяся и оставшаяся далеко внизу, разорвалась на гигантские пухлые куски. Под ними тусклым оловянным листом лежало море, а налево такой же, только более темного оттенка, полосой с причудливыми вырезами виднелась земля.

Все дальше и дальше уходил самолет, пересекая опасную зону. Курс был изменен. Взяв к югу, Сергиевский увеличил скорость. Еще немного — и самолет углубится в океан, оставив за собой район действий противника. Беспредельная гладь океана как бы остановила летящий самолет своим подавляющим однообразием. Волны с семикилометровой высоты не были заметны, матовая блестящая поверхность воды казалась выпуклой. Впереди виднелся облачный фронт, суливший перемену в спокойной обстановке полета. Однако перемена наступила раньше.

Число пройденных километров перевалило за три тысячи, когда в воздухе снова возникли угрожающие черные точки, а далеко-далеко внизу показались крошечные силуэты военных судов. Два вражеских самолета, задрав носы, начали набирать высоту, а третий держался поодаль впереди, у изогнутого края плотного длинного облака. Время словно прекратило свой размеренный бег.

Все последовавшее произошло как бы в одну секунду невероятного напряжения. Тупые хлопки пулеметных очередей, хлестнувших самолет поперек

фюзеляжа, едва донеслись сквозь шум моторов. Сергиевский наклонил машину и резко бросил ее влево. Одновременно заревели пулеметы обеих турелей. Еще поворот — на миг в окне мелькнул «мессершмитт», углом падающий вниз; затем «альбатрос» понесся с нарастающим ревом вниз в пологом пике, быстро сближаясь с третьим вражеским самолетом. Снова взревели пулеметы — мимо лица Сергиевского пролетело что-то горячее, брызнули во все стороны осколки, — и «альбатрос» нырнул в густую белесую мглу.

Сергиевский почувствовал почти твердую струю холодного воздуха, бившую в лицо, и понял, что в носу кабины пробоина. Самолет продолжал мчаться в непроницаемом облаке, моторы по-прежнему тянули свою победную песнь. Вот, вызывая тревогу, блеснул яркий солнечный свет, но навстречу снова надвигалась, облачная стена. Еще и еще вспыхивало и исчезало сияние солнца, пока самолет окончательно не зарылся в глубь многокилометровой толщи облаков, шедших с запада высоко над океаном. Ровный полет сменился ныряющим потряхиванием: воздух был беспокойен и словно старался сбросить многотонную тяжесть корабля.

Сжавшееся от напряжения тело Сергиевского ослабело. Он выровнял самолет, бросил взгляд на гироскоп и застыл от изумления: вся верхняя часть стойки с приборами представляла собой нагромождение истерзанного металла. Сергиевский обернулся. Поток бронебойных разрывных пуль, разбив переднюю часть кабины, пронесся, видимо, дальше — между пилотами — и ударил в основание стойки турели, где была смонтирована радиоустановка. Радист лежал на разбитом аппарате, прижав руку к щеке. Механик, не обращая внимания на выступившую на плече кровь, с сосредоточенным видом тушил слабо дымившие обломки, а второй пилот, Емельянов, хмуро ощупывал руку сквозь разодранный рукав комбинезона. Уже стучало в ушах и не хватало дыхания — давление в пробитой кабине упало, сравнившись с разреженным высотным воздухом, и без кислородных ап-

паратов долго удержаться на этой высоте было нельзя.

Пока товарищи забивали широкую пробойну в носу самолета и перевязывали раненых, Сергиевский, убедившись, что толщина облаков достигает такой высоты, на которой самолет с пробитой кабиной держаться не может, начал снижаться.

Положение самолета было тяжелым, вследствие гибели основных ведущих приборов и повреждения радиоустановки. Без солнца лететь над лишенным ориентиров океаном было почти все равно, что лететь слепым полетом. Пока налаживали уцелевший магнитный компас, Сергиевский мечтал о птичьем чувстве направления. Каким особым чутьем руководятся птицы при своих долгих полетах в дождь и туман над морем? Выработается ли это чувство у человека, тоже ставшего птицей?

Магнитный компас, несмотря на очевидно изменившуюся после такого сотрясения и смещения девиацию, все же давал, хотя бы в пределах четверти горизонта, ту линию направления, без которой самое совершенное искусство слепого полета становится опасной и неверной игрой...

Вокруг темнело. Начинался шторм. Вот по окнам заструилась вода; потоки ее хлестали по самолету, легкая пена тумана уступила место мутной, серой водяной пелене. Емельянов с штурманом, отчаявшись привести в порядок радиоустановку, принялись извлекать и налаживать аварийную. Механик, балансируя на правом кресле, пытался исправить уцелевшие, но не работавшие приборы.

Тьма сгущалась. Самолет вздрагивал от резких толчков. На высоте двухсот метров окна посветлели: машина выходила из облаков. Еще пятьдесят метров — и внизу показались извилистые белые гребни волн. Океан продолжал бушевать. Под угрюмо нависшими тучами, в узкой щели между облаками и громадными волнами, самолет, подобно настоящему буревестнику, прокладывая свой путь со стремительной силой. Машину бросало и покачивало, обломки и незакрепленные вещи перекатывались по кабине.

Порывы ветра, заглушаемые гулом моторов, с яростной силой набрасывались на самолет и бессильно скользили по гладким, полированным, заметно вибрировавшим крыльям. Замечательная конструкция самолета позволяла ему садиться и на воду; но вынужденный спуск в безумное метание вздыбленных вод был гибельным даже и для летающей лодки. Впрочем, летчиков занимали сейчас совсем другие мысли: сложные расчеты возможных ошибок ненадежного магнитного компаса, дрейф воздушного корабля, расход горючего.

Сергиевский передал управление Емельянову (рана второго пилота была пустяковой), а сам вместе с штурманом склонился над развернутыми картами. Аварийная радиоустановка почему-то никак не хотела действовать, и серьезно раненный радист не мог помочь летчикам. День угасал, туман над океаном густел, а все еще ни один радиопеленг не зазвучал в наушниках.

— Давайте английскую карту 2927! — распорядился Сергиевский.

Зубчатые голубые, красные линии штормов и пассатов перекрещивались со стрелками на квадратной сетке карты. Вычисления были недостаточно точны — слишком мало давали показания уцелевших навигационных приборов. Однако гостеприимный берег — там, далеко впереди, — простирался на тысячи миль. Отклониться настолько сильно на юг и на север, чтобы миновать его, было невозможно. Взвесив все, Сергиевский успокоился.

Две лампочки в потолке кабины ярко освещали разбитые щитки приборов. Океан скрылся, отступив в темноту, в которой лишь угадывалось его опасное присутствие. Уже тысячи километров водной пустыни остались позади, но внизу по-прежнему были одни волны, только волны — вечное дыхание необъятной массы воды.

Полет продолжался более полусуток, и далекая цель, несмотря на задержку самолета в бою и штормовые условия полета, должна была значительно придвинуться.

Время ползло медленно, гораздо медленнее, чем стрелки указателей расхода горючего. Больше трех тонн бензина еще находилось в баках самолета, но это было уже много меньше половины первоначального запаса. Расход горючего был чересчур высок: встречный ветер мешал самолету двигаться с нужной скоростью.

Сергиевский пытался успокоить себя разумными рассуждениями, что все равно ничего не поделаешь — нужно лететь и лететь, а там видно будет. Погода не благоприятствовала определению места самолета: область циклона осталась позади, но высокие облака закрывали звезды. Ночь тянулась бесконечно, времени для тревожных мыслей оставалось утомительно много. Девятнадцать часов полета — и все еще никаких признаков береговых огней!

Теперь было ясно, что не только шторм задержал самолет, но еще и отклонение от нужного курса. Сергиевский повернул немного на север, пытаясь выправить предполагаемое отклонение к югу.

Безупречные моторы работали, как в первый час полета, хотя сделали уже три с половиной миллиона оборотов. Оставалось всего полтонны бензина.

Рассвет наступил быстро. Солнечный багрянец залил половину океана позади самолета. Прозрачное утро, казалось, несло надежду и радость. А стрелки бензиномеров все ползли и ползли налево, к грозной для пилота цифре — белому кружку нуля с толстой чертой, подчеркивающей страшный символ: горючего больше нет!

Отсутствие земли казалось невероятным и тем не менее было совершенной реальностью. Еще немного — и могучая сила моторов угаснет, бешено крутящиеся винты остановятся, и воздушный корабль беспомощно рухнет в волны. Волны словно ждали своей добычи — плавно и мерно вздымались они из глубин океана, застывая на миг перед тем, как сникнуть, будто пытаясь достать низко летевший над ними самолет.

Появление солнца дало возможность определиться.
— Двадцать семь градусов широты! — воскликнул

Сергиевский.— Мы взяли порядочно к югу... Самое важное для нас долгота, а с ней-то хуже — примерно семьдесят девять западной... Ну, товарищи, должна быть видна земля.

Пилот набрал высоту. Действительно, едва заметная, похожая на неподвижный гребешок высокой волны темная полоска возникла на горизонте. К ней жадно устремились взгляды воспаленных, усталых глаз. Емельянов поднял бинокль, и Сергиевский увидел, как летчик облегченно вздохнул. Полоска темнела и утолщалась. Вот ее верхний край стал неровным — обнаружались закругленные вершины гор или холмов. Еще двадцать минут — и белая пена прибоя стала отчетливо видна. Моторы, черпая последние литры бензина, глухо ревели, набирая высоту для решающей минуты вынужденного спуска. Сесть на воду у берега было нельзя — мощные волны бились о тупые выступы темных камней; крутятся в провалах и трещинах, отбегали назад извивы пенящихся струй.

Выше полосы прибоя берег вздымался гранеными уступами, с густым зеленым ковром по распахнутым вверх склонам ущелий и неглубоких долин. Здесь тоже ничто не указывало на возможность благополучной посадки. За прибрежными горами местность понижалась и, насколько хватал глаз, была покрыта сплошным лесом. Местами блестели на солнце зеркальные пятна болотной воды. Направо, в отблесках моря, очень далеко на севере, выступал узкий мыс, на котором угадывалось белое возвышение, сделанное человеческими руками, — возможно, башня маяка.

Сергиевский заметил уже ясно вырисовывавшиеся на берегу деревья. Это были пальмы. Стрелки бензиномеров трепетали на нуле, — товарищи Сергиевского изо всех сил качали ручные насосы, не отрывая взгляда от своего командира. Слева берег заворачивал внутрь суши и отклонялся на запад. Самолет перелетел гребнистый и длинный, покрытый пальмами мыс, и в этот момент неожиданно наступила тишина. Моторы остановились. Только крайний левый еще издал несколько стреляющих вспышек, перед

крыльями замахали лопасти пропеллеров, словно предупреждая о том, что больше держать корабль в воздухе они не могут.

— Прыгать по очереди через левую дверь. Емельянов, распорядись! — приказал Сергиевский, толкнул штурвал вперед и повел тяжелую машину вниз по пологой линии, стараясь протянуть спуск как можно дольше и в то же время избежать роковой потери скорости.

В грозной тишине спускался самолет. Он покачивался. Справа взвились вверх зеленые выступы гор. Еще немного — и блестящий металл красивой птицы сомнется, разлетится на бесформенные куски вместе с исковерканными трупами летчиков. Но экипаж самолета безмолвствовал, затаив дыхание, не решаясь расстаться с прекрасной машиной и надеясь на искусство пилота. А Сергиевский, отдав приказ, уже не думал о людях, весь уйдя в полное надежды усилие сохранить самолет и его груз. Две-три секунды — земля приближалась... Но тут пилот заметил небольшую спокойную бухту, загражденную лесистыми выступами берега от ударов прибоя. Решение вспыхнуло мгновенно: поворот, еще больший наклон самолета вниз — и земля помчалась навстречу...

Сергиевский резко рванул штурвал на себя, осадив огромную машину, как послушного коня. Не выпуская шасси, самолет задел низкий лесок на выступе берега в грохоте ударов и треске ломающихся деревьев. Обессиленная серебряная птица смяла деревья, как траву, тяжело плюхнулась в воду бухты и скользнула по ней среди брызг. Пробежав полторы сотни метров, она остановилась совсем близко от высокого противоположного берега. В последнюю секунду движения Сергиевский еще успел выпустить шасси, чтобы использовать малейшую возможность задержать инерцию тяжелого корабля. Маневр удался: огромная машина легла на прозрачную голубоватую воду, слегка накренившись на правое крыло.

Самолет еще покачивался и вздрагивал, когда летчики выбрались на крыло. Гнетущая тяжесть ответственности свалилась с души Сергиевского. Он

расправил плечи, радуясь ослепительному солнцу, ласковой воде и буйной тропической зелени. Глубина воды под самолетом не превышала трех метров, колеса шасси уперлись в плотный песок постепенно подымавшегося дна. Герметическая кабина не пропускала воды, а носовая пробоина находилась выше уровня осадки самолета.

— С прибытием, товарищи! — весело сказал Сергиевский. — Правда, не совсем к месту назначения, но это не беда. Могло быть и хуже. А сейчас мы где-то во Флориде...

Зной, причудливые формы незнакомых растений и без пояснений говорили о далеком юге.

Все происшедшее за последние сутки казалось быстро промелькнувшим сном.

— Ну, Робинзоны, еще раз осмотрим самолет и поспим немного. Рекомендую раздеться, не то сваримся в комбинезонах.

Посоветовавшись с механиком и вторым пилотом, Сергиевский решил после отдыха подпереть хвостовую часть и правое крыло какими-нибудь стойками для обеспечения полной безопасности машины от увязания в грунте во время отлива.

Полдневное солнце нагрело самолет, ослепительно отражаясь от его полированной поверхности. Летчики вылезли, отдуваясь, наружу. Раненому радисту стало лучше, и он был удобно устроен на сквозняке между двумя вынутыми окнами.

Летчики разложили складную резиновую лодку, готовясь отправиться на берег за подпорками для машины. Сергиевский оставил одного из стрелков дежурить в самолете и, поднявшись на верхнюю часть левого крыла, оглядел бухту, выбирая наиболее подходящие деревья для подпорок.

Бухта имела сердцевидный контур. В середине берегового выступа возвышалась крутая скала с тонкими, изогнутыми пальмами. Направо когтеобразный мыс порос перистыми деревьями, сплошь покрытыми белыми цветами. Мыс пересекала широкая дорога, проложенная самолетом. Обломанные вершины, вывороченные с корнем деревья и нагроможденные

у края воды свежерасщепленные стволы привлекли внимание Сергиевского. «Много материала для стоек наготовили», — усмехнувшись, подумал летчик. Некоторые обломки деревьев были отброшены далеко в глубь бухты — такова была сила удара самолета, прочность его корпуса.

— Да, если бы не этот пружинящий забор... — вслух сказал сам себе Сергиевский и, не dokonчив мысли, поглядел на противоположный берег бухты, о который неминуемо бы разлетелась вдребезги длиннокрылая машина.

Погрузившись в лодку, летчики медленно двинулись по зеркальной воде, нехотя морщившейся вокруг. Там, где в прозрачной воде громоздились расщепленные обломки деревьев, придавленные сверху целым лесным завалом, летчиков поразила невероятная, незабываемая картина.

Ровный плотный песок на дне давал однотонную поверхность, казавшуюся бурой сквозь голубеющую воду. Над ней во всех направлениях в пронизывающих воду солнечных лучах изгибались и двигались, переплетались и перемешивались струи глубочайшего синего и огненно-золотистого цвета.

Небольшой песчаный бугорок на дне, под грудой изломанных стволов, был окаймлен светло-синим полукольцом, заполненным клубами искрящегося золота и чистой сини. Временами между золотом и синью мелькали извивы алых, пылающе-пурпурных и изумрудно-зеленых струй. Сказочная симфония сверкающих красок переливалась, отсвечивала, клубилась и струилась, приковывая взгляд своим почти гипнотическим очарованием.

Ошеломленные невиданным зрелищем, летчики долго не могли отвести взгляда, пока наконец Сергиевский решительным толчком не ввел лодку прямо в клубящееся золото. Налево два обломка, отброшенные в глубину и воткнувшиеся в дно, стояли почти вертикально, и вокруг них извивались те же струи золота с синью, только более узкие и прозрачные.

Сладкое благоухание таинственных деревьев распространялось в воздухе, усиливая впечатление чу-

десного. Вода в этом уголке бухты опалесцировала слабыми, как бы разведенными во много раз, но такими же безупречно чистыми красками золота, сини и пурпура.

Сергиевский и его товарищи вошли в мелкую воду у берега и принялись выбирать подходящие для стоек обломки деревьев. Стволы не были толстыми — всего шесть-семь сантиметров в диаметре, — с очень плотной и тяжелой древесиной. Сердцевина дерева темно-бурого цвета окаймлялась почти белым наружным слоем.

Механик, найдя расщепленный пополам ствол, погрузил его для опыта в воду. Сначала — первые две-три минуты — в воде медленно распространилось едва заметное голубое опалесцирующее облачко, затем от ствола начали отделяться маленькие радужные струйки.

Так вот разгадка чудесных красок в воде бухты — присутствие расщепленной древесины загадочного дерева! Сергиевский внимательно смотрел на берег, стараясь запомнить очертания деревьев. Ничего особенного не было в их раскидистых ветвях, перистых листьях и гроздьях белых цветов.

Вдруг откуда-то из-за мыса донесся слабый, но отчетливый шум, который нельзя было спутать ни с каким другим звуком, — мотор! Далекое гуденье было ровным и сильным, несомненно приближавшимся к бухте.

— К самолету! Скорее! — скомандовал Сергиевский.

С левого крыла, приподнявшегося над водой, виднелись волны, размеренно и непрерывно катившиеся на берег. Обогнув длинный восточный мыс, серый моторный катер неожиданно рассек плавные волны белым пенящимся буруном. Нос, высоко поднявшийся над водой, слабо покачивался, под ним лежала черная тень, а металлические части орудийной и прожекторной установок горели туманными огоньками.

Катер повернул, моторы стихли, и маленькое судно подлетело к самолету. На носу его выросли крупные фигуры моряков береговой охраны в белых курт-

ках и широких трусах, казавшихся легкомысленным нарушением необходимой суровости военной формы.

Переговоры не затянулись, и катер исчез так же быстро, как появился, а спустя некоторое время два куцых гидросамолета тяжело опустились на воду большой бухты в километре к западу от бухты «радужных струй». Раненый и часть груза были взяты на гидросамолеты, в баки советской машины влиты две тонны бензина. Оставалось ждать прибытия двух судов, для того чтобы во время отлива отбуксировать самолет из маленькой бухты через узкий проход между рифами.

Короткие сумерки сменились густой темнотой. Сергиевский спохватился, что нужно взять с собой образец волшебного дерева, иначе все виденное в бухте скоро покажется невероятным сном. В ожидании восхода луны летчик поднялся на крыло самолета и увидел отчетливое голубое сияние, распространившееся в воде вокруг стоек, подпиравших крыло и хвост самолета. Удивленный новым проявлением чудес бухты, пилот поглядел в сторону сокрушенного самолетом леса. Окруженное темной водой, яркое голубое пятно горело там, где днем сверкали извивы радужных струй.

Сергиевский спустился в лодку и поплыл к светящемуся пятну. Вокруг расщепленных стволов вода казалась облаком светящегося голубого газа, бросавшим серебристый отблеск на лицо и руки Сергиевского. Света, испускаемого водой, было достаточно, для того чтобы ориентироваться, и летчик быстро отобрал несколько кусков древесины, не забыв прихватить и ветки с листьями и цветами.

Во время работы по буксировке самолета из бухты Сергиевскому было не до расспросов, а потом, когда бухта «радужных струй» осталась позади, летчику уже не удалось узнать ничего вразумительного. Дерево, о котором он рассказывал, было знакомо местным жителям под названием сладкого дерева. Оно встречалось здесь редко, и никто не слыхал о чудесных свойствах его древесины.

Медленно и осторожно, вместе с отливом, серебряный корабль был выведен на простор спокойного моря, и рев моторов потряс безмятежный тропический берег.

«Альбатрос» покинул навсегда чудесную бухту и вскоре перенес обратно через океан всю маленькую группу людей, удостоенных судьбой увидеть одно из неизвестных чудес природы.

* * *

Профессор Кондрашев повернулся на высоком стуле к входившему в лабораторию Сергиевскому и молча протянул ему стойку с пробирками, на дне которых лежали маленькие кусочки волшебного дерева, привезенного летчиком.

В воде переливались и блестели струйки и облачка огненно-желтого и синего цветов, иногда переходившие в зеленовато-желтые или сверкающие голубые тона.

— Похоже на вашу бухту? — вопросительно улыбнулся профессор.

— Не совсем, — серьезно ответил летчик. — Там краски и свечение были куда ярче.

— А, конечно, — спохватился Кондрашев, — ведь в бухте вода-то морская! — и капнул в пробирки по нескольку капель какого-то раствора.

Синь тотчас сгустилась и из прозрачной стала почти непроницаемой для глаза, а желтые облачка показались отлитыми из червонного золота.

— Оказывается, — пояснил профессор, — добавление в пресную воду небольшого количества щелочей резко усиливает способность дерева окрашивать воду. Впрочем, это не краска, а какое-то особое вещество, еще не разгаданное наукой. Его способность светиться и опалесцировать может оказаться весьма ценной. Дерево мне удалось определить — оно сродни обыкновенным серым орехам, но является очень древним представителем этой группы и называется эйзенгартия. Эйзенгартия возникла не менее шестидесяти миллионов лет назад. Сейчас это кустарник, широко

распространенный на юге Соединенных Штатов и не обладающий никакими чудесными свойствами — очевидно, выродившийся в неблагоприятных условиях жизни. И вот оказывается, что в южной Мексике, на Юкатане, и очень редко там, где вы были, эта же самая эйзенгартия сохранилась в виде небольшого дерева, так же как и в древние эпохи своего существования. Это дерево обладает особыми, уже знакомыми вам свойствами. Именно оно и представляет собою «коатль» ацтеков, или «дерево жизни» средневековых ученых. Вам, дорогой, принадлежит честь открытия — вернее, возобновления открытия этого ценного растения.

Профессор встал и, торжественно раскрыв стеклянный шкафчик, вынул небольшой бокал, выточенный из темной древесины эйзенгартии.

— Вам,— продолжал он, наливая в бокал чистую воду из колбы,— по праву надлежит первому выпить волшебный напиток, сохранявший здоровье средневековых владык...

Вода в темном бокале казалась зеркальцем глубочайшей синевы. Сергиевский, смущенно улыбаясь, принял бокал из рук профессора и, не колеблясь, осушил до дна.



СОДЕРЖАНИЕ

Тень минувшего	3
Обсерватория Нур-и-Дешт	55
Озеро Горных Духов	84
Голец Подлунный	103
Белый Рог	132
Алмазная труба	157
Путями старых горняков	192
Встреча над Тускаророй	224
Атолл Факаофо	254
Бухта радужных струй	290

Ефремов Иван Антонович
БУХТА РАДУЖНЫХ СТРУЙ

*

Редактор *В. М. Вилкова*
Художник *Н. И. Гришин*
Худож. редактор *Е. И. Балашева*
Техн. редактор *Н. Л. Греймер*
Корректоры *Л. А. Матасова*
и *Г. В. Русакова*

*

Сдано в набор 5/VIII. 1959 г.
Подписано к печати 30/X.1959 г.
Печ. л. 9⁶/₈. (15,99). Уч.-изд. л. 15,16.
Формат 84×108¹/₃₂. Тираж 75 000 экз.
Заказ № 525. Цена 5 р. 55 к.

*

Издательство «Советский писатель»
Москва К-9,
Б. Гнезниковский пер., 10.
Отпечатано с набора типографии
«Красный пролетарий»
полиграфкомбинатом им. Я. Коласа
Главиздата Министерства
культуры БССР.
Минск, Красная, 23.

*Издательство просит читателя дать отзыв
как о содержании книги, так и об оформлении ее,
указав свой точный адрес, профессию и возраст.*

*Библиотечных работников издательство просит
организовать учет спроса на книгу
и сбор читательских отзывов.*

*Все материалы направлять по адресу:
Москва К-9, Б. Гнездиновский пер., 10,
издательство «Советский писатель».*

Сканирование - Беспалов
DjVu-кодирование - Беспалов



5 р. 55 к.

И. ЕФРЕМОВ БУХТА РАДУЖНЫХ СТРУЙ

И. ЕФРЕМОВ

БУХТА
РАДУЖНЫХ
СТРУЙ

